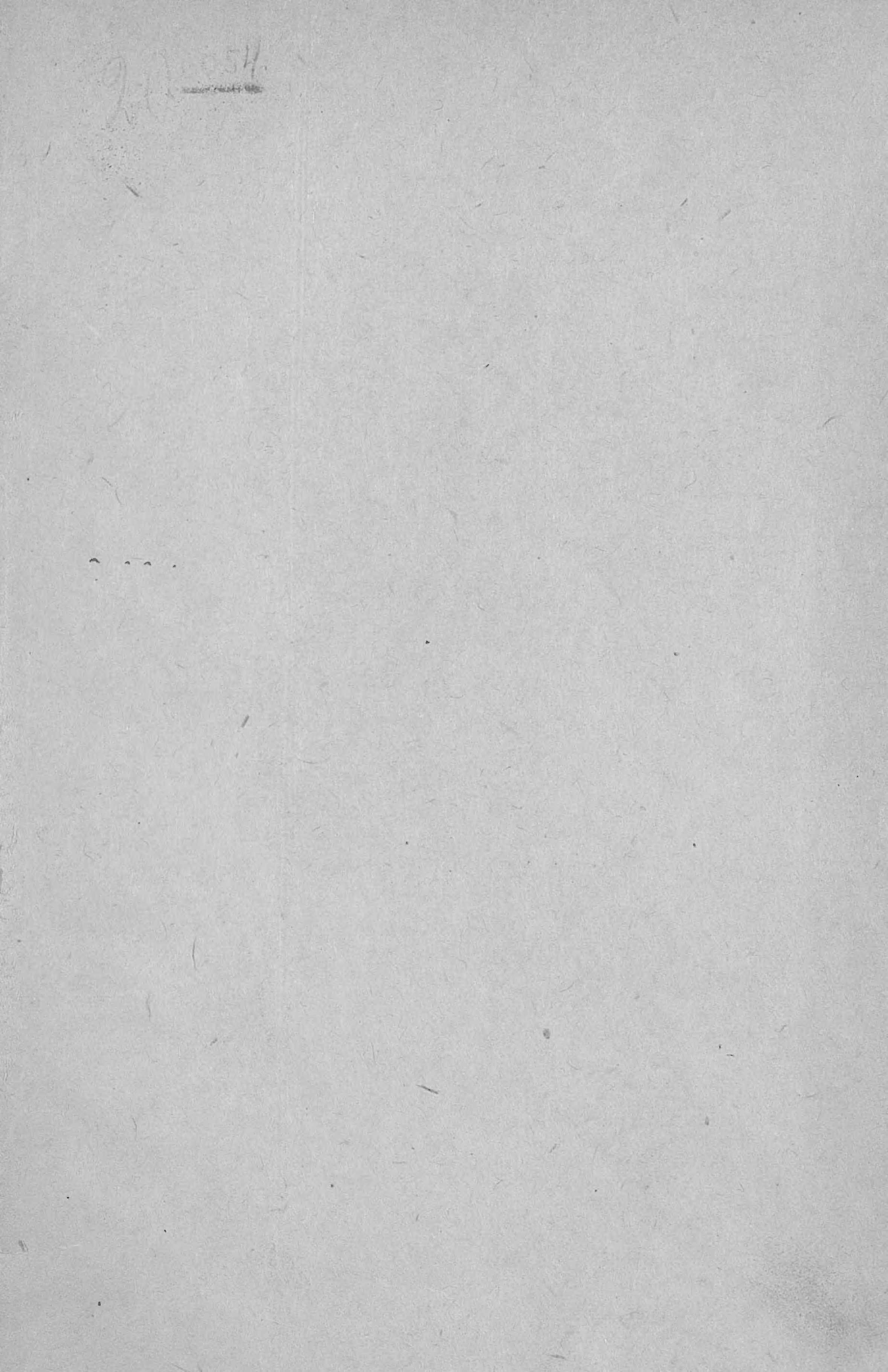


М. А. Васильев.

РУССКИЙ ЯЗЫК.

Хрестоматия для классного чтения

для

татарских и башкирских школ.

ЧАСТЬ III-я.

5 и 6-й годы обучения.

Издание Комбината Издательства и Печати. Т. С. С. Р.
КАЗАНЬ. 1925.

М. А. Васильев.

РУССКИЙ ЯЗЫК.

Хрестоматия для классного чтения для татарских и башкирских школ.

ЧАСТЬ III-я.

5 и 6-й годы обучения.

КАЗАНЬ.
Издание Комбината Издательства и Печати. Т. С. С. Р.
1924.

Главлит ТССР № 282. Тираж 3000 экз. Заказ № 222.

Казань. Типография Комбината Изд. и Печати „Восток“, Казанская, 4. 1924.

Ак-Бозáт.

Бухарбáй был мóлод и глуп, а когдá человéк глуп, то егó тóлько ленúвый не обижáет. Так бы́ло и с Бухарбáем. Когдá ýмер отéц, у негó всегó остáлось достáточно—и нóвая кибúтка и цéлый кося́к лошадéй и мнóго барáнов. Молодóй Бухарбáй дýмал, что емý век не прожúть отцóвского добрá, и стал веселúться с товáрищами. Другúе рабóтают, а Бухарбáй веселúтся и говорúт: „Зачéм мнé рабóтать, когдá у меня́ всё есть? Пусть рабóтают беднякú“.— „Ох, Бухарбáй, ты нехорошó себя́ ведёшь!“ повторя́ла мать и качáла головóй. Но Бухарбáй был мóлод и дýмал про себя́, что жéнщины ничегó не понимáют, потомý что цéлый век сидя́т по своúм кибúткам и тóлько умéют доúть кобылúц. А молодóе сéрдце так и игрáло.... Веселúтся Бухарбáй, и и всё емý мáло. У богáтых мнóго друзéй, и у Бухарбáя тóже. Одúн лýчше другóго. Веселя́тся вмéсте с ним, едя́т егó барáнину, пьют егó кумы́с и хвáлят хозя́ина. Но для весéлья нужны́ ещё дéньги. Нáчал Бухарбáй понемнóгу пропивáть отцóвское добрó, и всё потихóньку от стáрой мáтери. Состáрится—тогдá сам накóпит. Потóм не стáло и дéнег. Подýмал Бухарбáй продавáть скот, да устыдúлся мáтери: бýдет плáкать старýха и всем жáловаться. Тогдá Бухарбáй нáчал потихóньку занимáть у сосéдей по аýлу. Емý давáли охóтно, как даю́т богáтым лю́дям. Сосéди даю́т, а Бухарбáй берёт. Сначáла все считáл, потóм и считáть перестáл. Всё равнó—кто даéт, тот не забýдет.—Когдá же ты отдáшь нам долг?—сказáл гóда чéрез два одúн сосéд.— Отдáм, когдá у самогó дéньги бýдут, а тепéрь у самогó

ничегó нет... Достáточно бы́ло одномý попроси́ть долг, как и все други́е нáчали приставáть. Отдáй да отдáй; а чегó отдáть, когдá у самогó ничегó нет. Задýмался Бухарбáй, тóлько немнóжко пóздно. Нéчего дéлать, пришлóсь признáться во всём мáтери. Гóрько заплáкала старýха и тóлько сказáла: „Ведь я тебé говори́ла, Бухарбáй... Ах, Бухарбáй, Бухарбáй, как ты жить бýдешь? Я-то уже старá, прожилá жизнь, а у тебя́ всё впереди́“.

Обрати́лся Бухарбáй к стáрым товáрищам за пóмощью, а у тéх сами́х ничегó нет. Éсли и бы́ло у когó что, так скрывáли для себя́.

А уж как они́ все жалéли Бухарбáя... „Ведь, вот каки́е нехорóшие сосéди, пристаю́т с долгáми! Могли́ бы, кáжется, и подождáть“. Одни́м слóвом, хорóших слов скóлько угóдно, а дéнег ни грошá. Плóхо пришлóсь Бухарбáю, совсéм плóхо, осóбенно когдá сосéди пожáловались на негó би́ю и представили свои́ счёты. Вы́звал би́й молодóго Бухарбáя на суд и спрáшивает:

— Признаёшь ты свой долг?

— Признаю́...

— А éсли признаёшь, так нýжно плати́ть.

— У меня́ ничегó нет...

Седоборóдые казы́ (сýдьи) посовéтовались междý собóй и реши́ли продáть всё имýщество Бухарбáя. Конéчно, жаль молодóго человéка, а дéлать нéчего. Бий тóже жалéл и тóже ничегó не мог подéлать: глýпости трýдно поправля́ть.

Пришли́ казы́ к Бухарбáю и нáчали продавáть отцóвское добрó. Глáвными покупáтелями яви́лись те же заимодáвцы, как богáтые лю́ди. Дóлго наживáл отéц Бухарбáя своё богáтство, а разлетéлось онó ды́мом в оди́н день. Оди́н взял барáнов, другóй киби́тку, трéтий и четвёртый подели́ли междý собóй кося́к лошадéй. Как при всех распродáжах, имýщество шло за бесцéнок. Заимодáвцы так и рвáли дешёвый товáр и дáже перессóрились междý собóй. Кáждому хотé-

лось захватить побольше. „Что же у меня останется?“ спрашивал Бухарбай судей“. У тебя есть две здоровых руки. Раньше ты был молод и глуп, а теперь будешь умён поневоле.... Пророк не даром сказал: „Эль факру факри“ *). Повесил голову молодой Бухарбай. Жаль отцовского добра... Но он не спорил: и бий и казы были справедливы. Но только когда дело дошло до последнего жеребёнка белой масти, он вступился. Это был редкой породы жеребёнок, старинной крови, и отец больше всего им дорожил! Заимодавцы тоже знали толк в лошади и так и вцепились в жеребёнка,—каждый хотел его взять себе. „Нет, жеребёнка я вам не отдам!“ заявил Бухарбай. „Вы всё взяли и я молчал, а жеребёнка не отдам“. Пошли все на суд к бию. Он внимательно выслушал всех и сказал: „Заимодавцы, вы получили больше, чем давали, и хотите отнять у человека последнее.. Какой киргиз без лошади? Нужно иметь совесть..“ Бухарбай стоял и плакал. Ему было совестно за свою собственную глупость, которая довела его до такого позора. Бию сделалось жаль, и он решил, что белый жеребёнок останется у него. „Помни, что он рождён от кости Исэк-Кырган—(вечерняя зарница)“,—наставительно говорил бий молодому человеку,—„той знаменитой Исэк-Кырган, которой не могла обойти на скачках ни одна лошадь в степи. Береги жеребёнка, как зеницу ока: он стоит всего твоего имущества“!.. Поблагодарил Бухарбай милостивого бия и ещё раз заплакал, но уже от радости. У него оставалась ещё надежда!... Заимодавцы готовы были отнять у него и степь, и небо, если б только зависело от них.

II.

Ничего не осталось у Бухарбая, кроме молодого стыда да старой матери. Старуха плакала потихоньку, чтобы напрасно не огорчать и без того несчастного сына, и только

*) „Бедность—моя гордость“.

сказа́ла:“—Алла́х даёт и бога́тство и бе́дность. Не ну́жно отча́яваться... Ты ещё мо́лод и мо́жешь испра́виться... Мой после́дний сове́т тебе́: уходи́ из на́шего аула как мо́жно да́льше. Нехорошо́ остава́ться байгушём (нищим) там, где все зна́ли тебя́ бога́тым. Вот тебѐ мой после́дний сове́т, Бухарба́й. А я уйду́ опя́ть к твое́й сестре́. Зять хоро́ший челове́к и не прого́нит стару́ху“...

Ещё раз сде́лалось со́вестно Бухарба́ю, что он не мо́жет прокорми́ть да́же родну́ю мать. Приходи́лось до́рого плати́ться за молоду́ю глу́пость...

— „Ещё тебе́ сове́т, Бухарба́й,—говори́ла мать на проща́нье:“—никто́ не зна́ет, чего́ сто́ит твой жеребёнок. Он ре́дкой кро́ви... Береги́ его́ и не бери́ за него́ ничего́, что бы тебе́ ни предлага́ли. Это бу́дет не ло́шадь, а степно́й ве́тер, стрела́, пу́щенная из лу́ка... Оте́ц на́звал его́ Ак-Боза́т *)“.

Мо́лча поклони́лся в но́ги Бухарба́й ма́тери. Из всех людей то́лько она́ одна́ жела́ла ему́ добра́.

Из своего́ ау́ла он ушёл тёмной но́чью, что́бы никто́ не вида́л его́ после́днего позо́ра и после́дних слёз. Он шёл пешко́м и вёл за собо́й в поводу́ бе́лого жеребёнка. Это была́ ма́ленькая кобы́лка, из благоро́дной поро́ды „белорождённых“. От всех остальны́х ро́дичей свое́й кро́ви она́ отлича́лась тем, что имѐла на лбу́ чёрную звезду́, почему́ оте́ц и на́звал её звездо́й. Си́ним ша́ром опроки́нулось над голово́й Бухарба́я глубо́кое не́бо, расши́тое золоты́м узо́ром звёзд; без конца́ сте́лется пе́ред ним степь, то́чно ковёр; и ду́мает Бухарба́й, неуже́ли он нигде́ не найдёт себе́ уголка́, что́бы жить. Идёт Бухарба́й неде́лю, идёт другу́ю, идёт тре́тью. Прошёл мно́го ау́лов. Здесь уже́ никто́ не знал его́, и сде́лалось Бухарба́ю ле́гче. Мо́лодость ско́ро пережива́ет своё го́ре. Наня́лся Бухарба́й в просты́е пастухи́ к бога́тому кирги́зу Цацга́ю и вы́говорил себе́ то́лько одно́, что́бы его́ жеребёнок па́сся вме́сте с други́ми лошадьми́.

---

*) Ак-Бозат—звезда.

— „Пусть пасётся,—согласился Цацгай.— Степь велика́, всем ме́ста хва́тит... То́лько жеребёнок-то дрянно́й: но́ги у него́ о́чень то́нкие“...

А Бухарба́й молчи́т. Цацга́й не знал то́лку в лошадя́х. Ак-Боза́т замори́лась дли́нной доро́гой и действи́тельно име́ла тако́й жа́лкий вид. А Цацга́й сообрази́л про себя́, что когда́ кобы́лица подрастёт, то молодо́й пасту́х бу́дет е́здить на свое́й ло́шади. Вся́кий свою́ вы́году соблюда́ет.

Ау́л был большо́й; у Цацга́я ходи́ло в степи́ три косяка́ лошаде́й, и Бухарба́й был рад, когда́ его́ отпра́вили пастухо́м. Это был пе́рвый хлеб, зарабо́танный со́бственными рука́ми. Це́лые дни тепе́рь Бухарба́й проводи́л верхо́м на ло́шади, сберега́я кося́к, и хорошо́ узна́л, как до́рого достаётся свой хлеб. Цацга́й был скуп и дава́л свои́м пастуха́м сто́лько, ско́лько бы́ло ну́жно, что́бы не умере́ть с го́лоду. Пастухи́ за глаза́ постоя́нно руга́ли скупо́го хозя́ина, а в глаза́ стара́лись вы́служиться,—так де́лают почти́ все бе́дные лю́ди, кото́рые от нищеты́ потеря́ли да́же чу́вство со́бственного досто́инства.

Рабо́та пасту́шья нетру́дная, да то́лько тем нехороша́, что нет ни днём, ни но́чью поко́я. Пастухи́ спа́ли одни́м гла́зом. Бухарба́й ско́ро осво́ился с свои́м но́вым положе́нием и ничем не выделя́лся среди́ други́х пастухо́в, конча́я бе́лой во́йлочной шля́пой и рва́ным бешме́том. Он не ропта́л на судьбу́ и утеша́лся тем, что у него́ была́ Ак-Боза́т. У други́х и э́того не́ было. Пастухи́ смея́лись, как Бухарба́й уха́живал за свое́й бе́лой кобы́лкой, а Цацга́й мог то́лько удивля́ться. Бухарба́й ча́сто её купа́л, расчёсывал и заплета́л гри́ву и потихо́ньку начина́л приуча́ть к бе́гу. Ак-Боза́т ходи́ла за хозя́ином, как соба́ка, и слу́шалась его́ го́лоса. Бухарба́й да́же разгова́ривал с ней, как с челове́ком.

— „Никто́ нас не зна́ет здесь, Ак-Боза́т... Это хорошо́. Мно́го глу́постей наде́лал твой хозя́ин... Ну, да ничего́,—попра́вимся“.

Тóлько напрáсно дýмал Бухарбáй, что никтó егó не замечáет. У Цацгáя былá дочь невéста, красáвица Мэчи́т. Дéвушки лю́бят примечáть иногдá и то, что им не слéдует. Так и Мэчи́т—как погóнят лошадéй, так и смóтрит на нóвого пастýха. Ей показáлось, что он и éздит совсéм не так, как други́е. Кирги́зские дéвушки смéлы и хóдят без покрывáла. Раз онá встрéтила Бухарбáя и сказáла:

— „Пастýх, покажи́ свои́ рýки...“

Бухарбáй смути́лся, но не смел ослýшаться. Дéвушка внимáтельно посмотрéла на егó рýки, лукáво загляну́ла в глазá и проговори́ла:

— „Ты не простóй пастýх, Бухарбáй... У тебя́ ещё недáвно рýки бы́ли нéжные, как у жéнщины. И когдá éздишь на конé, тóже замéтно...—Да, не простóй“,—ужé смéло отвéтил Бухарбáй.—„Мне принадлежи́т и вся степь, и всё нéбо... По стéпи я éзжу, а на нéбо смотрю́ цéлые нóчи, и никтó мне не мешáет“.—„Нéчего сказáть, богáтство громáдное!“—засмея́лась Мэчи́т.—„Тóлько с кем ты егó бýдешь дели́ть?..“—У меня́ никогó нет“...—„А дéвушка, котóрая тебя́ лю́бит“?—Бéдных пастухóв дéвушки не лю́бят... Впрóчем, я люблю́ свою́ Ак-Бозáт“.—„Лóшадь? Ха-ха-ха!..“ Какóй ты скры́тный. Ну, уви́дим“!—Нáчал замечáть Бухарбáй, что Мэчи́т кáждый раз так внимáтельно смóтрит на негó. Посмóтрит,—и засмеётся. Это егó дáже начинáло серди́ть. Чемý онá смеётся?... Стал и сам Бухарбáй посмáтривать на хозя́йскую дочь, и чем бóльше смотрéл, тем бóльше емý нрáвилась. Молодóе сéрдце льнýло к молодóму сéрдцу без слов.—„Будь ýмным, Бухарбáй“,—читáл он самомý себé наставлéние.—„Довóльно глýпостей... Цацгáй одногó кали́му потрéбует за дочь не мéньше ста рублéй, да ещё в придáчу барáнов три́ста. Не будь смешны́м, Бухарбáй... Не тебé, несчáстному байгушý, дýмать о хорóшеньких дéвушках“. Когдá по вечерáм станови́лось грýстно, Бухарбáй присáживался к огонькý и пел пéсню, котóрую склáдывал тут же:

„У де́вушки смех на уме́,
А мо́лодцу го́ре;
Ско́ро ви́хрем он в степь улети́т на коне́,
А она́ запла́чет в нево́ле“.

III.

Так прошло́ три го́да, дли́нных три го́да. Три ра́за степь покрыва́лась весе́нними цвета́ми, три ра́за выгора́ла степна́я трава́ от ле́тнего зно́я; три ра́за степна́я зима́ засыпа́ла всё снего́м. Тру́дно приходи́лось пастуха́м в тече́нии зимы́, осо́бенно когда́ подннма́лся бура́н. Не́сколько раз Бухарба́й чуть не замёрз, но он терпели́во переноси́л всё, пото́му что бе́дные лю́ди не должны́ ропта́ть на свою́ судьбу́. Загрубе́ли у него́ ру́ки так, как у настоя́щего пастуха́. заве́трело лицо́, и Мэчи́т не обраща́ла уже́ на него́ внима́ния. Но он был сча́стлив, он Бухарба́й, потому́ что вы́росла его Ак-Боза́т. Совсе́м больша́я ло́шадь. и кака́я у́мная! С каки́м терпе́нием учи́л он её, выде́рживая ход. Други́е пастухи́ опя́ть смея́лись над чудако́м, кото́рый уха́живает за ло́шадью, как за неве́стой. А ло́шадь была́ чу́дная: дли́нная, на таки́х высо́ких нога́х, с ма́ленькой голово́й и дли́нной гри́вой. Когда́ Бухарба́й в пе́рвый раз пое́хал на ней верхо́м, у него́ се́рдце дро́гнуло от ра́дости: э́то была́ не ло́шадь, а ве́тер.

„Пусть ещё го́дик подрастёт Ак-Боза́т“, ду́мал Бухарба́й: „а там я поступлю́ проводнико́м к купе́ческим карава́нам... И рабо́та лёгкая, и жизнь приво́льная, и всё бу́дет хорошо́. Терпи́, Бухарба́й: не до́лго оста́лось ждать“.

Мысль об от'е́зде давно́ засе́ла в го́лову Бухарба́я, и он её вына́шивал потихо́ньку от всех. То́лько одно́ уде́рживало его́: он уе́дет, а Мэчи́т оста́нется. Да, она́ забы́ла его́. но он не забы́л э́ти горя́чие тёмные глаза́, э́тот де́вичий смех, э́то го́рдое лицо́ степно́й краса́вицы. Он дрожа́л при

однóй мы́сли, что э́то лицó засмеётся другóму, и другóй ўведёт её в свою́ киби́тку.

Мнóго бы́ло женихóв у Мэчи́т. Далекó из стéпи приезжáли они́, но стáрый Цацгáй дорожи́лся и сам не знáл, какóй калы́м проси́ть за красáвицу-дочь. Но врéмя подходи́ло такóе, что приходи́лось расставáться: дéвичий век корóткий. Дýмал, дýмал Цацгáй, котóрого женихá вы́брать, и опя́ть не мог реши́ться. Все хороши́, и всем жаль отдáть красáвицу Мэчи́т. Тогдá стари́к придýмал устрóить байгý для женихóв: кто придёт пéрвым, томý Аллáх и суди́л Мэчи́т взять женóй. И женихи́ бы́ли довóльны таки́м решéнием, потомý что кáждый надéялся на свою́ лóшадь. А лóшади у всех бы́ли отли́чные. Чтóбы подзадóрить женихóв, Цацгáй объяви́л откры́то:

— „Мне всё равнó, кто ни обгóнит... простóй пастýх,— егó и Мэчи́т. Как хóчет Аллáх, так и бýдет“...

Слух об э́той байгé облетéл всю степь, и об ней говори́ли. Мнóго бáтырей в степи́, и кáждый дýмал отби́ть красáвицу Мэчи́т у её женихóв.

Наконéц, объя́влен был и день. В аýл Цацгáя съéхались со всех сторóн. Вся степь покры́лась нарóдом. Брели́ стáрый и мáлый, чтóбы посмотрéть неви́данное зрéлище. Ктó-то вы́играет красáвицу Мэчи́т? комý Аллáх пошлёт рéдкое счáстье?

В пóле былá раски́нута зелёная бухáрская палáтка, в котóрой собрали́сь курги́зские старши́ны из рáзных аýлов, казы́, и дáже приéхал сам бий. Простóй нарóд усы́пал всё пóле. Вы́ехали скóро на чýдных конях женихи́ Мэчи́т и мнóго просты́х джиги́тов, а послéдним вы́ехал Бухарбáй на своéй Ак-Бозáт.

— „Кто э́то на бéлой лóшади?“—спрáшивали все.

„Э́то мой пастýх“,— неохóтно отвечáл Цацгáй, оби́женный тем, что простóй пастýх хóчет спóрить с женихáми.— „Тóлько лóшадь замори́т“... Все наéздники вы́ровнялись пé-

ред пала́ткой в одну́ ли́нию, и бий по́дал знак. Джиги́ты понесли́сь, а позади́ всех поéхал Бухарба́й. Он до́лго не реша́лся приня́ть уча́стие в байгé, потому́ что Ак-Боза́т была́ ещё молода́. Благоразу́мие говори́ло, что не ну́жно э́того дéлать, но молода́я го́рдость перевéсила. Недалеко́ от гла́вной пала́тки стоя́ла друга́я, в кото́рой собрали́сь жéнщины, и Бухарба́й ви́дел среди́ них краса́вицу Мэчи́т. Она́ вéсело позва́нивала золоты́ми монéтами, кото́рыми была́ у неё покры́та вся грудь, и ещё веселéе улыбну́лась, когда́ уви́дела Бухарба́я на его́ бéлой ло́шади. Чем бо́льше женихо́в, тем сильнéе поднима́лась го́рдость краса́вицы. Байга́ шла на два́дцать пять вёрст—вперёд одна́ полови́на, а друга́я полови́на обра́тно. Хороши́ бы́ли ко́ни у женихо́в, и далеко́ они́ унесли́сь вперёд. На пéрвой полови́не ужé просты́е джиги́ты на́чали отстава́ть. Бухарба́й сдéрживал горячи́вшуюся Ак-Боза́т и чу́вствовал, что в ней ещё мно́го си́лы. То́лько на обра́тном концé он постепéнно на́чал дава́ть во́лю благоро́дному живо́тному, и Ак-Боза́т понесла́сь, всё уси́ливая ско́рость. О, как она́ оставля́ла одно́го сопéрника за други́м!... Просты́е джиги́ты ужé бы́ли все позади́, а впереди́ летéли то́лько тро́е женихо́в. Осо́бенно далеко́ ушёл оди́н на золоти́стом теки́нском скакунé. Ак-Боза́т всё прибавля́ла хо́ду и оста́вила двух женихо́в; оста́лся впереди́ оди́н. Бухарба́й чу́вствовал, как под ним то́чно летéла земля́, а вдали́ ужé пестрéла толпа́ наро́да, и зелёными то́чками выделя́лись пала́тки. Начала́сь борьба́ между́ теки́нским скакуно́м и Ак-Боза́т. Вот ужé Ак-Боза́т совсéм настига́ет, и Буха́рба́й слы́шит, как тяжело́ ды́шит женихо́вский скаку́н. Вот они́ ужé ска́чут голова́ в го́лову... За́мерло сéрдце у Бухарба́я: остава́лось всего́ две версты́. Тру́дно боро́ться с теки́нским скакуно́м, но он потрепа́л Ак-Боза́т по шéе, припа́л к лукé седла́, что́бы не свя́зывать движéний ло́шади, и ди́ко ги́кнул. Как стрела́, пу́щенная из лу́ка могу́чей руко́й, понесла́сь Ак-Бозат, как степно́й вихрь, и Бухарба́й ужé

слы́шал, как неистово кричи́т ты́сячная толпа́, торжеству́ющая его́ побе́ду.

Пе́рвым пришёл Бухарба́й, далеко́ оста́вив всех женихо́в. Все бро́сились к Ак-Боза́т и не зна́ли, как её приласка́ть. Же́нщины целова́ли её. Тако́го скакуна́ ещё не вида́ли в степи́.

— „Ты вы́играл, Бухарба́й“,—сказа́л бий.

— „Да, он вы́играл“,—согласи́лся споко́йно Цацга́й,— „Мэчи́т его́, е́сли он доста́нет калы́м“... Хоть сейча́с пусть берёт её. Я от своего́ сло́ва не отка́зываюсь. Ведь все женихи́ обеща́ли заплати́ть мне калы́м“...

Никогда́ ещё Бухарба́й не чу́вствовал себя́ насто́лько несча́стным, как в э́тот день своего́ торжества́. Ему́ все зави́довали, а он проклина́л себя́... Да, прокля́тую бе́дность не об‘е́дешь ни на како́м скакуне́. Да́же го́рдая Мэчи́т подошла́ к Ак-Боза́т и обняла́ за ше́ю благоро́дное живо́тное.

— „Проща́й, Мэчи́т!“ сказа́л Бухарба́й. Де́вушка ничего́ не отве́тила, а то́лько опусти́ла свои́ го́рдые глаза́.

IV.

Байга́ сде́лала Бухарба́я несча́стным. Он потеря́л свой поко́й, на́житый тяжёлым трудо́м. Тяжела́ показа́лась ему́ тепе́рь жизнь просто́го пастуха́. Да и все други́е ему́ зави́довали. А он всё ду́мал о Мэчи́т, о краса́вице Мэчи́т с чу́дными глаза́ми.—„Вот тебе́ год,— сказа́л Цацга́й.—Я своё сло́во держу́, а ты добыва́й калы́м. Е́сли в тече́нии го́да не добу́дешь, я выда́м Мэчи́т за друго́го“... Е́сли бы Бухарба́я кто уда́рил ножо́м, ему́, ка́жется, бы́ло бы ле́гче, чем слу́шать таки́е слова́. А тут ещё Мэчи́т смо́трит на него́ и опя́ть улыба́ется. Она́ полюби́ла Ак-Боза́т и ча́сто приходи́ла корми́ть её из свои́х рук. Тепе́рь ей не́чего бы́ло стесня́ться: Бухарба́й был её жени́х, как э́то бы́ло всем изве́стно.

— „Бухарба́й, ты о́чень лю́бишь меня́?“—лука́во спра́шивала краса́вица.

— Да...

— „Да́же бо́льше, чем Ак-Боза́т?“

Этот вопро́с смуща́л Бухарба́я, и он не зна́л, что отве́тить; а Мэчи́т зво́нко смея́лась и убега́ла.

Ста́рый Цацга́й то́же ду́мал об Ак-Боза́т. Всё у него́ бы́ло — пятьсо́т лошаде́й, три ты́сячи бара́нов, краса́вица-дочь, а тако́го скаку́на не́ было. Далеко́ разлете́лась сла́ва про Ак-Боза́т по всей степи, и приезжа́ли посмотре́ть на чу́дную ло́шадь. Эта сла́ва не дава́ла спать ста́рому Цацга́ю. Он то́лько и ду́мал об Ак-Боза́т, как бы добы́ть её от Бухарба́я. Не́сколько раз скупо́й стари́к заводи́л тако́й разгово́р:

— „Бухарба́й, прода́й мне ло́шадь! Я тебе́ дам за неё два́дцать лошаде́й,—выбира́й любы́х из всего́ табуна́, да ещё сто́лько же бара́нов“.

Нет,—упря́мо повторя́л Бухарба́й.

— „Дам тебе́ в прида́чу лу́чшую киби́тку...“

— Нет...

— „Дам тебе́ серебряных дене́г, ско́лько мо́жешь взять обе́ими рука́ми“.

— Нет...

— „Дам тебе́ шёлковый бешме́т и два шёлковых хала́та“.

— Нет.—„Чего́-же тебе́ ну́жно?“—„Мне ничего́ не ну́жно, Цацга́й... Впро́чем, раз Бухарба́й сам сказа́л:

— „Дава́й всё, что обеща́ешь, и Мэчи́т в прида́чу“.

— Ого́! Ты не дура́к... То́лько э́того никогда́ не бу́дет.

— „Как зна́ешь. А мне и так хорошо́...“

На́чал Цацга́й серди́ться на упря́мого пастуха́. Уж о́чень он зазна́лся со свое́й ло́шадью... Ма́ло ли в степи́ хоро́ших скакуно́в? Но как Цацга́й ни успока́ивал себя́, но чу́дная ло́шадь не выходи́ла у него́ из головы́. Что ему́, в са́мом

деле, теперь нужно? Всё у него есть. Даже новую жену не нужно... А если бы была у него Ак-Бозат, он стал бы ездить по степи и на каждой байге всех бы обгонял. Нет другой такой лошади... Старик даже похудел, потерял сон и так заскучал, что не знал, куда ему деваться. И собственное богатство сделалось немило...

Кончилось тем, что Цацгай серьёзно разнемогся. Лежит у себя в кибитке и стонет. Ни есть, ни пить не может. Наконец, он сказал Мэчит:

— „Иди и позови сюда этого упрямого осла... Я хочу с ним говорить.

Когда в кибитку вошёл Бухарбай, старик сказал:

— „Я захворал из-за твоего упрямства... Ты глуп, как четыре осла! Да... Если бы я был молод, я украл бы твою Ак-Бозат! а теперь... Слушай, упрямый человек, что я тебе скажу: бери, что хочешь, и... Мэчит в придачу."

Поклонился Бухарбай и отвечал:

— „Ты много даёшь, Цацгай", а хочешь взять у меня всё... Ак-Бозат благородной крови Исек-Кырган. Когда я уходил из своего аула нищим, мать мне сказала, чтобы я не отдавал Ак-Бозат ни за что. Но я подумаю..."

— „Убирайся, худой человек, и думай!" — стонал старик.

Когда Бухарбай выходил из кибитки, он встретил Мэчит: она стояла у входа, слышала весь разговор и теперь горько плакала.

— „Ты меня не любишь, Бухарбай..." — шептали девичьи губы, ещё так недавно смеявшиеся над ним.

Не тронули Бухарбая просьбы и обещания старого Цацгая, а тронули девичьи слёзы. Он вернулся в свою кибитку, как пьяный. Всё у него кружилось в голове, и он не знал, что ему делать.

Лежит у себя в пастушьей дырявой и грязной кибитке Бухарбай, лежит и думает, а перед ним заплаканное девичье лицо, и девичий сладкий голос, и своя собственная

жáлость. Слышит он, как хóдит недалекó от кибитки егó сокрóвище Ак-Бозáт, И опять не знает, что емý дéлать. Другие пастухи спят, а он мýчится, как престýпник. Молодóе сéрдце так и бьёт тревóгу... Наконéц, онó взяло перевéс, и Бухарбáй решился уступить Ак-Бозáт стáрому Цацгáю. Но тóлько он э́то подýмал, как слышит, что Ак-Бозáт заржáла. Не успéл он выскочить из кибитки, как послышался грóмкий тóпот. О, как знал Бухарбáй э́тот тóпот... Вор подкрáлся нóчью и тепéрь летéл, как вéтер. Брóсился Бухарбáй в табýн, выбрал лýчшую лóшадь и полетéл в погóню. Гóнит он час, гóнит другóй, и опять слышит знакóмый тóпот! Дрóгнуло сéрдце в груди Бухарбáя, и погнáл он лóшадь сильнéе. Начинáло светáть, когдá он завидел вдали Ак-Бозáт. Неужéли э́то егó Ак-Бозáт, и неужéли он её догóнит на простóй табýнской лóшади? Ещé никтó не обгонял Ак-Бозáт. Ещё час гóнится Бухарбáй,— вор уже совсéм близко. Облилóсь крóвью сéрдце Бухарбáя, когдá он настиг егó. Не утерпéл джигит и крикнул.— „Эй, ты, шайтáн, не умéешь éздить... Потрепли лóшадь по шéе!...“

Вор так и сдéлал. Ак-Бозáт полетéла, как стрелá. Скóро пропáла совсéм из виду. Бухарбáй загнáл нá смерть свою лóшадь, упáл на зéмлю и гóрько заплáкал. Э́то Аллáх егó наказáл за то, что он хотéл уступить благорóдную Ак-Бозáт стáрому Цацгáю. Любóвь егó ослепила...

V.

В свой аýл Бухарбáй вернýлся тóлько чéрез три дня. Егó сначáла дáже не узнáли так он похудéл, а глазá были совсéм дикие...

„Éсли бы ты óтдал мне Ак-Бозáт, я сумéл-бы её сберéчь“, ругáл его стáрый Цацгáй.—„Ты упрямый осёл, Бухарбáй, как четыре барáна“.—„Меня наказáл Аллáх...“—

ответи́л Бухарба́й“.—Отпусти́ меня́, Цацга́й“.—Куда́ же ты пойдешь, несча́стный байгу́ш?—„Пойду́ иска́ть Ак-Боза́т... Я не могу́ без нее́ жить“.—Не так ду́мала Мэчи́т. О́чень она́ полюби́ла джиги́та, а де́вичье се́рдце не и́щет бога́тства. Она́ сама́ пришла́ к Бухарба́ю и сказа́ла:—„Бухарба́й, куда́ ты,—туда́ и я... Я тебя́ люблю́. „Запла́кал Бухарба́й, а Мэчи́т положи́ла его́ го́лову к себе́ на коле́ни и утеша́ла ла́сковыми де́вичьими слова́ми. Тут она́ узна́ла, как Бухарба́й сде́лался байгуше́м, и еще́ бо́льше его́ жале́ла. Из-за нее́ Алла́х его́ наказа́л. Пошла́ сме́лая де́вушка к отцу́ и сказа́ла, что ни за кого́ бо́льше не пойдёт за́муж, как то́лько за джиги́та Бухарба́я: он не просто́й пасту́х, а настоя́щий джиги́т.

— „Не на́до мне бога́тства“,—говори́ла сме́лая де́вушка.—„Лу́чше я бу́ду жено́й просто́го пастуха́“.

Рассерди́лся Цацга́й, прогна́л от себя́ дочь: но она́ пришла́ в друго́й раз и повтори́ла то́ же са́мое. Ра́зве что-нибу́дь поде́лаешь с упря́мыми же́нскими слова́ми? Еще́ сильне́е рассерди́лся Цацга́й и сказа́л:

— „Хорошо́, упря́мая коза́... Бери́ своего́ Бухарба́я, то́лько я ничего́ не зна́ю. И тебя́ не зна́ю... А э́тот упря́мый осе́л пусть не пока́зывается мне на глаза́, е́сли хо́чет быть цел“.

Мно́го стра́шных слов наговори́л ста́рый Цацга́й, как говоря́т и други́е отцы́, когда́ се́рдятся на непослу́шных дочерей, а пото́м смило́стивилось отцо́вское се́рдце.

„Дам я киби́тку Мэчи́т“, реши́л Цацга́й. „Не жить же ей, на са́мом де́ле, вме́сте с пастуха́ми... Упря́мая девчо́нка не сто́ит э́того, ну, да уж так и быть“...

По́сле киби́тки дал Цацга́й лошаде́й, пото́м бара́нов, пото́м уже надава́л всего́. Он дае́т, а Бухарба́ю все́ равно́. Ничего́ не ну́жно джиги́ту.

Сыгра́ли сва́дьбу, а Бухарба́й всё тоску́ет. Ла́ски молодо́й краса́вицы-жены́ не утеша́ли го́ря. По ноча́м Бухар-

бáй чáсто просыпáлся и вскáкивал, как сумасшéдший. Емý всё слы́шался тóпот Ак-Бозáт... Вот-вот онá ужé совсéм бли́зко. Э́то онá лети́т по стéпи, как вéтер... Выскáкивал Бухарбáй из киби́тки, брал лýчшую лóшадь и летéл в погóню, а потóм возвращáлся домóй грýстный, грýстный.

Не милó бы́ло Бухарбáю и богáтство, не милы́ лáски красáвицы-жены́: её молодóй смéх и пéсни. А тут ещё нóвая бедá: в аýл пришёл слепóй байгýш с бандýрой и запéл пéсню про Ак-Бозáт. В степи́ ужé склáдывали ей пéсни:

„С вéтром спóрила Ак-Бозáт,
А кры́лья взя́ла у пти́цы...
Бéлая красáвица, ты летáла
Как стрелá, оперённая лебеди́ным крылóм“.

— „Слы́шишь, Мэчи́т?“ — стонáл Бухарбáй. — „Э́то про неё поют; знáчит, онá живá... О, я несчáстный!.. И я не умéл сберéчь э́то сокрóвище...“

А слепóй байгýш сиди́т и поёт:

„Нет цены́ хорóшей лóшади...
Онá всё для джиги́та:
И дом, и богáтство, и честь.
Без лóшади нет и джиги́та!“

Пришёл Бухарбáй к стáрому Цацгáю и сказáл:

— „Я ухожý, стари́к“...

— Кудá?

— „Не знáю. Не могý бóльше терпéть...“

— А женá?

— „Женá подождёт... Ничегó мне не нýжно“.

Отпрàвился Бухарбáй стрáнствовать по стéпи, из аýла в аýл, от одногó колóдца к другóму. Где зави́дит в табунé бéлую лóшадь, так у негó сéрдце и упадёт. Под‘éдет, посмóтрит, — нет, не Ак-Бозáт. И опя́ть дáльше, тóчно кто егó гóнит.

Когдá вéчером Бухарбáй ложи́лся спать, емý кáждый раз слы́шался тóпот Ак-Бóзат. Да, он слы́шал, как онá де-

лала широ́кий круг, а бли́зко не подходи́ла. О, э́то была́ она́, Ак-Боза́т... Бухарба́й весь трепета́л и моли́лся Алла́ху. С ка́ждым днём Ак-Боза́т де́лала круги́ все ме́ньше и ме́ньше. Бухарба́й переста́л есть и похуде́л, как скеле́т.

„Ско́ро уж...“ говори́л он самому́ себе́.

А в степи́, между́ тем, разнесла́сь весть, что бро́дит сумасше́дший джиги́т и всё и́щет каку́ю-то бе́лую ло́шадь. Ма́тери на́чали пуга́ть им свои́х дете́й, а больши́е поба́ились ночно́й встре́чи. Его́ вида́ли ра́зом в не́скольких места́х.

Собрали́сь степны́е джиги́ты вме́сте и про́бовали лови́ть Бухарба́я, но он ка́ждый раз уходи́л от них.

Наконе́ц совсе́м обесси́лел Бухарба́й и це́лых три дня лежи́т у степно́го коло́дца. У него́ не́ было сил подня́ться на ло́шадь. А как наступа́ла ночь, опя́ть явля́лась Ак-Боза́т и начина́ла де́лать кру́ги. Тепе́рь она́ была́ уже́ совсе́м бли́зко, и Бухарба́й то́лько не мог откры́ть глаз, что́бы посмотре́ть на ло́шадь. Одна́жды—э́то была́ четве́ртая ночь у коло́дца—он лежа́л, как мёртвый. Вдруг то́пот уже́ совсе́м бли́зко, тут... Бухарба́й открыва́ет глаза́, а над ним стои́т Ак-Боза́т. Он хоте́л кри́кнуть, но то́лько застона́л...

Степны́е джиги́ты нашли́ Бухарба́я мёртвым у коло́дца. Он прижима́л окочене́вшими рука́ми к груди́ свою́ бе́лую во́йлочную шля́пу.

Д. Н. Ма́мин-Сибиря́к.

Костя́к лошаде́й—(ئايغر، بيبه، قۇلن) ئات عائيلەسى
Скот (скоти́на)—حەيوان، تووار
Де́нег ни гроша́—ئاقچا بر تيين ده يوق
Грош—چت تيين، يارتى تيين،
Бий—بەى
Заимода́вцы—بورچقا بيرب، تۇروچى
За безце́нок—ئۇچسز، ئارزان،
Бе́лой ма́сти—ئاقبوز ئات

Стари́нной кро́ви—بۇرنعى نەسل

Позо́р—حورلق، يامان ئات

Рождё́н от ко́сти Исэ́к Кырга́н—ئيسەك قرعان سۇيەگندەن (نەسلندەن) توعان.

Наставительно говори́л—بيك جيددى (ئۇشاندۇرب) ئەيتدى

Обойти́ на ска́чках—مەيدانلاردا ئاتلانب ئوزدى

Зени́ца о́ка—كوز ئالماسى

Огорча́ть—قايعرتو، رەنجۇتو

Отча́яваться—ئۇميدسزلەنو

Золото́й узо́р звё́зд—يۇلدزلارنڭ ئالتن كبك بيزەكلەرى

Сообрази́л—ئويلاب بلدى

Свою́ вы́году соблюда́ет—ئوز فايداسن كوزەتە

Стара́лись вы́служиться—زور دەرەجە ئالرعا ترشدى

Чу́вство со́бственного досто́инства—ئوز ئۇنڭ دەرەجەسن سيزو

Лука́во загляну́ла в глаза́—كوزلەرگە حەيلە بلەن قارادى

Се́рдце льну́ло к се́рдцу—يۇرەك يۇرەككە يابشدى (برن برى سۇيدى)

Загрубе́ли ру́ки—قوللار توپاسلاندىلار

Заве́трело лицо́—بيت يارلدى

Вына́шивал мысль—فيكرنى ئچدە ساقلادى

Байга́ -يارش، ئوزش

Подзадо́рить—ئورتەو، يارسىتو

Ло́шадь замори́ть—ئات ئازابلاو

Благоразу́мие—دۇرست مۇحاكەمە

Го́рдость переве́сила—تەكەببرلك جيڭدى

Сопе́рник—دۇشمان

Лука́ седла́—ئيەر پۇچماعى

Ди́ко ги́кнул—واحشيانە (بيك قاتى) قچقردى

Неи́стово кричи́т толпа́—حالق قچقرا ,تش عادەتدەن

Торжествова́ть побе́ду—ئوزىنڭ جيڭوونە شادلانو

Бе́дность не объе́дешь на скакуне́—فەقيرلكنى ئات بلەن قووب جيتە ئالماسسڭ

Стесня́ться—تارتنو

Зазна́лся со свое́ю ло́шадью—ئوزىنڭ ئاتى بلەن ماقتاندى

Разнемóгся—چیرلدی، ئاوردی
Стóнет — ئڭعنراشا
Упря́мый—قارشی، ئوزسوزلی
Не трóнули прóсьбы—ئوتننچن تڭلامادلار
Престýпник—حائین، قانونغا قارشلق قیلوچی
Сéрдце бьёт тревóгу—یورەك یارسب تیبه
Сéрдце взя́ло перевéс—یورەك جیڭدی
Облилóсь сéрдце крóвью—(یورەككه قان ساودی (بیك قورقدی
Ди́кие глазá—قرعی کوزلەر
Стрáшные словá—قورقنچلی سوزلەر
Сéрдце упадёт—یورەك قوبا
Окоченéвшие рýки—قاتقان (توڭعان) قوللار

Ни́щий.

— Ми́лостивый госудáрь! Бýдьте дóбры, обрати́те внимáние на несчáстного, голóдного человéка. Три дня́ не éл... не имéю пятакá на ночлéг... клянýсь Бóгом! Вóсемь лет служи́л сéльским учи́телем и потеря́л мéсто по интри́гам зèмства. Пал жéртвою донóса. Вот уж год хожý без мéста.

Прися́жный повéренный Скворцóв поглядéл на си́зое, дыря́вое пальтó проси́теля, на его мýтные, пья́ные глазá, крáсные пя́тна на щекáх, и емý показáлось, что он рáньше ужé ви́дел где-то э́того человéка.—Тепéрь мне предлагáют мéсто в Калýжской губéрнии—продолжáл проси́тель:—но у меня́ нет средств, чтóбы поéхать тудá. Помоги́те, сдéлайте ми́лость! Сты́дно проси́ть, но.... вынуждáют обстоя́тельства. Скворцóв поглядéл на калóши и вдруг вспóмнил.—Послýшайте, трéтьего дня, кáжется, я встрéтил вас на Садóвой,—сказáл он:—но тогдá вы говори́ли мне, что вы не сéльский учи́тель, а студéнт, котóрого исключи́ли. Пóмните?—Не.... нет, не мóжет быть!—пробормотáл про-

сйтель, смущáясь.—Я сéльский учи́тель и, éжели желáете, могý докумéтны показáть.—Бýдет вам лгáть! Вы называ́ли себя́ студéнтом и дáже рассказáли мне, за что вас исключи́ли. Пóмните? Скворцóв покраснéл и с выражéнием гадли́вости на лицé отошёл от обóрвыша.—Это пóдло, ми́лостивый госудáрь!—кри́кнул он серди́то.—Это мошéнничество! Я вас в поли́цию отпрáвлю, чóрт бы вас взял! Вы бéдны, гóлодны, но э́то не даёт вам прáва так нáгло, бессóвестно лгать! Обóрвыш взялся́ за рýчку двéри и растèрянно, как пóйманный вор, огляде́л перéднюю.—Я...я не лгу-с...—пробормотáл он.—Я могý докумéнты показáть.—Кто вам повéрит?—продолжáл возмущáться Скворцóв.—Эксплуати́ровать симпáтии óбщества к сéльским учителя́м и студéнтам—ведь э́то так ни́зко, пóдло, гря́зно! Возмути́тельно!

Скворцóв разошёлся и сáмым безжáлостным óбразом распёк проси́теля. Своèю нáглою лóжью обóрвыш возбуди́л в нём гадли́вость и отвращéние, оскорби́л то, что он, Скворцóв, так люби́л и цени́л в себé самóм: добротý, чувстви́тельное сéрдце, сострадáние к несчáстным лю́дям; своéю лóжью, покушèнием на милосéрдие „суб‘ект“ тóчно оскверни́л ту ми́лостыню, котóрую он от чи́стого сéрдца люби́л подавáть беднякáм. Обóрвыш сначáла опрáвдывался, божи́лся, но потóм умóлк и пристыжённый пони́к головóй.—Сýдарь!—сказáл он, приклáдывая рýку к сéрдцу.—Действи́тельно, я... солгáл! Я не студéнт и не сéльский учи́тель. Всё э́то однá вы́думка! Я в рýсском хóре служи́л и оттýда меня́ за пья́нство вы́гнали. Но чтó же мне дéлать? Вéрьте Бóгу, нельзя́ без лжи́! Когдá я говорю́ прáвду, мне никтó не подаёт. С прáвдой умрёшь с гóлоду и замёрзнешь без ночлéга! Вы вéрно рассуждáете, я понимáю, но... что же мне дéлать?—Что дéлать? кри́кнул Скворцóв, подходя́ к немý бли́зко.—Рабóтайте, вот что дéлать! Рабóтать нýжно!—Рабóтать... Я и сам э́то понимáю, но где же рабóты взять?—Вздóр! Вы мóлоды, здорóвы, си́льны и всегдá найдёте рабóту, былá бы лишь охóта. Но

ведь вы ленивы, избалованы, пьяны! От вас, как из кабака, разит водкой! Вы изолгались и истрепались до мозга костей, и способны только на попрошайничество и ложь! Если вы и соблаговолите когда-нибудь снизойти до работы, то подавай вам канцелярию, русский хор, маркёрство, где бы вы ничего не делали и получали бы деньги! А не угодно ли вам заняться физическим трудом? Небось, не пойдёте в дворники или фабричные! Ведь вы с претензиями!—Как вы рассуждаете, ей-Богу...—проговорил проситель и горько усмехнулся.—Где же мне взять физического труда? В приказчики мне уже поздно, потому что в торговле с мальчиков начинать надо, в дворники никто меня не возьмёт, потому что на меня тыкать нельзя... а на фабрику не примут, надо ремесло знать, а я ничего не знаю.—Вздор! Вы всегда найдёте оправдание! А не угодно ли вам дрова колоть?—Я не отказываюсь, но нынче и настоящие дровоколы сидят без хлеба.—Ну, все тунеядцы так рассуждают. Предложи вам, так откажетесь. Не хотите ли у меня поколоть дрова?—Извольте, поколю...—Хорошо‘ посмотрим. Отлично... Увидим!

Скворцов заторопился и, не без злорадства потирая руки, вызвал из кухни кухарку.—Вот, Ольга,—обратился он к ней:—поведи этого господина в сарай, и пусть он дрова поколет. Оборвыш пожал плечами, как бы недоумевая, и нерешительно пошёл за кухаркой. По его походке видно было, что согласился он идти колоть дрова не потому, что был голоден и хотел заработать, а просто из самолюбия и стыда, как пойманный на слове. Заметно было также, что он сильно ослабел от водки, был нездоров и не чувствовал ни малейшего расположения к работе.

Скворцов поспешил в столовую. Там из окон, выходивших на двор, виден был двор, виден был дровяной сарай и всё, что происходило на дворе. Стоя у окна, Скворцов видел, как кухарка и оборвыш вышли чёрным ходом

на двор и по гря́зному сне́гу напра́вились к сара́ю. О́льга, серди́то огля́дывая своего́ спу́тника и ты́ча в сто́рону локтя́ми, отперла́ сара́й и со зло́бой хло́пнула две́рью. „Вероя́тно, мы помеша́ли ба́бе ко́фе пить,—поду́мал Скворцо́в.— Э́кое зло́е созда́ние!“ Да́лее он ви́дел, как лже-учи́тель и лже-студент усе́лся на коло́ду и, подпере́в кулака́ми свои́ кра́сные щёки, о чём-то заду́мался. Ба́ба швырну́ла к его нога́м топо́р, со зло́бой плю́нула и, су́дя по выраже́нию губ, ста́ла брани́ться. Обо́рвыш нерешительно потяну́л к себе́ одно́ поле́но, поста́вил его́ между ног и несме́ло тя́пнул по нем топоро́м. Поле́но закача́лось и упа́ло. Обо́рвыш потя́ну́л его к себе́, поду́л на свои́ озя́бшие ру́ки и опя́ть тя́пнул топоро́м с тако́ю осторо́жностью, как бу́дто боя́лся хвати́ть себя́ по кало́ше, или обруби́ть па́льцы. Поле́но опя́ть упа́ло. Гнев Скворцо́ва уже́ проше́л, и ему́ ста́ло немножко бо́льно и сты́дно за то, что он заста́вил челове́ка избало́ванного, пья́ного и, мо́жет-быть, больно́го занима́ться на хо́лоде чёрной ра́ботой. „Ну, ничего́, пусть ..—поду́мал он, и́дя из столо́вой в кабине́т.—Э́то я для его́ же по́льзы“.

Че́рез час яви́лась О́льга и доложи́ла, что дрова́ уже́ порублены. „На, отда́й ему́ полти́нник,—сказа́л Скворцо́в.— Е́сли он хо́чет, то пусть прихо́дит коло́ть дрова́ ка́ждое пе́рвое число. Рабо́та всегда́ найдётся“. Пе́рвого числа́ яви́лся обо́рвыш и опя́ть зарабо́тал полти́нник, хотя́ едва́ стоя́л на нога́х. С э́того ра́за он стал ча́сто пока́зываться на дворе́, и вся́кий раз для него́ находи́ли рабо́ту: то он снег сгреба́л в ку́чи, то прибира́л в сара́е, то выбива́л пыль из ковро́в и матра́цев. Вся́кий раз он получа́л за свои́ труды́ копе́ек 20—40, и раз да́же ему́ бы́ли вы́сланы ста́рые брю́ки. Перебира́ясь на другу́ю кварти́ру, Скворцо́в на́нял его помога́ть при укла́дке и перево́зке ме́бели. В э́тот раз обо́рвыш был трезв, угрю́м и молчали́в; он едва́ прикаса́лся к ме́бели, ходи́л, пону́ря го́лову, за воза́ми и да́же стара́лся каза́ться де́ятельным, и то́лько пожима́лся

от хо́лода и конфу́зился, когда́ изво́зчики смея́лись над его пра́здностью и беcси́лием и рва́ным, благоро́дным пальто́.

По́сле перево́зки Скворцо́в веле́л позва́ть его́ к себе́.— Ну, я ви́жу, мои́ слова́ на вас поде́йствовали,—сказа́л он, подава́я ему́ рубль.—Вот вам за труды́. Я ви́жу, вы тре́звы и не прочь порабо́тать. Как вас зову́т.—Лушко́в.—Я, Лушко́в, могу́ тепе́рь предложи́ть вам другу́ю рабо́ту, почи́ще. Вы мо́жете писа́ть?—Могу́-с.—Так вот с э́тим письмо́м вы за́втра отпра́витесь к моему́ това́рищу и полу́чите от него́ перепи́ску. Рабо́тайте, не пья́нствуйте, не забыва́йте того́, что я говори́л вам. Проща́йте!

Скворцо́в, дово́льный тем, что поста́вил челове́ка на путь и́стины, ла́сково потрепа́л Лушко́ва по плечу́ и да́же по́дал ему́ на проща́нье ру́ку. Лушко́в взял пи́сьмо, ушёл и уж бо́льше не приходи́л на двор за рабо́той.

Прошло́ два го́да. Одна́жды, сто́я у театра́льной ка́ссы и распла́чиваясь за биле́т, Скворцо́в уви́дел ря́дом с собо́й ма́ленького челове́чка с бара́шковым воротнико́м и в поно́шенной ко́тиковой ша́пке. Челове́чек ро́бко попроси́л у касси́ра биле́т на галёрку и заплати́л ме́дными пятака́ми.—Лушко́в, э́то вы?—спроси́л Скворцо́в, узна́в в челове́чке своего́ давни́шнего дровоко́ла.—Ну, как? Что поде́лываете? Хорошо́ живе́тся?—Ничего́... Служу́ тепе́рь у нота́риуса, получа́ю 35 рубле́й-с.—Ну, и сла́ва Бо́гу. И отли́чно! Ра́дуюсь за вас. О́чень, о́чень рад, Лушко́в! Ведь вы, не́которым о́бразом, мой кре́стник. Ведь э́то я вас на настоя́щую доро́гу толкну́л. По́мните, как я вас распека́л, а? Чуть вы у меня́ тогда́ сквозь зе́млю не провали́лись. Ну, спаси́бо, голу́бчик, что мои́х слов не забыва́ли.—Спаси́бо и вам,—сказа́л Лушко́в.—Не приди́ я к вам тогда́, пожа́луй, до сих пор называ́лся бы учи́телем, или студе́нтом. Да, у вас спа́сся, вы́скочил из я́мы.—О́чень о́чень рад.—Спаси́бо за ва́ши до́брые слова́ и за дела́. Вы отли́чно тогда́ говори́ли. Я благода́рен и вам и ва́шей куха́рке; дай Бог здоро́вья этой до́брой, благоро́дной же́н-

щине. Вы отли́чно говори́ли тогда́, я вам обя́зан, коне́чно, по гроб жи́зни, но спасла-то меня́ со́бственно ва́ша куха́рка О́льга.—Каки́м э́то о́бразом?—А таки́м о́бразом. Быва́ло, придёшь к вам дрова́ коло́ть, а она́ начнёт: „Ах, ты, пья́ница! Окая́нный ты челове́к! И нет на тебя́ поги́бели так!“ А пото́м ся́дет про́тив, пригорю́нится, гляди́т мне в лицо́ и пла́чется: „Несча́стный ты челове́к! Нет тебе́ ра́дости на э́том све́те, да и на том све́те, пья́ница, в аду́ горе́ть бу́дешь! Горемы́чный ты!“ И всё в тако́м ро́де, зна́ете. Ско́лько она́ себе́ кро́ви испо́ртила и слёз проли́ла ра́ди меня́, я вам и сказа́ть не могу́. Но гла́вное—вме́сто меня́ дрова́ коло́ла! Я, ведь, су́дарь, у вас ни одного́ поле́на не расколо́л, а все она́! Почему́ она́ меня́ спасла́, почему́ я измени́лся, гля́дя на неё, а пить переста́л, не могу́ вам об'ясни́ть. Зна́ю то́лько, что от её слов и благоро́дных посту́пков в душе́ мое́й произошла́ переме́на, она́ меня́ испра́вила, и никогда́ я э́того не забу́ду. Одна́ко пора́, уже́ звоно́к подаю́т.—Лушко́в поклони́лся и отпра́вился на галёрку.

А. П. Че́хов.

Интри́га—حەيلە، مەكر
Зе́мство—زيمستوۋا
Прися́жный пове́ренный—دەعوا وەكيلى
На́гло лгать—ئۇياتسز رەوشدە ئالدالاو
Гадли́вое чу́вство—جيرەنگچ تۇيعى، حيس
Эксплуати́ровать симпа́тии о́бщества к се́льским—учителя́м جەمعييەتنىڭ مۇحەببەتن ئاول مۇعەلليملەرنە جەلب ئيتو، تارتو.
Покуше́ние на милосе́рдие—شەفقەت، مەرحەمەتكە قاسد قيلو
Суб'е́кт—كشى، كمسە، شەخس
Пони́к голово́й—باشنى توبەن سالدى
Рази́т во́дкой—ئاراقى ئيسى كيلە
Попроша́йничество—تلەنچلك، حەير ئستەوچلك

Маркёрство—بیلیارد ئویۇنندا حزمەتچىلك

Претéнзия—دەعوا، تالاب، کوکُل ،سوزو

На меня́ ты́кать нельзя́—مینی تۇرترگه یارامی

Тунея́дец—،سۇرى قۇرت، ئەرەم تاماق، ئشسز يۇروچى

Лже-учитéль—ساحته (يالغان) مۇعەللیم

Трéзвый—ئايق

Ходи́л поню́ря гóлову—باشن توبەن سالب کیتدى

Наста́вил человéка на путь и́стины—
کشنى یاحشى ئش ئشلەرگه کوندردى

Галёрка—تییاتردا ئیك یوقارى ،ئورن

Нота́риус—ناتاریوس، مۇعامەدەلەرنى برکتوچى

Мой крéстник—مینم چوقندرغان ،ئولم

На настоя́щую дорóгу толкну́л—دورست،يول کورسەتدى

Вы́скочил из я́мы—چۇقردان سیکرب چقدى

Спать хóчется.

Ночь. Ня́нька Ва́рька, дéвочка лет трина́дцати, кача́ет колыбéль, в котóрой лежи́т ребёнок, и чуть слы́шно мурлы́чет:

— Баю́-ба́юшки-баю́,
А я пéсенку спою́...—

Пред óбразом гори́т зелёная лампа́дка; чéрез всю кóмнату от угла́ до угла́ тя́нется верёвка, на котóрой вися́т пелёнки и больши́е чёрные пантало́ны. От лампа́дки ложи́тся на потолóк большóе зелёное пятнó, а пелёнки и пантало́ны броса́ют дли́нные тéни на пéчку, колыбéль, на Ва́рьку.... Когда́ лампа́дка начина́ет мига́ть, пятнó и тéни ожива́ют и прихóдят в движéние, как от вéтра. Ду́шно. Па́хнет щами и сапóжным това́ром. Ребёнок пла́чет. Он давнó ужé оси́п и изнемóг от пла́ча, но всё ещё кричи́т, и неизвéстно, когда́ он уймётся. А Ва́рьке хóчется спа́ть.

Глаза́ её слипа́ются, го́лову тя́нет вниз, ше́я боли́т. Она́ не мо́жет шевельну́ть ни ве́ками, ни губа́ми, и ей ка́жется, что лицо́ её вы́сохло и одеревене́ло, что голова́ ста́ла ма́ленькой, как була́вочная голо́вка. — Баю́-ба́юшки-баю́, — мурлы́чет она́:—тебе́ ка́шки наварю́...— В пе́чке кричи́т сверчо́к. В сосе́дней ко́мнате, за две́рью, похра́пывают хозя́ин и подмасте́рье Афана́сий... Колыбе́ль жа́лобно скрипи́т, сама́ Ва́рька мурлы́чет—и всё э́то слива́ется в ночну́ю, убаю́кивающую му́зыку, кото́рую так сла́дко слу́шать, когда́ ложи́шься в посте́ль.

Тепе́рь же э́та му́зыка то́лько раздража́ет и гнетёт, потому́ что она́ вгоня́ет в дремо́ту, а спать нельзя́; е́сли Ва́рька, не да́й Бог, уснёт, то хозя́ева прибью́т её. Лампа́дка мига́ет. Зелёное пятно́ и те́ни прихо́дят в движе́ние, лёзут в полуоткры́тые, неподви́жные глаза́ Ва́рьки, и в её наполови́ну усну́вшем мозгу́ скла́дываются в тума́нные грёзы. Она́ ви́дит тёмные облака́, кото́рые гоня́ются друг за дру́гом по не́бу и крича́т, как ребёнок. Но вот поду́л ве́тер, пропа́ли облака́, и Ва́рька ви́дит широ́кое шоссе́, покры́тое жи́дкою гря́зью; по шоссе́ тя́нутся обо́зы, плету́тся лю́ди с котомка́ми на спина́х, но́сятся взад и вперёд каки́е-то те́ни; по о́бе сто́роны сквозь холо́дный, суро́вый тума́н, видны́ леса́. Вдруг лю́ди с кото́мками и те́нями па́дают на зе́млю в жи́дкую грязь.—„Заче́м э́то?“—спра́шивает Ва́рька.—„Спать, спать!“—отвеча́ют ей. И они́ засыпа́ют кре́пко, спят сла́дко, а на телегра́фных про́волоках сидя́т воро́ны и соро́ки, крича́т, как ребёнок, и стара́ются разбуди́ть их.

— Баю́-ба́юшки-баю́, а я пе́сенку спою́.... — мурлы́чет Ва́рька, и уже́ ви́дит себя́ в тёмной, ду́шной избе́. На полу́ воро́чается её поко́йный оте́ц Ефи́м Степа́нов. Она́ не ви́дит его́, но слы́шит, как он ката́ется от бо́ли по́ полу и сто́нет. У него́, как он говори́т, „разыгра́лась гры́жа“. Боль так сильна́, что он не мо́жет вы́говорить ни одного́

сло́ва и то́лько втя́гивает в себя́ во́здух и отбива́ет зуба́ми бараба́нную дробь:—Бу-бу-бу-бу... Мать Пелаге́я побежа́ла в уса́дьбу к господа́м сказа́ть, что Ефи́м помира́ет. Она́ давно́ уже̂ ушла́, и пора́ бы ей верну́ться. Ва́рька лежи́т на печи́, не спи́т и прислу́шивается к отцо́вскому „бу-бу-бу“. Но вот слы́шно, кто́-то под‘е́хал к избе́. Э́то господа́ присла́ли молодо́го до́ктора, кото́рый прие́хал к ним из го́рода в го́сти.

До́ктор вхо́дит в и́збу; его не ви́дно в потё́мках, но слы́шно, как он ка́шляет и щё́лкает две́рью.—Засвети́те ого́нь,—говори́т он.

— Бу-бу-бу....—отвеча́ет Ефи́м. Пелаге́я броса́ется к пе́чке и начина́ет иска́ть черено́к со спи́чками. Прохо́дит мину́та в молча́нии. До́ктор, поры́вшись в карма́нах, зажига́ет свою́ спи́чку.—Сейча́с, ба́тюшка, сейча́с, – говори́т Пелаге́я, броса́ется вон из избы́ и, немно́го погодя́, возвраща́ется с ога́рком. Щё́ки у Ефи́ма ро́зовые, глаза́ блестя́т, и взгля́д как-то осо́бенно остр, то́чно Ефи́м ви́дит наскво́зь и и́збу, и до́ктора.

— Ну, что́? Что́ ты э́то вздý мал?—говори́т до́ктор, нагиба́ясь к нему́.—Эге́! Давно́-ли э́то у тебя́—Чего́-с? Помира́ть, ва́ше благоро́дие, пришло́ вре́мя... Не быть мне́ в живы́х...—По́лно вздо́р говори́ть... Вы́лечим!—Это как вам уго́дно, ва́ше благоро́дие, благодари́м поко́рно, а то́лько мы понима́ем... Коли́ смерть пришла́, что́ уж тут. До́ктор с че́тверть ча́са во́зится с Ефи́мом; пото́м поднима́ется и говори́т:–Я ничего́ не могу̂ поде́лать... Тебе́ ну́жно в больни́цу е́хать, там тебе́ опера́цию сде́лают. Сейча́с же поезжа́й... Непреме́нно поезжа́й! Немно́жко по́здно, в больни́це все уже́ спят, но э́то ничего́, я тебе́ запи́сочку дам. Слы́шишь?—Ба́тюшки, да на чё́м же он пое́дет?—говори́т Пелаге́я.—У нас нет ло́шади.

— Ничего́, я попрошу́ госпо́д, они́ даду́т ло́шадь. До́ктор ухо́дит, свеча́ ту́хнет, и опя́ть слы́шится „бу-бу-бу“....

Спустя́ полчаса́, к избе́ кто́-то под'езжа́ет. Э́то господа́ присла́ли теле́жку, что́бы е́хать в больни́цу. Ефи́м собира́ется и е́дет.... Но вот наступа́ет хоро́шее, я́сное у́тро. Пелаге́и нет до́ма: она́ пошла́ в больни́цу узна́ть, что де́лается с Ефи́мом. Где́-то пла́чет ребёнок, и Ва́рька слы́шит, как кто́-то её го́лосом поёт:—Баю́-ба́юшки-баю́, а я пе́сенку спою́.... Возвраща́ется Пелаге́я; она́ кре́стится и ше́пчет:—Но́чью впра́вили ему́, а к у́тру Бо́гу ду́шу о́тдал.... Ца́рство небе́сное, ве́чный поко́й... Ска́зывают, по́здно захвати́ли... На́до бы ра́ньше...

Ва́рька идёт в лес и пла́чет там, но вдруг кто́-то бьёт её по заты́лку с тако́й си́лой, что она́ сту́кается лбом о берёзу. Она́ поднима́ет глаза́ и ви́дит пе́ред собо́й хозя́ина—сапо́жника.—Ты что́ же э́то, парши́вая?—говори́т он.—Дитё пла́чет, а ты спи́шь?—Он бо́льно тре́плет её за́ ухо, а она́ встря́хивает голово́й, кача́ет колыбе́ль и мурлы́чет свою́ пе́сню. Зелёное пятно́ и те́ни от панта-ло́н и пелёнок колёблются, мига́ют ей и ско́ро опя́ть овладева́ют её мо́згом. Опя́ть она́ ви́дит шоссе́, покры́тое жи́дкою гря́зью. Лю́ди с кото́мками на спина́х и те́ни разлегли́сь и кре́пко спя́т. Гля́дя на них, Ва́рьке стра́стно хо́чется спать; она́ легла́ бы с наслажде́нием, но мать Пелаге́я идёт ря́дом и торо́пит её. Обе они́ спеша́т в го́род нанима́ться.—Пода́йте ми́лостыньки Христа́-ра́ди!—про́сит мать у встре́чных.—Яви́те бо́жескую ми́лость, господа́ милосе́рдные!—Пода́й сюда́ ребёнка!—отвеча́ет ей чей-то знако́мый го́лос.—Пода́й сюда́ ребёнка!—повторя́ет тот же го́лос, но уже́ серди́то и ре́зко.—Спишь, по́длая? Ва́рька вска́кивает и, огляде́вшись, понима́ет, в чём де́ло: нет ни шоссе́, не Пелаге́и, ни встре́чных, а стои́т посреди́ ко́мнаты одна́ то́лько хозя́йка, кото́рая пришла́ покорми́ть своего́ ребёнка. Пока́ то́лстая, плечи́стая хозя́йка ко́рмит и унима́ет ребёнка, Ва́рька стои́т, гляди́т на неё и ждёт, когда́ она́ ко́нчит. А за окно́м уже́ сине́ет во́здух, те́ни и

зелёное пятно́ на потолке́ заме́тно бледне́ют. Ско́ро у́тро.— Возьми́!—говори́т хозя́йка, застёгивая на груди́ соро́чку. Пла́чет. Должно́, сгла́зили.

Ва́рька берёт ребёнка, кладёт его́ в колыбе́ль и опя́ть начина́ет кача́ть. Зелёное пятно́ и те́ни ма́ло-по-ма́лу исчеза́ют, и уж не́кому лезть в её го́лову и тума́нить мозг. А спать хо́чется попре́жнему, ужа́сно хо́чется! Ва́рька кладёт го́лову на край колыбе́ли и кача́ется всем ту́ловищем, что́бы переси́лить сон, но глаза́ всё-таки слипа́ются, и голова́ тяжела́.—Ва́рька, затопи́ пе́чку!—раздаётся за две́рью го́лос хозя́ина. Зна́чит, уже́ пора́ встава́ть и принима́ться за рабо́ту. Ва́рька оставля́ет колыбе́ль и бежи́т в сара́й за дрова́ми.

Она́ ра́да. Когда́ бе́гаешь и хо́дишь, спать уже́ не так хо́чется, как в сидя́чем положе́нии. Она́ прино́сит дрова́. то́пит печь и чу́вствует, как распаля́ется её одеревене́вшее лицо́, и как проясня́ются мы́сли.

— Ва́рька, поста́вь самова́р! – кричи́т хозя́йка. Ва́рька ко́лет лучи́ну, но едва́ успева́ет заже́чь их и су́нуть в самова́р, как слы́шится но́вый прика́з:—Ва́рька, почи́сть хозя́ину кало́ши!—Она́ сади́тся на́ пол, чи́стит кало́ши и ду́мает, что хорошо́ бы су́нуть го́лову в большу́ю, глубо́кую кало́шу и подрема́ть в ней немно́жко... И вдруг кало́ша растёт, пу́хнет, наполня́ет собо́ю всю ко́мнату. Ва́рька роня́ет щётку, но то́тчас же встря́хивает голово́й, пу́чит глаза́ и стара́ется гляде́ть так, что́бы предме́ты не росли́ и не дви́гались в её глаза́х.—Ва́рька, помо́й снару́жи ле́стницу, а то от зака́зчиков со́вестно!—Ва́рька мо́ет ле́стницу, убира́ет ко́мнаты, пото́м то́пит другу́ю печь и бежи́т в ла́вочку. Рабо́ты мно́го, нет ни одно́й мину́ты свобо́дной. Но ничто́ так не тяжело́, как стоя́ть на одно́м ме́сте перед ку́хонным столо́м и чи́стить карто́шку. Го́лову тя́нет к столу́, карто́шка рябит в глаза́х, нож ва́лится из рук, а во́зле хо́дит то́лстая, серди́тая хозя́йка с засу́ченными рука́ми и

говори́т так гро́мко, что звени́т в уша́х. Мучи́тельно та́кже прислу́живать за обе́дом, стира́ть, шить.

День прохо́дит. Гля́дя, как темне́ют о́кна, Ва́рька сжима́ет себе́ дерьвене́ющие виски́ и улыба́ется, сама́ не зна́я чего́ ра́ди. Вече́рняя мгла́ ласка́ет её слипа́ющиеся глаза́ и обеща́ет ей ско́рый, кре́пкий сон. Ве́чером к хозя́евам прихо́дят го́сти.

— Ва́рька, ставь самова́р!—кричи́т хозя́йка. Самова́р у хозя́ев ма́ленький, и, прежде чем го́сти напива́ются ча́ю, прихо́дится подогрева́ть его́ раз пять. По́сле ча́ю Ва́рька стои́т це́лый час на одно́м ме́сте, гляди́т на госте́й и ждёт приказа́ний.

— Ва́рька, сбе́гай, купи́ три буты́лки пи́ва! Она́ срыва́ется с ме́ста и стара́ется бежа́ть быстре́е, что́бы прогна́ть сон.—Ва́рька, сбе́гай за во́дкой! Ва́рька, где што́пор? Ва́рька, почи́сть селёдку!—Но вот, наконе́ц, го́сти ушли́; огни́ ту́шатся, хозя́ева ложа́тся спать.—Ва́рька, покача́й ребёнка!—раздаётся после́дний прика́з. В пе́чке кричи́т сверчёк; зелёное пятно́ на потолке́ и те́ни от пантало́н и пелёнок опя́ть ле́зут в полуоткры́тые глаза́ Ва́рьки, мига́ют и тума́нят ей го́лову.—Баю́-ба́юшки-баю́,—мурлы́чет она:— а я пе́сенку спою́....

А ребёнок кричи́т и изнемога́ет от кри́ка. Ва́рька ви́дит опя́ть гря́зное шоссе́, люде́й с кото́мками, Пелаге́ю, отца́ Ефи́ма. Она́ всё понима́ет, всех узнаёт, но сквозь полусо́н она́ не мо́жет то́лько ника́к поня́ть той си́лы, кото́рая ско́вывает её по рука́м и по нога́м, да́вит её и меша́ет ей жить. Она́ огля́дывается, и́щет э́ту си́лу, что́бы изба́виться от неё, но не нахо́дит. Наконе́ц, изму́чившись, она́ напряга́ет все свои́ си́лы и зре́ние, гляди́т вверх на мига́ющее зелёное пятно́ и, прислу́шавшись к кри́ку, нахо́дит врага́, меша́ющего ей жить. Этот враг—ребёнок.

Она́ смеётся. Ей удиви́тельно: как э́то ра́ньше она́ не могла́ поня́ть тако́го пустяка́? Зелёное пятно, те́ни и свер-

че́к то́же, ка́жется, смею́тся и удивля́ются. Ло́жное представле́ние овладева́ет Ва́рькой. Она́ встаёт с табуре́та и, широко́ улыба́ясь, не мига́я глаза́ми, проха́живается по ко́мнате. Ей прия́тно и щеко́тно от мы́сли, что она́ сейча́с изба́вится от ребёнка, ско́вывающего её по рука́м и нога́м... Уби́ть ребёнка, а пото́м спать, спать, спать..... Смея́сь, подми́гивая и грозя́ зелёному пятну́ па́льцами, Ва́рька подкра́дывается к колыбе́ли и наклоня́ется к ребёнку. Задуши́в его́, она́ бы́стро ложи́тся на́ пол, смеётся от ра́дости, что ей мо́жно спать, и че́рез мину́ту спит уже́ кре́пко, как мёртвая.

А. П. Че́хов.

Колыбе́ль—بيشك
Мурлы́чет—مرلدى
Пелёнки—بيلەولەر، بالا چوپرەكلەرى
Пантало́ны—چالبار، حاتن - قز ئشتانى
Оси́п—تاماق قارلدى
Изнемо́г—زەعيفلەندى، حەلدەن تايدى
Ве́ки—كوز قاباقلارى
Лицо́ одеревене́ло—يۈز ئاعاچقا ئديلەندى. بيت حەلسزلەندى
Сверчо́к—چيكرتكە
Похра́пывают—عرلديلار
Подмасте́рье—ئۇستا قول ئاستنداعى كشى
Раздража́ет—يارسنتا، ئاچولاندرا
Гнетёт—قسا، عازاب چيكدرە
Прибью́т—قينارلار
Полууснýвший мозг—يارتى يۇقلاعان مى
Тума́нные грёзы—تۇمانلى حيياللەر. تۇشلەر
Шоссе́—تاش جەيلگەن يول، قالدرمالى يول
Гры́жа—بوسر ئاورووى
Ога́рок—شەم تۇپچۈگى

Опера́цию сде́лают—ئاپيراتسييا ياسيلار
Сгла́зили—كوز تييردئلەر، كوزكدردئلەر
Распаля́ется лицо́—بيت قزارا
Вискі́—چيگەلدر
Ло́жное представле́ние овладева́ет Ва́рькой—ۋاركەنى يالعان ئويلاو چۇلعاب ئالدى.

Пе́тька на да́че.

О́сип Абра́мович, парикма́хер, попра́вил на груди́ посети́теля гря́зную просты́нку, заткну́л её па́льцами за во́рот и кри́кнул отры́висто и ре́зко:

— Ма́льчик, воды́!

Посети́тель, рассма́тривавший в зе́ркало свою́ физионо́мию с то́ю обостре́нною внима́тельностью и интере́сом, каки́е явля́ются то́лько в парикма́херской, замеча́л, что́ у него́ на подборо́дке приба́вился ещё оди́н у́горь, и с неудово́льствием отводи́л глаза́, попада́вшие пря́мо на худу́ю ма́ленькую ручо́нку, кото́рая отку́да то со стороны́ протя́гивалась к подзерка́льнику и ста́вила жестя́нку с горя́чей водо́й. Когда́ он поднима́л глаза́ вы́ше, то ви́дел отраже́ние парикма́хера, стра́нное и как бу́дто косо́е, и подмеча́л бы́стрый и гро́зный взгля́д, который то́т броса́л вни́з на чью то го́лову, и безмо́лвное движе́ние его́ губ от неслы́шного, но вырази́тельного шо́пота. Если его́ бри́л не са́м хозя́ин О́сип Абра́мович, а кто-нибу́дь из подмасте́рьев, Проко́пий или Миха́йло, то шо́пот станови́лся гро́мким и принима́л фо́рму неопределённой угро́зы:

— Во́т, погоди́!

Э́то зна́чило, что ма́льчик недоста́точно бы́стро по́дал во́ду, и его́ ждёт нака́зание. „Та́к их и сле́дует“, ду́мал посети́тель, кривя́ го́лову на́ бок и созерца́я у са́мого своего́

но́са большу́ю по́тную ру́ку, у кото́рой три па́льца бы́ли оттопы́рены, а два́ други́е, ли́пкие и паху́чие, не́жно прикаса́лись к щеке́ и подборо́дку, пока́ тупова́тая бри́тва с неприя́тным скри́пом снима́ла мы́льную пе́ну и жёсткую щети́ну бороды́.

В э́той парикма́херской, пропи́танной ску́чным за́пахом дешёвых духо́в, по́лной недобе́дливых му́х и гря́зи, посети́тель был нетре́бовательный: швейца́ры, прика́зчики, иногда́ ме́лкие слу́жащие и́ли рабо́чие, ча́сто аляпова́то-краси́вые, но подозри́тельные молодцы́, с румя́ными щека́ми, то́ненькими у́сиками и на́глыми, масляни́стыми глаза́ми.

Ма́льчик, на кото́рого ча́ще всего́ крича́ли, называ́лся Пе́тькой и бы́л са́мым ма́леньким из всех слу́жащих в заведе́нии. Друго́й ма́льчик, Нико́лка, насчи́тывал от ро́ду тремя́ года́ми бо́льше и ско́ро до́лжен был перейти́ в подмасте́рья. Уже́ и тепе́рь, когда́ в парикма́херскую загля́дывал посети́тель попро́ще, а подмасте́рья в отсу́тствие хозя́ина лени́лись рабо́тать, они́ посыла́ли Нико́лку стри́чь, и смея́лись, что ему́ прихо́дится поднима́ться на цы́почки, что́бы ви́деть волоса́тый заты́лок дю́жего дво́рника. Иногда́ посети́тель обижа́лся за испо́рченные во́лосы и поднима́л кри́к, тогда́ и подмасте́рья крича́ли на Нико́лку, но не в серьёз, а то́лько для удово́льствия окорпа́ченного простака́. Но таки́е слу́чаи быва́ли ре́дко, и Нико́лка ва́жничал и держа́лся, как большо́й: кури́л папиро́сы, сплёвывал че́рез зу́бы, руга́лся скве́рными слова́ми и да́же хва́стался Пе́тьке, что пи́л во́дку, но, вероя́тно, вра́л. Вме́сте с подмасте́рьями он бе́гал на сосе́днюю у́лицу посмотре́ть на кру́пную дра́ку, и когда́ возвраща́лся отту́да, счастли́вый и смею́щийся, О́сип Абра́мович дава́л ему́ две пощёчины: по одно́й на ка́ждую щёку.

Пе́тьке бы́ло де́сять ле́т; он не кури́л, не пил во́дки и не руга́лся, хотя́ зна́л о́чень мно́го скве́рных сло́в, и во всех э́тих отноше́ниях зави́довал това́рищу. Когда́ не́ было

посетителей, и Прокопий, проводивший где-то бессонные ночи и днём спотыкавшийся от желания спать, привалился в тёмном углу за перегородкой, а Михайло читал „Московский листок“ и среди описания краж и грабежей искал знакомого имени кого-нибудь из обычных посетителей, — Петька и Николка беседовали. Последний всегда становился добрее, оставаясь вдвоём, и об'яснял „мальчику“, что значит стричь под польку, бобриком или с пробором.

Петькины дни тянулись удивительно однообразно и похоже один на другой, как два родные брата. И зимою, и летом он видел всё те-же зеркала, из которых одно было с трещиной, а другое было кривое и потешное. И утром, и вечером, и весь Божий день над Петькой висел один и тот-же отрывистый крик: „Мальчик, воды“, и он всё подавал её, всё подавал. Праздников не было. По воскресеньям, когда улицу переставали освещать окна магазинов и лавок, парикмахерская до поздней ночи бросала на мостовую яркий сноп света, и прохожий видел маленькую, худую фигурку, сгорбившуюся в углу на своём стуле и погружённую не то в думы, не то в тяжёлую дремоту. Петька спал много, но ему почему то всё хотелось спать, и часто казалось, что всё вокруг него не правда, а длинный неприятный сон. Он часто разливал воду или не слыхал резкого крика: „Мальчик, воды“, и всё худел, а на стриженой голове у него пошли нехорошие струпья. Даже нетребовательные посетители с брезгливостью смотрели на этого худенького, веснушатого мальчика, у которого глаза всегда сонные, рот полуоткрытый и грязные—прегрязные руки и шея. Около глаз и под носом у него прорезались тоненькие морщинки, точно проведённые острой иглой, и делали его похожим на состаревшегося кролика.

Петька не знал, скучно или весело, но ему хотелось в другое место, о котором он ничего не мог сказать, где

оно́ и како́е оно́. Когда́ его́ навеща́ла ма́ть, куха́рка Наде́жда, он лени́во е́л принесённые сла́сти, не жа́ловался и то́лько проси́л взя́ть его́ отсю́да. Но зате́м он забыва́л о свое́й про́сьбе, равноду́шно проща́лся с ма́терью и не спра́шивал, когда́ она́ придёт опя́ть. А Наде́жда с го́рем ду́мала, что у неё оди́н сы́н—и то́т дурачо́к.

Мно́го ли, ма́ло ли жи́л Пе́тька таки́м образом, он не знал. Но во́т одна́жды в обе́д прие́хала ма́ть, поговори́ла с О́сипом Абра́мовичем и сказа́ла, что его́, Пе́тьку, отпуска́ют на да́чу, в Цари́цыно, где́ живу́т ее господа́. Сперва́ Пе́тька не по́нял, пото́м лицо́ его́ покры́лось то́нкими морщи́нками от ти́хого сме́ха, и он на́чал торопи́ть Наде́жду. То́й ну́жно бы́ло, ра́ди присто́йности, поговори́ть с О́сипом Абра́мовичем о здоро́вье его́ жены́, а Пе́тька тихо́нько толка́л ее́, к две́ри и де́ргал за ру́ку. Он не зна́л, что тако́е да́ча, но полага́л, что она́ есть то са́мое ме́сто, куда́ он та́к стреми́лся. И он эгоисти́чно позабы́л о Нико́лке, кото́рый, заложи́в ру́ки в карма́ны, стоя́л ту́т-же и стара́лся с обы́чною де́рзостью смотре́ть на Наде́жду. Но в глаза́х его́ вме́сто де́рзости свети́лась глубо́кая тоска́: у него́ совсе́м не́ было ма́тери, и он в э́тот моме́нт был бы не про́чь да́же от тако́й, как э́та то́лстая Наде́жда. Де́ло в то́м, что́ и он никогда́ не́ был на да́че.

Вокза́л с его́ разноголо́сою су́толокою, гро́хотом приходя́щих поездо́в, свистка́ми парово́зов, то густы́ми и серди́тыми, как го́лос О́сипа Абра́мовича, то визгли́выми и то́ненькими, как го́лос его́ больно́й жены́, торопли́выми пассажи́рами, кото́рые всё иду́т и иду́т, то́чно им и конца́ не́ту,—впервы́е предста́л пе́ред оторопе́лыми глаза́ми Пе́тьки и напо́лнил его́ чу́вством возбуждённости и нетерпе́ния. Вме́сте с ма́терью он боя́лся опозда́ть, хотя́ до отхо́да да́чного по́езда остава́лось до́брых полчаса́; а когда́ они́ се́ли в ваго́н и пое́хали, Пе́тька прили́п к окну́, и то́лько стри́женая голова́ его́ верте́лась на то́нкой ше́е, как на металли́ческом сте́ржне.

Он родился и вырос в городе, в поле был первый раз в своей жизни, и всё здесь для него было поразительно ново и странно: и то, что можно видеть так далеко, что лес кажется травкой, и небо, бывшее в этом новом мире удивительно ясным и широким, точно с крыши смотришь. Петька видел его с своей стороны, а когда оборачивался к матери, это же небо голубело в противоположном окне, и по нём плыли, как ангелочки, беленькие, радостные облачка. Петька то вертелся у своего окна, то перебегал на другую сторону вагона, с доверчивостью кладя плохо отмытую ручонку на плечи и колени незнакомых пассажиров, отвечавших ему улыбками. Но какой то господин, читавший газету и всё время зевавший, то-ли от чрезмерной усталости, то ли от скуки, раза два неприязненно покосился на мальчика, и Надежда поспешила извиниться:

— Впервой по чугунке едет,—интересуется...

-- Угу!.. пробурчал господин и уткнулся в газету. Надежде очень хотелось рассказать ему, что Петька уже три года живёт у парикмахера, и тот обещал поставить его на ноги, и это будет очень хорошо, потому что женщина она одинокая и слабая, и другой поддержки на случай болезни или старости у неё нет. Но лицо у господина было злое, и Надежда только подумала всё это про себя.

Направо от пути раскинулась кочковатая равнина, тёмно—зелёная от постоянной сырости, и на краю её были брошены серенькие домики, похожие на игрушечные, а на высокой зелёной горе, внизу которой блистала серебристая полоска, стояла такая же игрушечная белая церковь. Когда поезд со звонким металлическим лязгом, внезапно усилившимся, взлетел на мост и точно повис в воздухе над зеркальною гладью реки, Петька даже вздрогнул от испуга и неожиданности и отшатнулся от окна, но сейчас же вернулся к нему, боясь потерять малейшую подробность пути.

Глазá Пéтькины давнó ужé перестáли казáться сóнными, и морщи́нки пропáли. Как бу́дто по э́тому лицу́ кто-нибу́дь провёл горя́чим утюгóм, разглáдил морщи́нки и сдéлал егó бéлым и блестя́щим.

В пéрвые двá дня́ Пéтькиного пребывáния на дáче богáтство и си́ла нóвых впечатлéний, ли́вшихся на негó и свéрху и сни́зу, смя́ли егó мáленькую и рóбкую душóнку. В противополóжность дикаря́м мину́вших векóв, теря́вшимся при перехóде из пусты́ни в гóрод, э́тот совремéнный дикáрь, вы́хваченный из кáменных объя́тий городски́х громáд, чу́вствовал себя́ слáбым и беспóмощным пéред лицóм прирóды. Всё здесь бы́ло для негó живы́м, чу́вствующим и имéющим вóлю. Он боя́лся лéса, котóрый покóйно шумéл над егó головóй и был тёмный, заду́мчивый и такóй стрáшный в своéй безконéчности; поля́нки, свéтлые, зелёные, весёлые, тóчно поющие всéми свои́ми я́ркими цветáми, он люби́л и хотéл бы приласкáть их, как сестёр, а тёмно-си́нее нéбо звáло егó к себé и смея́лось, как мать. Пéтька волновáлся, вздрáгивал и бледнéл, улыбáлся чему́-то и степéнно, как стари́к, гуля́л по опу́шке и леси́стому бéрегу прудá. Тут он, утомлённый, задыхáющийся, развáливался на густóй сыровáтой травé и утопáл в ней; тóлько егó мáленький весну́щатый нóсик поднимáлся над зелёнойповéрхностью. В пéрвые дни он чáсто возвращáлся к мáтери, тёрся вóзле неё, и когдá бáрин спрáшивал егó, хорошó ли на дáче,— конфу́зливо улыбáлся и отвечáл:

— Хорошó!..

И потóм снóва шёл к грóзному лéсу и ти́хой водé и бу́дто допрáшивал их о чём-то.

Но прошлó ещё два дня, и Пéтька вступи́л в пóлное соглáшение с прирóдой. Это произошлó при содéйствии гимнази́ста Ми́ти из „Стáраго Цари́цына“. У гимнази́ста Ми́ти лицó бы́ло сму́гло-жёлтым, как вагóн вторóго клáсса, вóлосы на маку́шке стоя́ли торчкóм и бы́ли совсéм бéлые—

так вы́жгло их со́лнце. Он лови́л в пруде́ ры́бу, когда́ Пе́тька увида́л его́, бесцеремо́нно вступи́л с ним в беседу и удиви́тельно ско́ро сошёлся. Он дал Пе́тьке подержа́ть одну́ у́дочку и пото́м повёл его́ куда́-то далеко́ купа́ться. Пе́тька о́чень боя́лся идти́ в во́ду, но когда́ вошёл, то не хоте́л вылеза́ть из неё и де́лал вид, что пла́вает: поднима́л но́с и бро́ви кве́рху, захлёбывался и бил по воде́ рука́ми, поднима́я бры́зги. В э́ти мину́ты он был о́чень похо́ж на щенка́, впервы́е попа́вшего в во́ду. Когда́ Пе́тька оде́лся, то был си́ний от хо́лода, как мертве́ц, и, разгова́ривая, ля́скал зуба́ми. По предложе́нию того́ же Ми́ти, неистощи́мого на вы́думки, они́ иссле́довали разва́ливы дворца́; ла́зили на заро́сшую дере́вьями кры́шу и броди́ли среди́ разру́шенных стен грома́дного зда́ния. Там бы́ло о́чень хорошо́: всю́ду нава́лены гру́ды камне́й, на кото́рые с трудо́м мо́жно взобра́ться, и проме́ж их растёт молода́я ряби́на и берёзки; тишина́ стои́т мёртвая, и чу́дится, что во́т-во́т вы́скочит кто́-нибу́дь из-за угла́, и́ли в растре́скавшейся амбразу́ре окна́ пока́жется стра́шная—престра́шная ро́жа. Постепе́нно Пе́тька почу́вствовал себя́ на да́че, как до́ма, и совсе́м забы́л, что на све́те существу́ет Осип Абра́мович и парикма́херская.

— Смотри́-ка, растолсте́л как! Чи́стый купе́ц!—ра́довалась Наде́жда, сама́ то́лстая и кра́сная от ку́хонного жа́ра, как ме́дный самова́р. Она́ припи́сывала э́то тому́, что мно́го его́ ко́рмит. Но Пе́тька ел совсе́м ма́ло, не потому́, что́бы ему́ не хоте́лось е́сть, а не́когда бы́ло вози́ться: е́сли бы мо́жно бы́ло не жева̀ть, глота́ть сра́зу, а то́ ну́жно жева́ть, а в промежу́тки болта́ть нога́ми, так как Наде́жда е́ст дья́вольски ме́дленно, обгла́дывает ко́сти, утира́ется пере́дником и разгова́ривает о пустяка́х. А у него́ де́ла бы́ло по го́рло: ну́жно пя́ть раз вы́купаться, вы́резать в оре́шнике у́дочку, накопа́ть черве́й,—на всё э́то тре́буется вре́мя. Тепе́рь Пе́тька бе́гал босо́й, и э́то в ты́сячу ра́з прия́тнее,

чем в сапоа́гх с то́лстыми подо́швами: шарша́вая земля́ так ла́сково то жжёт, то холоди́т но́гу; свою́ подёржанную гимнази́ческую ку́ртку, в кото́рой он каза́лся соли́дным ма́стером парикма́херского це́ха, он та́кже сня́л и изуми́тельно помолоде́л. Надева́л он её то́лько ве́чером, когда́ ходи́л на плоти́ну смотре́ть, как ката́ются на ло́дках господа́: наря́дные, весёлые, они́ со сме́хом садя́тся в кача́ющуюся ло́дку, и та́ ме́дленно рассека́ет зерка̀льную во́ду, а отражённые дере́вья колёблются, то́чно по ним пробежа́л ветеро́к.

В исхо́де неде́ли ба́рин привёз из го́рола письмо́, адресо́ваное „куфа́рке Наде́жде“, и когда́ прочёл его́ адреса́ту, адреса́т запла́кал и разма́зал по всему́ лицу́ са́жу, кото́рая была́ на пере́днике. По отры́вочным слова́м, сопровожда́вшим э́ту опера́цию, мо́жно бы́ло поня́ть, что речь в письме́ идёт о Пе́тьке. Это бы́ло уже́ ввечеру́. Пе́тька на за́днем дворе́ игра́л са́м с собо́ю „в кла́ссики“ и надува́л щёки, потому́ что так пры́гать бы́ло значи́тельно ле́гче. Гимнази́ст Ми́тя научи́л э́тому глу́пому, но интере́сному заня́тию, и тепе́рь Пе́тька, как и́стый спортсме́н, соверше́нствовался водино́чку. Вы́шел ба́рин и, положи́в ру́ку на плечо́, сказа́л:

— Что́, брат, е́хать на́до!

Пе́тька конфу́зливо улыба́лся и молча́л. „Во̀т чудак-то!“—поду́мал ба́рин.

— Е́хать, бра́тец, на́до.

Пе́тька улыба́лся. Подошла́ Наде́жда и со слеза́ми подтверди́ла:

— На́добно е́хать, сыно́к!

— Куда́?—удиви́лся Пе́тька. Про го́род он забы́л, а друго́е ме́сто, куда́ ему́ всегда́ так хоте́лось уйти́—уже на́йдено.

— К хозя́ину, О́сипу Абра́мовичу.

Пе́тька продолжа́л не понима́ть, хотя́ де́ло бы́ло я́сно, как Бо́жий де́нь. Но во рту́ у него́ пересо́хло, и язы́к дви́гался с трудо́м, когда́ он спроси́л:

— А ка́к же за́втра ры́бу лови́ть? У́дочка, вон она́...

— Что́ же поде́лаешь!... Тре́бует. Проко́пий, говори́т, заболе́л, в больни́цу свезли́. Наро́ду, говори́т, не́ту. Ты не пла́чь: гляди́, опя́ть отпу́стит,—он до́брый, О́сип Абра́мович.

Но Пе́тька и не ду́мал пла́кать и всё не понима́л. С одно́й стороны́ был факт—у́дочка, с друго́й при́зрак—О́сип Абра́мович. Но постепе́нно мы́сли Пе́тькины ста́ли проясня́ться, и произошло́ стра́нное перемеще́ние: фа́ктом стал О́сип Абрамо́вич, а у́дочка, ещё не успе́вшая высохнуть, преврати́лась в при́зрак. И тогда́ Пе́тька удиви́л мать, расстро́ил ба́рыню и ба́рина; он не про́сто запла́кал, как пла́чут городски́е де́ти, худы́е и истощённые,—он закрича́л гро́мче са́мого горла́стого мужика́ и на́чал ката́ться по земле́. Худа́я ручо́нка его́ сжима́лась в кула́к и би́ла по руке́ ма́тери, по земле́, по чём попа́ло, чу́вствуя бо́ль от о́стрых ка́мешков и песчи́нок, но как-бу́дто стара́ясь ещё уси́лить её.

Своевре́менно Пе́тька успоко́ился, и ба́рин говори́л ба́рыне, кото́рая стоя́ла пе́ред зе́ркалом и вка́лывала в во́лосы бе́лую ро́зу:

— Вот ви́дишь, переста́л, де́тское го́ре непродолжи́тельно.

— Но мне́ всётаки о́чень жаль э́того бе́дного ма́льчика.

— Пра́вда, они́ живу́т в ужа́сных усло́виях, но есть лю́ди, кото́рым живётся и ху́же. Ты гото́ва?

И они́ пошли́ в сад Ди́гмана, где́ в э́тот ве́чер бы́ли назна́чены танцы, и уже́ играла́ вое́нная му́зыка.

На друго́й день, с семичасовы́м у́тренним по́ездом, Пе́тька уже́ е́хал в Москву́. Опя́ть пе́ред ним мелька́ли зелёные поля́, седы́е от ночно́й росы́, но то́лько убега́ли не в ту́ сто́рону, что ра́ньше, а в противополо́жную. Поде́ржаная гимнази́ческая ку́рточка облека́ла его́ ху́денькое те́ло, из-за во́рота её выставля́лся ко́нчик бе́лого бума́жного воротничка́. Пе́тька не верте́лся и почти́ не смотре́л в окно́, а сиде́л тако́й ти́хонький и скро́мный, и ручо́нки его́ бы́ли

благонра́вно сло́жены на коле́нях. Глаза́ бы́ли сонли́вые и апати́чные, то́нкие морщи́нки, как у ста́рого челове́ка, юти́лись о́коло глаз и по́д носом. Вот замелька́ли у окна́ столбы́ и стропи́ла платфо́рмы, и по́езд останови́лся.

Толка́ясь среди́ тороппи́вшихся пассажи́ров, они́ вы́шли на грохо́чущую у́лицу, и большо́й жа́дный го́род равноду́шно поглоти́л свою́ ма́ленькую же́ртву.

— Ты у́дочку спря́чь!—сказа́л Пе́тька, когда мать довела́ его́ до поро́га парикма́херской.

— Спря́чу, сыно́к, спря́чу! Мо́жет ещё прие́дешь.

И сно́ва в гря́зной и ду́шной парикма́херской звуча́л отры́вистый: „Ма́льчик воды́“, и посети́тель ви́дел, как к подзерка́льному сто́лику протя́гивалась ма́ленькая гря́зная рука́ и слы́шал неопределённо угрожа́ющий шо́пот: „Вот, погоди́!“ Это зна́чило, что сонли́вый ма́льчик ро́злил во́ду и́ли перепу́тал приказа́ния. А по ноча́м, в то́м ме́сте, где́ спали ря́дом Нико́лка и Пе́тька, звене́л и волно́вался ти́хий голосо́к и расска́зывал о да́че, и говори́л о том, чего́ не быва́ет, чего́ никто́ не ви́дел никогда́ и не слы́шал. В наступи́вшем молча́нии слы́шалось неро́вное дыха́ние де́тских груде́й, и друго́й го́лос, не по-де́тски гру́бый и энерги́чный, произноси́л:

— Вот че́рти! Чтоб им повы́лазило!

— Кто че́рти?

— Да та́к... все́.

Ми́мо проезжа́л обо́з и свои́м мо́щным громыха́нием заглуша́л голоса́ ма́льчиков и тот отдалённый жа́лобный крик, кото́рый давно́ уже́ доноси́лся с бульва́ра: там пья́ный мужчи́на бил таку́ю же пья́ную же́нщину.

Л. Андре́ев.

Созерца́ть—كوزەتو، فيكرلەب قاراو

Аляпова́то—краси́вый—توپاس ماتور

На́глый—ئۇياتسز، وجدانسز

Подниматься на цыпочки—ئاياق ئۇچىدا تۇرو
Дюжий—كۈچلى، تازا
Окорначенный—چەچى تيگزسز قرقلغان
Простак —بر قاتلى
Струпья—قوتىرلار
Кролик—يۇرت قويانى،
Дача—داچا
Морщина—جيبيرچق
Ради пристойности—ئەدەبلىلك ئۇچن
Эгоистично—ئوز فايداسن كوزەتب،
Дерзость—ئۇيانسزلق، ئەرسزلك
Момент——واقت
Сутолока—شاو-شو، گۈرلدى
Оторопелый—ئەوارەلەنگەن، قورققان
Прилип к окну—تەرەزەگە يابشدى
Стержень—ئوزەك
Всё было поразительно ново и странно—
هەممەسى عەجەب ياڭا هەم يات ئيدى
Зевать, позёвывать—ئيسنەو
Неприязненно покосился—دۇشمانلارچا قارادى
Поддержка—помощь
Лязгتيمر چكلاوى
Богатство и сила новых впечатлений.... смяли его маленькую и робкую душонку—هەم ياڭا تەئەسسۇرلەرنىڭ بايلىغى
كۈچلىلىگى ئانىڭ كچكىنە هەم يوواش كوڭلن عەجەبلەندردى
Каменные об'ятия городских громад—شەهەر تاش ئۇيلەرنىڭ قۇچاقلارى
Полянки—يالان
Степенно—وافارلى
Опушка—край леса
Вступил в полное соглашение с природой—تابيعەتنى بيك
ياراندى

Сму́глый—قارا قۇچقللى
Бесцеремо́нно—تارتنميچا
Ля́скал зуба́ми—تشلەرن شاقلداتدى
Неистощи́мый на вы́думки—ياڭادان ياڭا ئويدرما
Амбразу́ра—отве́рстие в стене́
Стра́шная ро́жа—بيك يەمسز قييافەت
Пере́дник—фа́ртук.
Шарша́вый—قترشى
Ку́ртка—قسقا كييم
Соли́дный ма́льчик—ئۇلوعسنماق، چيبەرگنە مالاى
Адреса́т—получа́тель письма, посылки
Опера́ция=де́ло
Спортсме́н—ئسپورتچى،
Факт—فاكت
При́зрак - ئۇرەك، حييال
Благонра́вно—تەربييەلى ـ ئەدەبلى
Апати́чный—روحسز ـ دەرتسز
Энерги́чный го́лос—كۈچلى ئاواز

Живы́е мо́щи.

Край родно́й долготерпе́нья,
Край ты ру́сского наро́да.
Ф. Тю́тчев.

На сле́дующий день я просну́лся ранёхенько. Со́лнце то́лько что вета́ло; на не́бе не́ было ни одного́ о́блачка; всё круго́м блесте́ло си́льным двойны́м бле́ском молоды́х у́тренних луче́й и вчера́шнего ли́вня.—Пока́ мне́ закла́дывали тарата́йку, я пошёл броди́ть по небольшо́му, не́когда фрукто́вому, тепе́рь одича́лому са́ду, со всех сторо́н обступи́вшему флигелёк свое́й паху́чей, со́чной глу́шью. Ах, как

было хорошо на вольном воздухе, под ясным нёбом, где трепетали жаворонки, откуда сыпался серебряный бисер их звонких голосов. На крыльях своих они, наверно, унесли капли росы, и песни их казались орошёнными росой. Я даже шляпу снял с головы и дышал радостно—всею грудью... На склоне неглубокого оврага, возле самого плетня, виднелась пасека; узенькая тропинка вела к ней, извиваясь змейкой между сплошными стенами бурьяна и крапивы, над которыми высились, Бог ведает откуда занесённые, остроконечные стебли тёмно-зелёной конопли.

Я отправился по этой тропинке; дошёл до пасеки. Рядом с нею стоял плетёный сарайчик, так называемый омшанник, куда ставят улья на зиму. Я заглянул в полуоткрытую дверь: темно, тихо, сухо; пахнет мятой, мелиссой. В углу приспособлены подмостки, и на них, покрытая одеялом, какая-то маленькая фигура... Я пошёл было прочь...

— Барин, а барин! Пётр Петрович!—послышался мне голос, слабый, медленный и сиплый, как шелест болотной осоки.

Я остановился.

— Пётр Петрович! Подойдите, пожалуйста!—повторял голос. Он доносился до меня из угла, с тех замеченных мною подмостков.

Я приблизился и остолбенел от удивления. Передо мной лежало живое человеческое существо; но что это было такое!

Голова совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая,—ни дать, ни взять, икона старинного письма; нос узкий, как лезвие ножа; губ почти не видать,—только зубы белеют и глаза, да из-под платка выбиваются на лоб жидкие пряди жёлтых волос. У подбородка, на складке одеяла, движутся, медленно передвигая пальцами, как палочками, две крошечных руки тоже бронзового цвета. Я вглядываюсь попристальней: лицо не только не безобразное, но

да́же краси́вое,—но́ стра́шное, необыча́йное. И тем страшне́е мне ка́жется э́то лицо́, что по нём, по металли́ческим щека́м, я ви́жу—си́лится... и не мо́жет расплы́ться улы́бка.

— Вы меня́ не узнаёте, ба́рин!—прошепта́л опя́ть го́лос; он сло́вно испаря́лся из едва́ шевели́вшихся губ...— Да и где узна́ть. Я—Луке́рья... По́мните, что хорово́ды у ма́тушки у ва́шей, в Спа́сском, води́ла... По́мните, я ещё запева́лой была́.

— Луке́рья!—воскли́кнул я.—Ты́ ли э́то? Возмо́жно ли?

— Я, да, ба́рин,—я. Я—Луке́рья.

Я не знал, что сказа́ть, и как ошеломлённый гляде́л на э́то тёмное, неподви́жное лицо́, с устремлёнными на меня́ све́тлыми и мёртвыми глаза́ми. Возмо́жно ли? Эта му́мия—Луке́рья, пе́рвая краса́вица во всей на́шей дво́рне,—высо́кая, по́лная, бе́лая, румя́ная,—хохоту́нья, плясу́нья, певу́нья. Луке́рья, у́мница Луке́рья, за кото́рою уха́живали все на́ши молоды́е па́рни, по кото́рой я сам вта́йне вздыха́л, я, шестнадцатилётний ма́льчик.

— Поми́луй, Луке́рья,—проговори́л я наконе́ц,—что с тобо́й случи́лось?

— А беда́ така́я стрясла́сь. Да вы́ не побре́згуйте ба́рин, не погнуша́йтесь несча́стьем мои́м,—ся́дьте вот на каду́шечку—побли́же, а то́ вам меня́ не слы́шно бу́дет... вишь, я кака́я голоси́стая ста́ла... Ну́, уж и ра́да же я, что увида́ла вас. Как э́то вы в Алексе́евку попа́ли?

Луке́рья говори́ла о́чень ти́хо и сла́бо, но без остано́вки.

— Меня́ Ермола́й охо́тник сюда́ завёз. Но расскажи́ же ты мне...

— Про беду́-то мою́ рассказа́ть? Изво́льте, ба́рин. Случи́лось э́то со мно́й уже́ давно́, ле́т шесть и́ли се́мь. Меня́ тогда́ то́лько что помо́лвили за Васи́лья Поляко́ва,—по́мните, тако́й из себя́ ста́тный бы́л, кудря́вый,—еще буфе́тчиком у ма́тушки у ва́шей служи́л. Да ва́с тогда́ уже́ в дере́вне не́ было: в Москву́ уе́хали учи́ться. О́чень мы́ с Васи́лием

слюбились; из головы он у меня не выходил; а дело было весной. Вот раз ночью... уж и до зари недалеко... а мне не спится: соловей в саду таково удивительно поёт сладко... Не вытерпела я, встала и вышла на крыльцо его послушать. Заливается он, заливается... и вдруг мне почудилось: зовёт меня кто-то Васиным голосом, тихо так: Луша. Я глядь в сторону, да, знать, спросонья—оступилась, так прямо с рундучка и полетела внпз—да о землю хлоп. И, кажись, не сильно я расшиблась, потому—скоро поднялась и к себе в комнату вернулась. Только словно у меня что внутри—в утробе—порвалось.... Дайте дух перевести... с минуточку... барин.

Лукерья умолкла, а я с изумлением глядел на неё... Изумляло меня собственно то, что она рассказ свой вела почти весело, без охов и вздохов, нисколько не жалуясь и не напрашиваясь на участие.

— С самого того случая,—продолжала Лукерья,—стала я сохнуть, чахнуть; чернота на меня нашла; трудно мне стало ходить, а там уже—полно и ногами владеть; ни стоять, ни сидеть не могу: всё бы лежала. И ни пить, ни есть не хочется: всё хуже да хуже. Матушка ваша, по доброте своей, и лекарям меня показывала, и в больницу посылала. Однако облегченья мне никакого не вышло. И ни один лекарь даже сказать не мог, что за болезнь у меня за такая. Чего они со мной только ни делали: железом раскалённым спину жгли, в колотый лёд сажали,—всё ничего. Совсем я окостенела под конец... Вот и порешили господа, что лечить меня больше нечего, а в барском доме держать калек неспособно... ну, и переслали меня сюда,—потому тут у меня родственники есть. Вот я и живу, как видите.

Лукерья опять умолкла и опять силилась улыбнуться.

— Это, однакоже, ужасно твоё положение!—воскликнул я. И, не зная, что прибавить, спросил:—А что же Поляков Василий?

О́чень глуп был э́тот вопро́с.

Луке́рья отвела́ глаза́ немно́го в сто́рону.

— Что Поляко́в. Потужи́л, потужи́л—да и жени́лся на друго́й, на де́вушке из Гли́няного. Зна́ете Гли́няное? От нас недалёче. Аграфе́ной её зва́ли. Очень он меня́ люби́л,—да ведь челове́к молодо́й—не astaváться же ему́ холосты́м. И кака́я уж я ему́ могла́ быть подру́га? А жену́ он себе́ нашёл хоро́шую, до́брую,—и де́тки у них е́сть. Он тут, у сосе́да, в прика́зчиках живёт: ма́тушка ва́ша по па́чпорту его́ отпусти́ла, и о́чень ему́, сла́ва Бо́гу, хорошо́.

— И та́к ты все лежи́шь да лежи́шь?—спроси́л я опя́ть.

— Во́т та́к и лежу́, ба́рин, седьмо́й годо́к. Ле́том-то я зде́сь лежу́, в э́той теплу́шке, а как хо́лодно ста́нет, меня́ в предба́нник перенесу́т. Там лежу́.

— Кто́ же за тобо́й хо́дит? Присма́тривает кто?

— А до́брые лю́ди зде́сь есть то́же. Меня́ не оставля́ют. Да и ходьбы́ за мно́й немно́го. Есть-то, почита́й-что́, не е́м ничего́, а вода́—вот она́, в кру́жке-то: всегда́ стои́т принесённая, чи́стая, ключева́я вода́. До кру́жки-то я сама́ дотяну́ться могу́: одна́ рука́ у меня́ ещё де́йствовать мо́жет. Ну, де́вочка тут е́сть, сиро́тка; нет, нет—да и наве́дается, спаси́бо е́й. Сейча́с тут была́... Вы её не встре́тили? Хоро́шенькая така́я, бе́ленькая. Она́ цветы́ мне но́сит; больша́я я до́ них охо́тница, до цвето́в-то. Садо́вых у нас нет,—были,—да перевели́сь. Но ведь полевы́е цветы́ хороши́; па́хнут ещё лу́чше садо́вых. Вот хо́ть бы ла́ндыш... на что прия́тнее.

— И не ску́чно, не жу́тко тебе́, моя́ бе́дная Луке́рья?

— А что́ бу́дешь де́лать. Лга́ть не хочу́,—сперва́ о́чень то́мно было, а пото́м привы́кла, обтерпе́лась,—ничего́; ины́м ещё ху́же быва́ет.

— Это каки́м же о́бразом?

— А у ино́го и приста́нища не́т. А ино́й—слепо́й и́ли глухо́й. А я́, сла́ва Бо́гу, ви́жу прекра́сно и всё слы́шу, всё.

Крот под землёй ро́ется,—я и то́ слы́шу. И за́пах я вся́кий чу́вствовать могу́, са́мый како́й ни на е́сть сла́бый. Греч́иха в по́ле зацветёт и́ли ли́па в саду́, — мне и ска́зывать не на́до: я пе́рвая сейча́с слы́шу. Лишь бы ветерко́м отту́да потяну́ло. Нет, что бо́га гневи́ть,—мно́гим ху́же моего́ быва́ет. Хоть бы то взять: ино́й здоро́вый челове́к о́чень легко̀ согреши́ть мо́жет, а от меня́ сам грех отошёл. Наме́днись оте́ц Алексе́й, свяще́нник, стал меня́ причаща́ть, да и говори́т: тебя́, мол, испове́дывать не́чего: ра́зве ты в твоём состоя́нии согреши́ть мо́жешь?—Но я ему́ отве́тила: а мы́сленный грех, ба́тюшка?—Ну́, говори́т, а сам смеётся,—э́то грех не вели́кий. Да я, должно́ быть, и э́тим са́мым, мы́сленным грехо́м, не бо́льно грешна́,—продолжа́ла Луке́рья,— потому́, я так себя́ приучи́ла: не ду́мать, а пу́ще того́ не вспомина́ть. Вре́мя скоре́е прохо́дит.

Я, признаю́сь, удиви́лся.

— Ты всегда́ одна́ да одна́, Луке́рья: как же ты мо́жешь помеша́ть, что́бы мы́сли тебе́ в го́лову не шли́? и́ли ты всё спишь?

— Ой, нет, ба́рин! Спа́ть-то я не всегда́ могу́. Хоть и больши́х бо́лей у меня́ нет, а но́ет у меня́ там, в са́мом нутре́, и в костя́х то́же; не даёт спать, как сле́дует. Нет... а так, лежу́ я себе́, лежу́-полёживаю и не ду́маю; чу́ю, что жива́, дышу́, — и вся я тут. Смотрю́, слу́шаю. Пчёлы на па́секе жужжа́т да гудя́т; го́лубь на кры́шу ся́дет да заворку́ет; ку́рочка-насе́дочка зайдёт с цыпля́тами кро́шек поклева́ть; а то воробе́й залети́т и́ли ба́бочка,—мне о́чень прия́тно. В позапро́шлом году́ так да́же ла́сточки вон там, в углу́, гнездо́ себе́ сви́ли и дете́й вы́вели. Уж как же оно́ бы́ло заня́тно.—Одна́ влети́т к гнёздышку, припадёт, де́ток нако́рмит—и во́н. Гляди́шь—уж на сме́ну друга́я. Иногда́ не влети́т, то́лько ми́мо раскры́той две́ри пронесётся, а де́тки то́тчас—ну́ пища́ть, да клю́вы разева́ть... Я их на сле́дующий год поджида́ла, да их, говоря́т, оди́н зде́шний охо́тник

из ружья́ застрели́л. И на что покоры́стился? Вся́-то она́, ла́сточка, не бо́льше жука́... Каки́е вы, господа́ охо́тники, злы́е.

— Я ла́сточек не стреля́ю,—поспеши́л я заме́тить.

— А то раз,—начала́ опя́ть Луке́рья,—вот смеху́-то бы́ло. За́яц забежа́л, пра́во. Соба́ки, что́ ли, за ним гнали́сь,—то́лько он пря́мо в две́рь как прикати́т... Сел близёхонько—и до́лго-таки смотре́л,—всё но́сом води́л и уса́ми дёргал—настоя́щий офице́р. И на меня́ смотре́л. По́нял, зна́чит, что я ему́ не страшна́. Наконе́ц встал, пры́г-пры́г к две́ри, на поро́ге огляну́лся—да и был тако́в! Смешно́й тако́й.

Луке́рья взгляну́ла на меня́... а́ль, мо́л, не заба́вно? Я, в уго́ду ей, посмея́лся. Она́ покуса́ла пересо́хшие гу́бы.

— Ну, зимо́й, коне́чно, мне ху́же: потому́—темно́; све́чку заже́чь жа́лко, да и к чему́? Я хоть гра́моте зна́ю и чита́ть завсегда́ охо́та была́, но что чита́ть? Книг здесь нет никаки́х, да хоть бы и бы́ли, как я бу́ду держа́ть её, кни́гу-то? Оте́ц Алексе́й мне, для рассе́янности, принёс календа́рь, да ви́дит, что по́льзы нет, взял да унёс опя́ть. Одна́ко, хоть и темно́, а всё слу́шать есть что: сверчо́к затрещи́т, а́ли мышь где скрести́сь ста́нет. Вот ту́т-то хорошо́! не ду́мать!

— А то́ я моли́твы чита́ю,—продолжа́ла, отдохну́в немно́го, Луке́рья.—То́лько не мно́го я зна́ю их, э́тих са́мых моли́тв. Да и на что я ста́ну го́споду бо́гу наскуча́ть? О чём я его́ проси́ть могу́? Он лу́чше меня́ зна́ет, чего́ мне на́добно. Посла́л он мне кре́ст,—зна́чит, меня́ Он лю́бит. Так нам ве́лено э́то понима́ть. Прочту́ „Отче наш“, „Богоро́дицу“, aка́фист „Всем скорбя́щим“—да опя́ть полёживаю себе́ без вся́кой ду́мочки. И ничего́.

Прошло́ мину́ты две. Я не нару́шил молча́нья и не шевели́лся на у́зенькой каду́шке, служи́вшей мне сиде́ньем. Жесто́кая ка́менная неподви́жность лежа́вшего пе́редо мно́ю живо́го, несча́стного существа́ сообщи́лась и мне: я то́же оцепене́л.

— Послу́шай, Луке́рья,—на́чал я наконе́ц.—Послу́шай, како́е я тебе́ предложе́ние сде́лаю. Хо́чешь, я распоряжу́сь: тебя́ в больни́цу перевезу́т, в хоро́шую, городску́ю больни́цу. Кто зна́ет, быть мо́жет, тебя́ ещё вы́лечат. Во вся́ком слу́чае, ты одна́ не бу́дешь...

Лу́ке́рья чуть-чуть дви́нула бровя́ми.

— Ох, нет, ба́рин,—промо́лвила она́ озабо́ченным шёпотом:—не переводи́те меня́ в больни́цу, не тро́гайте меня́. Я там то́лько бо́льше му́ки приму́. Уж куда́ меня́ лечи́ть!.. Вот как-то раз до́ктор сюда́ приезжа́л; осма́тривать меня́ захоте́л. Я его́ прошу́: не трево́жьте вы меня́, Христа́-ра́ди. Куда́, перевора́чивать меня́ стал, ру́ки, но́ги размина́л, разгина́л; говори́т: э́то я для учёности де́лаю: на то я слу́жащий челове́к, учёный. Потормоши́л, потормоши́л меня́, назвал мне мою́ боле́знь—мудрено́ таково́—да с тем и уе́хал. А у меня́ пото́м це́лую неде́лю ко́сточки ны́ли. Вы говори́те: я одна́ быва́ю, всегда́ одна́. Нет, не всегда́. Ко мне хо́дят. Я сми́рная, не меша́ю. Де́вушки крестья́нские зайду́т, погуто́рят, стра́нница забредёт, ста́нет про Иерусали́м расска́зывать, про Ки́ев, про святы́е города́. Да и мне не стра́шно одно́й быть. Да́же лу́чше, ей-ей... Ба́рин, не тро́гайте меня, не вози́те в больни́цу... Спаси́бо вам, вы до́брый, то́лько не тро́гайте меня́, голу́бчик.

— Ну, как хо́чешь, как хо́чешь, Луке́рья. Я, ве́дь, для твое́й же по́льзы полага́л...

— Зна́ю, ба́рин, что для мое́й по́льзы. Да, ба́рин, ми́лый,—кто друго́му помо́чь мо́жет? Кто ему́ в ду́шу войдёт? Сам себе́ челове́к помога́й. Вы вот не пове́рите,—а лежу́ я иногда́ так-то одна́... и сло́вно никого́ в це́лом све́те, кро́ме меня́, не́ту. То́лько одна́ я—жива́я. И чу́дится мне, бу́дто что меня́ осени́т... Возьмёт меня́ размышле́ние—да́же удиви́тельно.

О чём же ты тогда́ размышля́ешь, Луке́рья?

— Этого, ба́рин, то́же ника́к нельзя́ сказа́ть: не растолку́ешь. Да и забыва́ется пото́м. Придёт, сло́вно как ту́чка,

прольётся, свежо́ так, хорошо́ ста́нет, а что тако́е было— не поймёшь. То́лько ду́мается мне: будь о́коло меня́ лю́ди, ничего́ бы э́того не́ было, и ничего́ бы я не чу́вствовала, окромя́ своего́ несча́стья.

Луке́рья вздохну́ла с трудо́м. Грудь ей не повинова́лась та́к же, как и остальны́е чле́ны.

— Как погляжу́ я, ба́рин, на вас,—начала́ она́ сно́ва:— о́чень вам меня́ жа́лко. А вы меня не сли́шком жале́йте. Вы, ведь, по́мните, кака́я я была́ в своё вре́мя весёлая. Бо́й-де́вка!.. так зна́ете что́? Я и тепе́рь пе́сни пою́.

— Пе́сни... Ты?

— Да, пе́сни, ста́рые пе́сни, хорово́дные, подблю́дные, свя́точные, вся́кие. Мно́го я их, ведь, зна́ла и не забы́ла. То́лько вот плясовы́х не пою́. В тепе́решнем моём зва́нии — оно́ не годи́тся.

— Как же ты поёшь их... про себя́?

— И про себя́, и го́лосом. Гро́мко-то не могу́, а всё поня́ть мо́жно. Сиро́тка, зна́чит, поня́тливая. Так вот я её вы́учила; четы́ре пе́сни она́ уже́ у меня́ переняла́. Аль не ве́рите? Посто́йте, я вам сейча́с...

Луке́рья собрала́сь с ду́хом... Мысль, что э́то полу-мёртвое существо́ гото́вится петь, возбуди́ла во мне нево́льный у́жас. Но пре́жде чем я мог промо́лвить сло́во,—в уша́х мои́х задрожа́л протя́жный, едва́ слы́шный, но чи́стый и и ве́рный звук... а за ним после́довал друго́й, тре́тий. Она́ пе́ла, не измени́в выраже́ния своего́ окамене́лого лица́, уста́вив да́же глаза́. Но так тро́гательно звене́л э́тот бе́дный, уси́ленный, как стру́йка ды́ма, колеба́вшийся голосо́к, так хоте́лось ей всю ду́шу вы́лить... Уже́ не у́жас чу́вствовал я: жа́лость несказа́нная сти́снула мне се́рдце.

— Ох, не могу́! — проговори́ла она́ вдруг, — си́лушки не хвата́ет... О́чень уж я вам обра́довалась.

Она́ закры́ла глаза́.

Я положи́л ру́ку на её кро́шечные, холо́дные па́льчики...

Она́ взгляну́ла на меня,—и её тёмные ве́ки, опушённые золоти́стыми ресни́цами, как у дре́вних ста́туй, закры́лись сно́ва. Спустя́ мгнове́ние, они́ заблиста́ли в полутьме́... Слеза́ их смочи́ла.

Я не шевели́лся попре́жнему.

— Э́кая я!—проговори́ла вдруг Луке́рья с неожи́данной си́лой и, раскры́в широко́ глаза́, постара́лась смигну́ть с них слезу́.—Не сты́дно ли? Чего́ я? Давно́ э́того со мной не случа́лось... с са́мого того́ дня, как Поляко́в Ва́ся у меня́ был, про́шлой весно́й. Пока́ он со мной сиде́л да разгова́ривал—ну, ничего́, а как ушёл он, попла́кала я всё-таки водино́чку; отку́да брало́сь... Да, ведь, у на́шей сестры́ слёзы не ку́пленные. Ба́рин,—приба́вила Лукѐрья,—чай у вас плато́чек есть... Не побре́згуйте, утри́те мне глаза́.

Я поспеши́л испо́лнить её жела́ние—и плато́к ей оста́вил. Она́ сперва́ отка́зывалась... На что, мол, мне тако́й пода́рок. Плато́к был о́чень просто́й, но чи́стый и бе́лый. Пото́м она́ схвати́ла его́ свои́ми сла́быми па́льцами и уже́ не разжа́ла их бо́лее. Привы́кнув к темноте́, в кото́рой мы о́ба находи́лись, я мог я́сно различа́ть её черты́, мог да́же заме́тить то́нкий румя́нец, проступи́вший сквозь бро́нзу её лица́, мог откры́ть в э́том лице́,—так, по кра́йней ме́ре, мне каза́лось,—следы́ её было́й красоты́.

— Вот вы, ба́рин, спра́шивали меня́,—заговори́ла опя́ть Луке́рья:—сплю ли я? Сплю я, то́чно, ре́дко, но вся́кий раз сны ви́жу,—хоро́шие сны́. Никогда́ я больно́й себя́ не ви́жу: така́я я всегда́ во сне весёлая да молода́я... Одно́ го́ре: просну́сь я, потяну́ться хочу́ хороше́нько,—а́н, я вся, как ско́ваная. Раз мне како́й чу́дный сон присни́лся. Хоти́те, расскажу́ вам.—Ну, слу́шайте.—Ви́жу я, бу́дто сижу́ я э́так на большо́й доро́ге под раки́той, па́лочку держу́ остру́ганную, кото́мка за плеча́ми, и голова́ платко́м оку́тана,—как есть стра́нница. И итти́ мне куда́-то далеко́-далеко́, на богомо́лье. И прохо́дят ми́мо меня́ всё стра́нники; и́дут они́ ти́хо,

сло́вно не́хотя, всё в одну́ сто́рону; ли́ца у всех уны́лые, и друг на дру́жку все́ о́чень похо́жи. И ви́жу я: вьётся, ме́чется между́ ни́ми одна́ же́нщина, це́лой голово́й вы́ше други́х, и пла́тье на не́й осо́бенное, сло́вно не на́ше, не ру́сское. И лицо́ то́же осо́бенное, по́стное лицо́, стро́гое. И бу́дто все други́е от неё сторо́нятся; а она́ вдруг вертьда пря́мо ко мне. Остано́вилась и смо́трит; а глаза́ у ней, как у со́кола, же́лтые, больши́е и све́тлые-пресве́тлые. И спра́шиваю я её: кто ты?—А она́ мне говори́т: „Я—смерть твоя“. Мне что́бы испуга́ться, а я́ напро́тив—ра́да-радёхонька, крещу́сь. И говори́т мне та́ же́нщина, сме́рть моя́: „Жаль мне тебя́, Луке́рья,—но взять тебя́ с собо́й не могу́. Проща́й!“. Го́споди, как мне гру́стно ста́ло... „Возьми́ меня́’ говорю́, ма́тушка, голу́бушка, возьми́!“.—И смерть моя́ оберну́лась ко мне, ста́ла мне выгова́ривать... Понима́ю я, что назнача́ет она́ мне мой час, да непоня́тно так, нея́вственно... По́сле, мол, Петро́вок... С э́тим я просну́лась... Таки́е-то у меня́ быва́ют сны́ удиви́тельные.

Луке́рья подняла́ глаза́ квёрху... заду́малась...

— А то́ ещё я ви́дела сон,—начала́ она́ сно́ва:—а быть-мо́жет, э́то бы́ло мне виде́ние,—я уж и не зна́ю. Почу́дилось мне, бу́дто я в са́мой э́той плету́шке лежу́, и прихо́дят ко мне мои́ поко́йные роди́тели—ба́тюшка да ма́тушка—и кла́няются мне ни́зко, а са́ми ничего́ не говоря́т. И спра́шиваю я их: заче́м вы, ба́тюшка и ма́тушка, мне кла́няетесь? А зате́м, говоря́т, что так как ты на сем све́те мно́го му́чишься, то не одну́ ты свою́ ду́шеньку облегчи́ла, но и с нас большу́ю тя́гу сняла́. И нам на том све́те ста́ло мно́го спосо́бнее. Со свои́ми греха́ми ты уже́ поко́нчила, тепе́рь на́ши грехи́ побежда́ешь. И, сказа́вши э́то, роди́тели мне опя́ть поклони́лись,—и не ста́ло их ви́дно; одни́ сте́ны ви́дны. Очень я пото́м сомнева́лась, что э́то тако́е со мно́ю бы́ло. Да́же ба́тюшке на духу́ рассказа́ла. То́лько он так полага́ет, что э́то бы́ло не виде́ние, потому́ что виде́ния быва́ют одному́ духо́вному чи́ну.

— То́лько в том беда́ моя́: случа́ется, це́лая неде́ля пройдёт, а и не засну́ ни ра́зу. В про́шлом году́ ба́рыня одна́ приезжа́ла, уви́дела меня́ да и дала́ мне стекля́ночку с лека́рством про́тив бессо́нницы; по десяти́ ка́пель приказа́ла принима́ть. Очень мне помога́ло, и я спала́; только тепе́рь давно́ та стекля́ночка вы́пита... Не зна́ете ли, что́ э́то бы́ло за лека́рство, и как его́ получи́ть?

Прие́зжая ба́рыня, очеви́дно, дала́ Луке́рье о́пиума. Я обеща́лся доста́вить е́й таку́ю стекля́ночку, и опя́ть-таки не мог не подиви́ться вслух её терпе́нию.

Эх, ба́рин!—возрази́ла она́.—Что́ вы э́то? Како́е тако́е терпе́ние. Во́т Симео́на Сто́лпника[1]) терпе́ние бы́ло, то́чно, вели́кое: три́дцать лет на столбу́ простоя́л! А друго́й уго́дник себя́ в зе́млю зары́ть веле́л по са́мую грудь, и муравьи́ ему́ лицо́ ели...

Помолча́в немно́го, я спроси́л Луке́рью, ско́лько ей лет?

— Два́дцать во́семь... и́ли де́вять... Тридцати́ не бу́дет. Да что их счита́ть, года́-то? Я вам ещё вот что доложу́...

Луке́рья вдруг как-то глу́хо ка́шлянула, о́хнула...

— Ты мно́го говори́шь,—заме́тил я ей:—э́то мо́жет тебе́ повреди́ть.

— Пра́вда,—прошепта́ла она́ едва́ слы́шно:—разгово́рке на́шей коне́ц; да куда́ ни шло́. Тепе́рь как вы уе́дете, намолчу́сь я вво́лю. По кра́йности ду́шу отвела́...

Я стал проща́ться с не́ю, повтори́л ей моё обеща́ние присла́ть ей лека́рство, попроси́л её ещё раз хороше́нько поду́мать и сказа́ть мне, не ну́жно ли ей чего́.

— Ничего́ мне не ну́жно; всем дово́льна, сла́ва бо́гу,— с велича́йшим уси́лием, но умилённо произнесла́ она́.—Дай бог всем здоро́вья! А вот вам бы, ба́рин, ма́тушку ва́шу уговори́ть,—крестья́не здешни́е бе́дные,—хоть бы ма́лость обро́ку с них она́ сба́вила. Земли́ у них недоста́точно, уго́-

[1]) Симео́н Сто́лпник—назва́ние свято́го.

дий нет... Они́ бы за вас Бо́гу помоли́лись... А мне ничего́ не ну́жно, всем дово́льна.

Я дал Луке́рье сло́во испо́лнить её про́сьбу....

И. С. Турге́нев.

Живы́е мо́щи—ئارقلار

Ли́вень=си́льный дождь

Пока́ закла́дывали тарата́йку—حەزرگە ئاربا جيكدۇلەر

Одича́лый сад—قارالماعان باقچا

Флигелёк—ئيشك ئالدنداعى كچكنە يۇرت

Трепета́ли жа́воронки — فانانلارن قالترانب تۇرعان تورعايلار

Па́сека—(جوننك) ئومارتالق

Бурья́н—چوب ئولەنلەرى

Конопли́—كيندر سوسى (ئوسملك) كيندر

Омша́ник—ئومارتا ئۇيى

Мя́та—بتنك

Мели́сса=паху́чая трава́

Си́плый го́лос—(عرلداعان) قارلعان تاوش

Осо́ка—قيياق ئولەنى

Подмо́стки—سەكى

Остолбене́л от удивле́ния=عەجەبدەن شاق قاندى

Лезвиё ножа́—پچاق يۇزى

Выбива́ются на лоб жи́дкие пря́ди жёлтых воло́с—ئاكلايدا سيرەك سارى چەچلەرنى تۇتام - تۇتام قالدىرالار

Вгля́дываюсь попри́стальней = смотрю́ внима́тельнее.

Си́лится.. и не мо́жет расплы́ться улы́бка—كۇلەرگە تلەسەدە كۇلە ئالمى

Го́лос сло́вно испаря́лся—تاوش سو پارعا ئەيلەنگەن شيكللى يوعالا

Хорово́ды—(جرلاب بييب ئويناۋ) ئەيلەن بەيلەن ئوينلارى

Запева́ла—باشلاب جرلاوچى

Как ошеломлённый глядéл—هوشى كيتكەن شيكللى قارادى

Му́мия—چرتمى ساقلانعان مەيت

Дво́рня—يۇرتدا حزمەت ئيتوچىلەرنىڭ بارچاسى

Хохоту́нья—قز حاتۇن كۇلوچەن قچقىرب

Певу́нья—قز حاتۇن جرلاوچى كوپ

Пля́су́нья—قز حاتۇن تۇرعان بيبى

Бедá стряслáсь—(ئۇچۇرادى) بەلەتورى كيلدى

Намéднись=недáвно.

Стал меня́ причащáть — стал давáть церкóвный хлеб и вино.

Исповéдывать=спрáшивать грехи́; рассказывать грехи́.

Грех мы́сленный=грех в мы́слях, в умé.

Боль=болéзнь— ئاورو

Но́ет=سزلى

Чу́ю=чу́вствую.

В позапро́шлом году́=год тому́ назáд.

Бы́ло заня́тно=бы́ло интерéсно.

Ми́мо пронесётся=ми́мо пролети́т.

И на что покоры́стился=زەرسەگەنە قۇمسزلاندى

Как прикати́т=бы́стро прибежáл

Да и был такóв=да и убежал опя́ть.

Аль, мол, не забáвно=и́ли, скáжешь, не вéсело.

В угóду ей=для удовóльствия ей.

Для рассéянности=от ску́ки.

Сверчóк=چيكرتكە

Мышь скрести́сь стáнет—تچقان شقرداتا باشلادى

Послáл он (бог) мне крест=наказáл бог меня́.

Акáфист „Всем скорбя́щим“... „О́тче наш“... „Богоро́дица“—назвáния моли́тв.

Разгина́л—разгиба́л.

Потормоши́л меня́—(يۇلۇقالادى) تارتقالادى مينى

Мудрено́ таково́—непоня́тно так.

Погуто́рят=поговоря́т.

Я, ведь, для твое́й же по́льзы полага́л—я, ведь, для твое́й же по́льзы хоте́л.

И чу́дится мне, бу́дто что меня́ осени́т=
میکا سیزلە نەرسەدر مینی مۆبارەکلی

Бой-де́вка=бо́йкая де́вка

Собрала́сь с ду́хом=отдохну́ла.

Ста́туя—هدیکەل

Сплю я, то́чно, ре́дко=сплю я, действи́тельно, ре́дко.

А она́ друг верть=а она вдруг обороти́лась, оберну́лась; подошла́.

Мне чтоб испуга́ться=вместо того́, что́бы мне испуга́ться; мне на́до бы испуга́ться.

Назна́чила она́ мне мой час=назна́чила она́ день мое́й сме́рти.

По́сле Петро́вок=по́сле 29 ию́ня ста́рого сти́ля.

С нас большу́ю тяготу́ сняла́—нас изба́вила от грехо́в.

На духу́=на и́споведи; когда расска́зывала грехи́.

Ста́ло спосо́бнее=ста́ло лу́чше.

О́пиум=си́льно де́йствующее успокои́тельное лека́рство.

Очеви́дно=вероя́тно; наве́рно; ви́дно.

Уго́дник=святой.

Ду́шеньку отвела́—доста́вила себе́ удово́льствие.

Уго́дий нет=нет ле́са, луго́в, па́стбищ.

Не побре́згуйте, ба́рин, не погнуша́йтесь несча́стьем мои́м—چیركەنمەگز ئەفەندى، جیرەنمەگز مینم بەلامدان

Вишь=ви́дишь

Ста́тный—گه‌وده‌لی، زیفا بویلی‌سنلی

Залива́ется он (соловей)=поёт он (соловей).

Мне почу́дилось—میکا سیزلدی

Я глядь в сто́рону=я погляде́ла в сто́рону.

Да, знать=да, ви́дно; да, вероя́тно;

Оступи́лась—سۇرتۇنب یعلا یازدی ئایاعی تایب کیتدی

Рунду́к—ساتوچی‌لاری

Сло́вно=как бу́дто.

В утро́бе—قارن ئچنده

Да́йте дух перевести́—یال ئیته‌رگه بیرگز

Не напра́шиваясь на уча́стие—قزعانونی ئوتنمه‌گز

Ста́ла я... ча́хнуть—مین کیبدم (یابقدم)

Чернота́ на меня́ нашла́—ارالق مینی قابلادی (جابرلدی)

По́лно и нога́ми владе́ть=не стала и ходи́ть, нога́ми де́йствовать.

В ба́рском до́ме кале́к держа́ть неспосо́бно—
بایلار یۇرتندا عه‌ریب کشنی تۇتۇ فایداسز

Предба́нник—مونچا ئالدی

Почита́й что=почти́ что

Де́вочка.... нет, нет—да и наве́дается=де́вочка иногда́, (ко́е-когда́, и́зредка) придёт.

Больша́я я до них охо́тница—о́чень я их люблю́; люби́тельница.

Ла́ндыш—ئنجی چچه‌گی (لاندش)

Не жу́тко тебе́=не стра́шно тебе́.

Лгать не хочу́=непра́вды говори́ть не хочу́.

Приста́нища нет=дома нет; не́где жить.

Да куда́ ни шло=ну, всё равно́

Миха́лыч.

Мне тогда́ было всего́ лет во́семь о́т роду. Я гости́л у де́душки в Калу́ге. Де́душка мой был чино́вник; у него́ был сын Ми́тя, мой дя́дя, ста́рше меня́ двумя́ года́ми,—мы всё с ним вме́сте игра́ли.

Де́душка был о́чень стро́г, и когда́ он отдыха́л по́сле обе́да, то мы с Ми́тей ходи́ли на цы́почках ми́мо его́ ко́мнаты и о́чень его́ боя́лись Иногда́ он развесели́тся, шу́тит с на́ми, гла́дит по голове́. Когда́ он гла́дит, то всё ду́маешь: „ну́-ка, гла́дит-гла́дит, да вдруг за́ волосы!"—и не зна́ешь, как бы он скоре́е переста́л гла́дить.

К нам ма́ло ходи́ло знако́мых — де́душка не люби́л. Ча́сто быва́л како́й-то помо́щник, то́лстый тако́й,—всегда́ у него́ во́лосы взъеро́шены и го́лос хри́плый. Приде́т, ска́жет сло́во и че́шет в заты́лке. Зва́ли его́ Фе́дор Семе́нович. С де́душкой они́ то́лько и де́лали, что игра́ли в ша́шки,— Ну́-ка,—говори́т Фе́дор Семе́нович де́душке:—не ду́мавши?— Что-ж тако́е! ну и не ду́мавши сыгра́ю, э́ка ва́жность!— отвеча́ет де́душка. А то они́ игра́ли еще́ в подда́чку.

Раз де́душка был имени́нник. Пришел Фе́дор Семе́нович поздра́вить с а́нгелом. Вот вхо́дит он в ко́мнату, а за ним кто́-то друго́й; я посмотре́л, ви́жу—старичо́к,—боро́дка се́денькая, подстри́жена, наде́т на нем си́ний дли́нный сюрту́к, ста́рый-преста́рый. Вошел он в ко́мнату и стал у две́ри, а сам всё па́льцами пе́тли у сюртука́ перебира́ет,—снача́ла всё све́рху вниз перебира́ет, а пото́м сни́зу вверх.

Я гляжу́—кто тако́й? А Фе́дор Семе́нович де́душке говори́т:—Вот я тебе́ привел го́стя—не возьме́шь ли из хле́ба к себе́? Я его́ сперва́ держа́л сам, а тепе́рь он мне надое́л. А стари́к кла́няется.—Что-ж, пожа́луй,—говори́т де́душка:—то́лько опаса́юсь я, ну́-ка он пья́нствовать начне́т, — бу́йствовать, наприме́р?—Нет, бу́йствовать он не бу́дет,—он не пье́т; а вот на скри́пке он игра́ет, так ка́к

бы э́то не обеспоко́ило. Де́душка говори́т:—Нет, э́то меня́ не обеспоко́ит—я му́зыку люблю́... Скри́пка... ничего́.

Так де́душка и взял Миха́лыча (старичка́ Миха́лычем зва́ли). Как на́чал у нас Миха́лыч жить, нам ста́ло гора́здо веселе́е. Он нам игра́ет на скри́пке, поёт, нас петь у́чит.—Ну-ка, Миха́лыч, сыгра́й „Спи́рю"!—попро́сим его́. Он говори́т:—Отчего́ же,—и начнёт игра́ть да подпева́ть:

„Спи́ря по́ воду ходи́ла...
Спи́ря го́лову сломи́ла..."

Ещё у него́ была́ люби́мая пе́сня: „Ах, ты, ве́рная, мане́рная суда́рушка моя́..." А то когда́ попро́сит у де́душки кни́гу каку́ю, сиди́т, чита́ет.

Зимо́й мы с Ми́тей люби́ли ката́ться на ледя́нках. Вот, быва́ло, во́зимся на дворе́—ледя́нку стро́им. Идёт Миха́лыч... подойдёт, посмо́трит.—Э-э-эх, вы, малыши́, малыши́! Ра́зве та́к-то ледя́нки де́лают? Кто-же без наво́зу одну́ до́ску моро́зит? (А мы с Ми́тей не уме́ли де́лать ледя́нок—быва́ло, то́лько всё водо́й полива́ем до́ску;—ду́маем, так де́лается). — Уж, ви́дно, сде́лать мне вам, — говори́т он. И сде́лает. Ледя́нки пе́рвый сорт выходи́ли. Быва́ло, куда́ с доро́ги занесёт, в како́й сугро́б, чут не на забо́р, а никогда́ не опроки́нется.

Ле́том он змей нам кле́ивал. Заберёмся, быва́ло, в ба́ню—одни́ себе́.—Там в го́рнице,—говори́т Миха́лыч:—неравно́ де́душка уви́дит, ска́жет: и ты туда́ же за э́той мелюзго́й; тебе́, ска́жет, псалты́рь бы чита́ть да к сме́рти приготовля́ться, а ты змей клеи́шь... Так здесь в ба́не-то посвобо́дней. Сиди́м и клеи́м. Я струга́ю лучи́нки для зме́я, Ми́тя хвост де́лает. Раз сде́лал он нам зме́я в арши́н и нарисова́л орла́,—сла́вный был змей! Он учи́л нас, как запуска́ть зме́я. Кого́-нибу́дь из нас заста́вит заноси́ть, а сам с ни́ткой пу́стится бего́м.

Тут мы с Ми́тей подросли́. Одна́жды вхо́дит де́душка и говори́т:—Что ребя́тами до́ма баклу́шничать,—на́до отда́ть

их учи́ться. Там их ско́ро вы́учат. То́лько бою́сь—ходи́ть они́ бу́дут одни́, как бы в коло́дец не упа́ли (на доро́ге был ста́рый завали́вшийся коло́дец). А Миха́лыч говори́т:—Да я их провожа́ть бу́ду. А де́душка говори́т:—Ну и сла́вно, провожа́й.

Тогда́ о́тдали нас в шко́лу к дья́кону, и стал нас Миха́лыч провожа́ть. Когда́ нас Миха́лыч привёл в пе́рвый раз в шко́лу и оста́вил там, мне о́чень ску́чно сде́лалось. Я увида́л его́ в окно́, как он шёл домо́й,—ду́маю: „Вот он домо́й идёт, а я здесь сижу́". Снача́ла мне о́чень не хоте́лось туда́ ходи́ть. Быва́ло, ра́но бу́дят—встава́йте, в шко́лу пора́! А встава́ть не хо́чется—ду́маешь: „лежа́л бы се́бе, да лежа́л, а тут встава́й!"

Ле́том мы не учи́лись и ходи́ли с Миха́лычем купа́ться. Река́ была́ далеко́,—приходи́лось идти́ мно́го лу́гом. Идём по огоро́ду, Миха́лыч де́ржит нас за́ руки, одного́ с одно́й стороны́, а друго́го с друго́й, и всё что-нибу́дь толку́ет, и всё, что он говори́л мне, я до́ сих пор по́мню. Об'ясня́ет—отчего́ но́чь, отчего́ день, кака́я э́то пти́ца вон лети́т. Как вы́беремся в по́ле, Миха́лыч вы́пустит на́ши ру́ки,—ну-ка, говори́т, в перего́нки! Мы с Ми́тей пу́стимся. А он стои́т да то́пает но́га́ми, как бу́дто бего́м бежи́т, а сам кричи́т кому́-нибу́дь:—Догоня́й, догоня́й его́! Так гуля́ем мы с ним до обе́да, а иногда́ придём домо́й,—уж все пообе́дали. Де́душка говори́т:—Где вы пропада́ли? мы вас поджида́ли—поджида́ли да пое́ли.

Он идёт спать, а мы обе́дать. Миха́лыч сиде́л за столо́м всегда́ до́льше всех. Быва́ло, все вста́нут, а он сиди́т. Де́душка спать ля́жет, кто-что, никого́ в ко́мнатах не́ту, он оди́н—гавк да гавк.

Раз ве́чером де́душка говори́т ему́.—Скажи́, пожа́луйста, Михалы́ч, чем ты был пре́жде, где был? А Миха́лыч говори́т:—Что расска́зывать! вспо́мнить то́шно!.. Де́душка дава́й его́ пу́ще проси́ть, он и рассказа́л. Ми-

ха́лыч был сын купца́.—Оте́ц мой,—говори́л Михалы́ч:—был о́чень бога́т, то́лько и скуп же! За всю его́ жизнь я три́дцать лет был у него́ рабо́тником, то́лько и ви́дел све́ту, что воро́чал кули́ да ци́бики с ча́ем. Хоте́лось мне о́чень вы́учиться на скри́пке,—не позволя́л. —„Что говори́т, за гудки́ таки́е—не позво́лю“. Быва́ло, заберёшься от него́ на черда́к, ду́маешь: не уви́дит—чуть-чуть пили́каешь, а он тут и есть с дуби́ной. „—Я, говори́т, тебе́ таку́ю кадре́ль сыгра́ю, что ты у меня́ вверх торма́шками в слухово́е окно́ вы́летишь. „Чтоб поигра́ть, я от него́ бе́гал на пого́ст,—лю́ди иду́т, ду́мают, что за сумасше́дший тако́й в по́ле на скри́пке игра́ет. Как по́мер мой оте́ц,—доста́лись мне де́ньги. Уж и протёр же я им глаза́! Чуде́сил напропалу́ю—всё хоте́лось мо́лодость вороти́ть, а так хрычо́м и оста́лся. Прогуля́л я э́то пять лет, на шесто́й жить не́чем. Пу́ще всех меня́ э́тот Фёдор Семёныч наду́л—ну, бог с ним! Как не ста́ло у меня́ де́нег—ду́маю: найму́ся охо́тником в солда́ты. Поду́мал, наня́лся. Це́лую неде́лю пья́нствовал. Пото́м, как на́до бы́ло идти́ в рекру́тское прису́тствие—взял меня́ страх, зали́лся я слеза́ми. Сла́ва Бо́гу, не поста́вили меня́: у меня́ на боку́ был шрам большо́й. Вот с тех пор я и мы́каюсь, как Каин [1]) како́й-нибу́дь. Пять лет слоня́юсь. Фёдор Семёныч врал, что он держа́л меня́ у себя́,—он ра́зве корми́л меня́ ра́за четы́ре и то́лько. Не выгоня́йте хоть вы меня́, а то на ста́рости лет придётся где-нибу́дь издо́хнуть на у́лице.“ Мы с Ми́тей ста́ли проси́ть де́душку не выгоня́ть.—Да не вы́гоню!—говори́т:—ишь, караси́ э́такие, как расхны́кались, гляди́ ты!

И жил у нас Миха́лыч о́чень до́лго. Мы уже́ в шко́ле не учи́лись, потому́ что учи́тель у нас был дрянно́й. Придём э́то мы, а он сиди́т за столо́м пья́ный совсе́м, но́сом в

---

[1]) Ка́ин—сын Ада́ма; уби́л своего́ бра́та и по́сле этого стал рабо́тать на чужи́х людей́, ходи́ть по ра́зным места́м, так как на ро́дине его́ не принима́ли.

кни́гу ты́чет; а иногда́ заце́пит но́сом кни́гу да так со стола́ и спихнёт ненаро́чно. Ещё ча́сто ката́л он нас на спине́. Нагнётся, упрётся рука́ми в колёнки и говори́т:—Эй, вы, ну-ка, на́ спину! Мы и вско́чим к нему́ на́ спину.—Э-э-э,— говори́т:—дво́е-то! Нет, вы по одному́.

Раз мы ката́емся; прихо́дит Миха́лыч обе́дать вести́: увида́л на́ше уче́нье и говори́т:—Та́к у вас та́к-то! я ви́жу, здесь и учителя́-то шелуди́вые, прости́ го́споди!—А учи́тель испуга́лся, останови́лся, смо́трит вниз лбом; я сижу́ на спине́. Миха́лыч пошёл да и сказа́л де́душке. Де́душка говори́т:—Что за уче́нье тако́е! Лу́чше до́ма сиде́ть, чем туда́ шля́ться. Так нас и взя́ли, а учи́ть нас стал Миха̀лыч.

По́сле э́того он не до́лго по́жил. Раз ему́ сде́лалось что́-то ду́рно... он лёг в посте́ль, а че́рез три дня по́мер. Мы о́чень мно́го с Ми́тей пла́кали. На по́хоронах нас посади́ли обе́дать за большо́й стол и на́лили на по́лной таре́лке сыты́ с киселём. Пре́жде мне о́чень хоте́лось пое́сть сыты́, но нам не дава́ли, говоря́т—живо́т заболи́т; а тут с го́ря-то набу́рили це́лую глубо́кую таре́лку. Когда́ мы нае́лись, то мне ста́ло то́шно... Хоть и ра́ды мы бы́ли киселю́, но об Миха́лыче всё пла́кали; ду́маем—кто нам тепе́рь бу́дет зме́й де́лать? с кем купа́ться пойдём? Но́чью, когда́ я спал, мне присни́лся Миха́лыч,—говори́т: „встава́йте, купа́ться пора́!...“ Я откры́л глаза́ и зарыда́л горю́чими слеза́ми....

Гл. Успе́нский.

Ходи́ли на цы́почках— ئەكرنگنه ئاياق ئوچو بـاونـگنه باسب كيلدلەر

Бу́йствовать—دولاو حلقسزلانو

Клеи́ть зме́й—كەعەز ئوچورعچنى يابشدرا

Псалты́рь=церко́вная кни́га.

Баклу́шничать=жить без де́ла.

Вспомина́ть то́шно—вспомина́ть неприя́тно.

Вверх тарма́шками вы́летишь—ئاياغىڭ كونەرب (باشڭ تويەن ئاسلنلرب) ئۇچارسڭ

Сыта́—بال سووى

Кто-что=всяки́й что нибу́дь де́лает.

Гавк да гавк=продолжа́ет ку́шать.

То́лько и ви́дел све́ту=то́лько и знал.

Гудки́=игра́ на скри́пке, вообще́ на му́зыке.

Пили́кать=пло́хо игра́ть на му́зыке.

Кадре́ль сыгра́ю=так тебя́ уда́рю.

Слухово́е окно́=ма́ленькое окно́ на чердаке́.

Пого́ст=кла́дбище.

Уж и протёр же я им глаза́=тра́тил их (де́ньги) без счёта.

Чуде́сил напропалу́ю=пил и гуля́л.

Хрычо́м оста́лся=оста́лся нежена́тым.

Мы́каюсь—живу́ у чужи́х людей́.

Слоня́юсь—хожу́ без де́ла.

Шрам—(ئەسەرى) ئزى جەروحەت

Как расхны́кались=как распла́кались.

Спихнёт=столкнёт.

Учителя́ шелуди́вые—учителя́ плохи́е, пья́ницы.

Набу́рили=на́лили.

Макси́м Макси́мыч.

Расста́вшись с Макси́мом Макси́мычем, я жи́во проскака́л Те́рекское и Дарья́льское уще́лия [1]), за́втракал в Казбе́ке [2]), ча́й пил в Ла́рсе [3]), а к у́жину поспеши́л во Владикавка́з. Я останови́лся в гости́ннице, где остана́вливаются

[1]) Те́рекское и Дарья́льское уще́лия—на Кавка́зе.

[2]) Казбе́к—назва́ние ста́нции.

[3]) Ла́рса—назва́ние станции.

все проезжие, и где между тем некому велеть зажарить фазана и сварить щей, ибо три инвалида, которым она поручена, так глупы или так пьяны, что от них никакого толка нельзя добиться. Мне об'явили, что я должен прожить тут ещё три дня, ибо „оказия“ из Екатеринограда ещё не пришла и, следовательно, отправиться обратно не может.

Первый день я провёл очень скучно; на другой рано утром в'езжает на двор повозка... А! Максим Максимыч!... Мы встретились, как старые приятели. Я предложил ему свою комнату; он не церемонился, даже ударил меня по плечу и скривил рот на манер улыбки. Такой чудак!.. Максим Максимыч имел глубокие сведения в поварённом искусстве: он удивительно хорошо зажарил фазана, удачно полил его огуречным рассолом, и я должен признаться, что без него пришлось бы остаться на сухоядении. Бутылка кахетинского помогла нам забыть о скромном числе блюд, которых было всего одно, и, закурив трубки, мы уселись—я у окна, он у затопленной печи, потому что день был сырой и холодный. Мы молчали. О чём было нам говорить?.. Он уж рассказал мне о себе всё, что было занимательного, а мне нечего было рассказывать. Я смотрел в окно.

Так сидели мы долго. Солнце пряталось за холодные вершины, и беловатый туман начинал расходиться в долинах, когда на улице раздался звон дорожного колокольчика и крик извозчиков. Несколько повозок с грязными армянами в'ехало на двор гостиницы и за ними пустая дорожная коляска; её лёгкий ход, удобное устройство и щегольской вид имели какой-то заграничный отпечаток. За нею шёл человек с большими усами, в венгерке, довольно хорошо одетый для лакея; в его звании нельзя было ошибиться, видя ухарскую замашку, с которою он вытряхивал золу из трубки и покрикивал на ямщика. Скажи, любезный, закричал я ему в окно, что это — оказия пришла, что ли“?—Он посмотрел довольно дерзко, поправил галстук и

отвернулся; шедший возле него армянин, улыбаясь, отвечал за него, что-точно, пришла оказия и завтра утром отправится обратно.

„Слава богу“! сказал Максим Максимыч, подошедший к окну в это время. „Экая чудная коляска“! прибавил он, „верно какой нибудь чиновник едет на следствие в Тифлис. Видно не знает наших горок! Нет, шутишь, любезный: они не свой брат, растрясут хоть английскую“!—А кто бы это такой был—пойдёмте-ка узнать“!..

Мы вышли в корридор. В конце корридора была отворена дверь в боковую комнату. Лакей с извозчиком перетаскивали в неё чемоданы. — Послушай, братец, спросил у него штабс-капитан: — чья эта чудная коляска?... а?... Прекрасная коляска!... Лакей, не оборачиваясь, бормотал что-то про себя, развязывая чемодан. Максим Максимыч рассердился; он тронул неучтивца по плечу и сказал:—я тебе говорю, любезный...—Чья коляска?... Моего господина...—А кто твой господин?—Печорин.—Что ты? Что ты? Печорин?... Ах, боже мой!... да не служил ли он на Кавказе?... воскликнул Максим Максимыч, дёрнув меня за рукав. У него в глазах сверкала радость.

— Служил, кажется—да я у них недавно.—Ну, так!... так!... Григорий Александрович?... Так, ведь, его зовут? Мы с твоим барином были приятели, прибавил он, ударив дружески по плечу лакея, так что заставил его пошатнуться...—Позвольте, сударь; вы мне мешаете, сказал тот, нахмурившись.—Экой ты, братец!... да знаешь ли, мы с твоим барином были друзья закадычные, жили вместе?... Да где ж он сам остался?... Слуга об‘явил, что Печорин остался ужинать и ночевать у полковника Н....

— Да не зайдёт ли он вечером сюда? сказал Максим Максимыч: или ты, любезный, не пойдёшь ли к нему за чем-нибудь?... Коли пойдёшь, так скажи, что здесь Максим Максимыч—так и скажи... уж он знает... Я тебе дам восьми-

гри́венный на во́дку... Лаке́й сде́лал презри́тельную ми́ну, слы́ша тако́е скро́мное обеща́ние, одна́ко уве́рил Макси́ма Макси́мыча, что он испо́лнит его́ поруче́ние. Ведь сейча́с прибежи́т!... сказа́л Макси́м Макси́мыч с торжеству́ющим ви́дом:—пойду́ за воро́та его́ дожида́ться... Эх! жа́лко, что я не знако́м с Н.....

Макси́м Макси́мыч сел за воро́тами на скаме́йку, а я ушёл в свою́ ко́мнату. Призна́юсь, я та́кже с не́которым нетерпе́нием ждал появле́ния э́того Печо́рина; хотя́ по расска́зу шта́бс-капита́на я соста́вил себе́ о нём не о́чень вы́годное поня́тие, одна́ко не́которые черты́ в его́ хара́ктера показа́лись мне замеча́тельными. Че́рез час инвали́д принёс кипя́щий самова́р и ча́йник. „Макси́м Макси́мыч, не хоти́те ли ча́ю“? закрича́л я ему́ в окно́.—Благода́рствуйте; что-то не хо́чется.—Эй, вы́пейте! Смотри́те, ведь уж по́здно, хо́лодно.—Ничего́; благода́рствуйте... Ну, как уго́дно!—Я ста́л пить ча́й оди́н; мину́т че́рез де́сять вхо́дит мой стари́к.—А ведь вы пра́вы: всё лу́чше вы́пить чайку́,—да я всё ждал. Уж челове́к его́ давно́ к нему́ пошёл, да, ви́дно, что-нибу́дь задержа́ло.

Он на́скоро вы́хлебнул ча́шку, отказа́лся от второ́й и ушёл опя́ть за воро́та в како́м-то беспоко́йстве: я́вно бы́ло, что старика́ огорча́ло небреже́ние Печо́рина, и тем боле́е, что он мне неда́вно говори́л о свое́й с ним дру́жбе и ещё час тому́ наза́д был уве́рен, что он прибежи́т, как то́лько услы́шит его́ и́мя. Уж бы́ло по́здно и темно́, когда́ я сно́ва отвори́л окно́ и стал звать Макси́ма Макси́мыча, говоря́, что пора́ спать; он что́-то пробормота́л сквозь зу́бы; я повтори́л приглаше́ние—он ничего́ не отвеча́л.

Я лёг на дива́н, заверну́вшись в шине́ль и оста́вив свечу́ на лежа́нке, ско́ро задрема́л и проспа́л бы споко́йно, е́слиб, уже́ о́чень по́здно, Макси́м Макси́мыч, войдя́ в ко́мнату, не разбуди́л меня́. Он бро́сил тру́бку на стол, стал ходи́ть, по ко́мнате, швыря́ть в печи́, наконе́ц лёг, но

до́лго ка́шлял, плева́л, воро́чался...—Не клопы́ ли вас куса́ют? спроси́л я.—Да, клопы́... отвеча́л он, тяжело́ вздохну́в.

На друго́й день у́тром я просну́лся ра́но; но Макси́м Макси́мыч предупреди́л меня́. Я нашёл его́ у воро́т, сидя́щего на скаме́йке. „Мне на́до сходи́ть к коменда́нту", сказа́л он: „так пожа́луйста, е́сли Печо́рин придёт, пришли́те за мно́й"... Я обеща́лся. Он побежа́л, как бу́дто чле́ны его́ получи́ли вновь ю́ношескую си́лу и ги́бкость.

Утро бы́ло свеже́е и прекра́сное. Золоты́е облака́ громозди́лись на гора́х, как но́вый ряд возду́шных гор; пе́ред воро́тами расстила́лась широ́кая пло́щадь; за нею база́р кипе́л наро́дом, потому́ что бы́ло воскресе́нье: босы́е ма́льчики—осети́ны, неся́ за плеча́ми кото́мки с сото́вым мёдом, верте́лись вокру́г меня́; я их проклина́л: мне бы́ло не до них—я начина́л разделя́ть беспоко́йство до́брого штабс-капита́на.

Не прошло́ десяти́ мину́т, как на конце́ пло́щади показа́лся тот, кото́рого мы ожида́ли. Он шёл с полко́вником Н.., кото̀рый, доведя́ его́ до гости́ницы, прости́лся с ним и повороти́л в кре́пость. Я то́тчас же посла́л инвали́да за Макси́мом Макси́мычем.

Навстре́чу Печо́рина вы́шел его́ лаке́й и доложи́л, что сейча́с ста́нут закла́дывать; по́дал я́щик с сига́рами и, получи́в не́сколько приказа́ний, отпра́вился хлопота́ть. Его́ господи́н, закури́в сига́ру, зевну́л ра́за два и сел на скамью́ по другу́ю сто́рону воро́т. Тепе́рь я до́лжен нарисова́ть вам его́ портре́т.

Он был сре́днего ро́ста; стро́йный, то́нкий стан его́ и широ́кие пле́чи дока́зывали кре́пкое сложе́ние, спосо́бное, переноси́ть все тру́дности кочево́й жи́зни и переме́ны кли́матов, не побеждённое ни развра́том столи́чной жи́зни, ни бу́рями душе́вными; пы́льный ба́рхатный сюртучо́к его́, застёгнутый то́лько на две ни́жние пу́говицы, позволя́л разгляде́ть ослепи́тельно-чи́стое бельё, изоблича́вшее привы́чки поря́дочного челове́ка; его́ запа́чканые перча́тки каза́лись наро́чно сши́тыми по его́ ма́ленькой аристократи́ческой руке́,

и когда́ он снял одну́ перча́тку, то я был удивлён худобо́й его́ бле́дных па́льцев. Его́ похо́дка была́ небре́жна и лени́ва, но я заме́тил, что он не разма́хивал рука́ми—ве́рный при́знак не́которой скры́тности хара́ктера.

Когда́ он опусти́лся на скамью́, то прямо́й стан его́ согну́лся, как бу́дто у него́ в спине́ не́ было ни одно́й ко́сточки; положе́ние всего́ его́ те́ла изобрази́ло каку́ю-то нерви́ческую сла́бость; он сиде́л, как сиди́т Бальза́кова тридцатиле́тняя коке́тка на свои́х пухо́вых кре́слах по́сле утоми́тельного ба́ла. С пе́рвого взгля́да на лицо́ его́ я бы не́ дал ему́ бо́лее двадцати́ трёх лет, хотя́ по́сле я гото́в был дать ему́ три́дцать. В его́ улы́бке бы́ло что-то де́тское. Его́ ко́жа име́ла каку́ю-то же́нскую не́жность; белоку́рые во́лосы, вью́щиеся от приро́ды, так живопи́сно обрисова́ли его́ бле́дный благоро́дный лоб, на кото́ром то́лько по до́лгом наблюде́нии мо́жно бы́ло заме́тить следы́ морщи́н, пересека́вших одна́ другу́ю и, вероя́тно, обознача́вшихся гора́здо я́вственнее в мину́ты гне́ва и́ли душе́вного беспоко́йства. Несмотря́ на све́тлый цвет его́ воло́с, усы́ его́ и бро́ви бы́ли чёрные—при́знак поро́ды в челове́ке, так, как чёрная гри́ва и чёрный хвост у бе́лой ло́шади. Чтоб доко́нчить портре́т, я скажу́, что у него́ был немно́го вздёрнутый нос, зу́бы ослепи́тельной белизны́ и ка́рие глаза́; о глаза́х я до́лжен сказа́ть ещё не́сколько слов.

Во-пе́рвых, они́ не смея́лись, когда́ он смея́лся.—Вам не́ случа́лось замеча́ть тако́й стра́нности у не́которых люде́й?... Это при́знак и́ли зло́го нра́ва, и́ли глубо́кой постоя́нной гру́сти. Из-за полуопу́щенных ресни́ц они́ сия́ли каки́м то фосфори́ческим бле́ском, е́сли мо́жно так вы́разиться. То не́ было отраже́ние жа́ра душе́вного и́ли игра́ющего воображе́ния: то был блеск, подо́бный бле́ску гла́дкой ста́ли, ослепи́тельный, но холо́дный; взгляд его́—непродолжи́тельный, но проница́тельный и тяжёлый—оставля́л по себе́ неприя́тное впечатле́ние нескро́много вопро́са и мог бы

каза́ться де́рзким, е́слиб не был столь равноду́шно-споко́ен. Скажу́ в заключе́ние, что он был вообще́ о́чень не дурён и име́л одну́ из тех оригина́льных физионо́мий, кото́рые осо́бенно нра́вятся же́нщинам.

Ло́шади бы́ли уже́ зало́жены; колоко́льчик по времена́м звене́л под дуго́ю, и лаке́й уже́ два ра́за подходи́л к Печо́рину с докла́дом, что всё гото́во, а Макси́м Макси́мыч ещё не явля́лся. К сча́стью, Печо́рин был погружён в заду́мчивость, гля́дя на си́ние зубцы́ Кавка́за и, ка́жется, во́все не торопи́лся в доро́гу. Я подошёл к нему́. „Если вы захоти́те ещё немно́го подожда́ть“, сказа́л я: „то бу́дете име́ть удово́льствие уви́деться со ста́рым дру́гом“...—Ах, то́чно! бы́стро отвеча́л он: мне вчера́ говори́ли; но где́ же он?

Я оберну́лся к пло́щадке и уви́дел Макси́ма Макси́мыча, бегу́щего что бы́ло мо́чи... Че́рез не́сколько мину́т он был уже́ во́зле нас; он едва́ мог дыша́ть; пот гра́дом кати́лся с лица́ его́; мо́крые клочки́ седы́х воло́с, вы́рвавшись из-под ша́пки, приклеи́лись ко лбу его́; коле́ни его́ дрожа́ли. Он хоте́л ки́нуться на ше́ю Печо́рину, но тот дово́льно хо́лодно, хотя́ с приве́тливой улы́бкой, протяну́л ему́ ру́ку. Шта́бс-капита́н на мину́ту остолбене́л, но пото́м жа́дно схва́тил его́ за́ руку обе́ими рука́ми: он ещё не мо́г говори́ть.—Как я рад, дорого́й Макси́м Макси́мыч! Ну, как вы пожива́ете? сказа́л Печо́рин.—А... ты? а вы? пробормота́л со слеза́ми на глаза́х стари́к: ско́лько лет.. ско́лько дней... да куда́ э́то?— Е́ду в Пе́рсию—и да́льше.—Неу́жто сейча́с. Да подожди́те, дража́йший. Неу́жто сейча́с расста́немся? Ско́лько вре́мени не вида́лись.

Мне пора́, Макси́м Макси́мыч,—был отве́т.—Бо́же мо́й, бо́же мо́й! да куда́ э́то так спеши́те? Мне сто́лько бы хоте́лось вам сказа́ть... сто́лько расспроси́ть... Ну, что? в отста́вке?... как? что поде́лывали?—Скуча́л! отвеча́л Печо́рин, улыба́ясь. А по́мните на́ше житьё-бытьё в кре́пости? Сла́вная страна́ для охо́ты! Ведь вы бы́ли стра́стный охо́т-

ник стреля́ть... Да, по́мню! сказа́л он, почти́ то́тчас принуждённо зевну́в.

Макси́м Макси́мыч стал его́ упра́шивать оста́ться с ним ещё часа́ два. „Мы сла́вно пообе́даем“, говорил он: у меня есть два фаза́на; а кахети́нское здесь прекра́сное... разуме́ется не то, что в Гру́зии, одна́ко лу́чшего со́рта... Мы поговори́м... Вы мне расска́жете про свое житьё в Петербу́рге А?.—Пра́во, мне не́чего расска́зывать, дорого́й Макси́м Макси́мыч. Одна́ко проща́йте, мне пора́... я спешу́... Благодарю́, что не забы́ли... прибáвил он, взяв его́ за ру́ку.

Стари́к нахму́рил бро́ви. Он был печа́лен и серди́т, хотя́ стара́лся скрыть э́то. „Забы́ть“ проворча́л он; „я-то не забы́л ничего́... Ну, да бог с ва́ми! Не так я ду́мал с ва́ми встре́титься“....—Ну, по́лно, по́лно! сказа́л Печо́рин, обня́в его́ дру́жески:—неуже́ли я не тот же? Что де́лать? вся́кому своя́ доро́га. Уда́стся ли ещё встре́титься—бог зна́ет! Говоря́ э́то, он уже́ сиде́л в коля́ске, и ямщи́к уж на́чал подбира́ть во́жжи.—Посто́й, посто́й! закрича́л вдруг Макси́м Макси́мыч, ухватя́сь за две́рцы коля́ски:—совсе́м бы́ло забы́л. У меня́ оста́лись ва́ши бума́ги, Григо́рий Алекса́ндрович... я их таска́ю с собо́й... ду́мал найти́ вас в Гру́зии, а вот где бог дал сви́деться. Что с ни́ми де́лать?—Что хоти́те! отвеча́л Печо́рин. Проща́йте!—Так вы в Пе́рсию?... а когда́ верне́тесь?... крича́л вслед Макси́м Макси́мыч. Коля́ска была́ уже́ далеко́, но Печо́рин сде́лал знак руко́й, кото́рый мо́жно бы́ло перевести́ сле́дующим о́бразом: вря́д ли! да и не́зачем!

Давно́ уже́ не слы́шно бы́ло ни зво́на колоко́льчика, ни сту́ка колёс по кремни́стой доро́ге, а бе́дный стари́к ещё стоя́л на том-же ме́сте в глубо́кой заду́мчивости. „Да“, сказа́л он наконе́ц, стара́ясь приня́ть равноду́шный вид, хотя́ слеза́ доса́ды по времена́м сверка́ла на его́ ресни́цах: „коне́чно, мы бы́ли прия́тели—ну, да что прия́тели в ны́неш-

нем вéке!,.. Что емý во мнé? Я не богáт, не чинóвен, да и по летáм совсéм емý не пáра. Вишь какúм он фрáнтом сдéлался, как побывáл опя́ть в Петербýрге... Что за коля́ска!... скóлько поклáжи!... и лакéй такóй гóрдый“! Эти словá бы́ли произнесены́ с ирони́ческой улы́бкой. „Скажи́те, продолжáл он, обратя́сь ко мне:—ну, что вы об э́том дýмаете?... ну, какóй бес несёт егó тепéрь в Пéрсию?... Смешнó, ей бóгу, смешнó!... Да я всегдá знал, что он вéтреный человéк, на котóрого нельзя́ надéяться.. А прáво, жаль, что он дýрно кóнчит... да и нельзя́ инáче“... Уж я всегдá говори́л, что нет прóку в том, кто стáрых друзéй забывáет!... Тут он отвернýлся, чтóбы скры́ть своё волнéние и пошёл ходи́ть пó двору óколо своéй повóзки, покáзывая, бýдто осмáтривает колёса, тогдá как глазá егó поминýтно наполня́лись слезáми.

Макси́м Макси́мыч! сказáл я, подошéдши к немý,—а что э́то за бумáги вам остáвил Печóрин.—А бог егó знáет! каки́е-то запи́ски...—Что вы из них сдéлаете?—Что? Я велю́ надéлать патрóнов. Отдáйте их лýчше мне. Он посмотрéл на меня́ с удивлéнием, проворчáл чтó-то сквозь зýбы и нáчал ры́ться в чемодáне; вот он вы́нул однý тетрáдку и брóсил её с презрéнием на зéмлю; потóм другáя, трéтья и деся́тая имéли тý же ýчасть: в егó досáде бы́ло чтó-то дéтское; мне стáло смешнó и жáлко... Вот они́ все, сказáл он; поздравля́ю вас с нахóдкою...—И я могý дéлать с ни́ми всё, что хочý? Хоть в газéтах печáтайте. Какóе мне дéло? Что я, рáзве друг егó какóй, и́ли рóдственник? Прáвда, мы жи́ли дóлго под однóй крóвлей. Да мáло ли с кем я нé жил.

Я схвати́л бумáги и поскорéе унёс их, боя́сь, чтоб штáбс-капитáн не раскáялся. Скóро пришли́ нам об‘яви́ть, что чéрез час трóнется окáзия; я велéл заклáдывать. Штáбс-капитáн вошёл в кóмнату в то врéмя, когдá я ужé надевáл шáпку; он, казáлось, не готóвился к от‘éзду; у негó был

како́й-то принужде́нный, холо́дный вид. А вы, Макси́м Макси́мыч, ра́зве не е́дете?—Нет-с.—А что так?—Да я ещё коменда́нта не вида́л, а мне на́до сдать кой—каки́е казённые ве́щи.—Да, ведь, вы же бы́ли у него́?—Был конечно, сказа́л он, запина́ясь: да его́ до́ма не́ было... а я не дожда́лся.

Я по́нял его́: бе́дный стари́к, в пе́рвый раз от ро́ду мо́жет быть, бро́сил дела́ слу́жбы для со́бственной на́добности, говоря́ языко́м бума́жным, и как же он был награждён!—Очень жаль, сказа́л я ему́, о́чень жаль, Макси́м Макси́мыч, что нам до сро́ка на́до расста́ться!—Где нам, необразо́ванным старика́м, за ва́ми гоня́ться!... Вы молодёжь све́тская, го́рдая; ещё пока́мест под черке́сскими пу́лями, так вы туда́—сюда́, а по́сле встре́титесь, так стыди́тесь и ру́ку протяну́ть ва́шему бра́ту.—Я не заслужи́л э́тих упрёков, Макси́м Макси́мыч.—Да я зна́ете, так, к сло́ву говорю́; а впро́чем жела́ю вам всяко́го сча́стия и весёлой доро́ги.

Мы прости́лись дово́льно су́хо. До́брый Макси́м Макси́мыч сде́лался упря́мым, сварли́вым штабс-капита́ном. И отчего́? Оттого́, что Печо́рин, в рассе́янности и́ли от друго́й причи́ны, протяну́л ему́ ру́ку, когда тот хоте́л ки́нуться ему́ на ше́ю. Гру́стно ви́деть, когда́ ю́ноша теря́ет лу́чшие свои́ наде́жды и мечты́, когда́ пе́ред ним отдёргивается ро́зовый флёр, сквозь кото́рый он смотре́л на дела́ и чу́вства челове́ческие, хотя́ есть наде́жда, что он заме́нит ста́рые заблу́ждения новыми, не ме́нее переходя́щими, но за то не ме́нее сла́дкими..... Но чем их замени́ть в лета́ Макси́ма Макси́мыча.? Понево́ле се́рдце очерстве́ет, и душа́ закро́ется!.. Я уе́хал оди́н.

М. Ю. Ле́рмонтов.

Фаза́н—пти́ца из семе́йства кури́ных.

Инвали́д=отставно́й солда́т.

Ока́зия=удо́бный слу́чай; путеше́ствие с конво́ем; с провожа́тыми солда́тами.

Прикры́тие=ساقچی قاراول.

Он не церемо́нился—ئول نازلانمادی

Поварённое иску́сство—پوۋر حەزرلەگەن ئش

Огуре́чный рассо́л—قيپلر تۇزلاعان سو

Сухояде́ние=ريزقلانو ئاشسزعنا جلى

Скро́мное число́ блюд=ма́лое число́ ку́шаний.

Занима́тельное=интере́сное.

Венге́рка=ку́ртка, с наши́тыми попере́к гру́ди шнура́ми.

У́харская зама́шка—ئيسرافچان حۇلۇقلى

Неучти́вец=невё́жливый.

Друзья́ закады́чные=بيك ياقن دوستلار

Лаке́й сде́лал презри́тельную ми́ну=посмотре́л с презре́нием.

Сейча́с ста́нут закла́дывать=сейча́с ста́нут запряга́ть.

Коке́тка—كنشگە ئۇحشارعا ترشوچى حاتن

Бальза́к=францу́зский писа́тель-романи́ст.

При́знак поро́ды в челове́ке=при́знак си́лы и здоро́вья в челове́ке.

Оригина́льная физионо́мия—قزقلى (عەريب) يۇز

Принуждённо зевну́л—كوچلەنب ئيسنەدى

Вряд ли=едва́ ли.

По лета́м ему не па́ра—يەش ياعندان ئاگار تيگز - تيك توگل

Ирони́ческая улы́бка—ياقن توگلدر يلمايب كۇلو

Ве́треный челове́к—جيگل تابيعەتلى كشى

У него был како́й-то принуждённый, холо́дный вид—نيندير ئانك قاوشاوسز كورنشى بولدى

К сло́ву говорю́—كيرەكلى واقتندا، تورنندا ئەيتەم

Ро́зовый флёр—ئال تۇسدە ئوتە كورنە تۇرعان يوقا ماتيرييە

Заме́нит ста́рые заблужде́ния но́выми, не ме́нее преходя́щими=заменит ста́рые оши́бки но́выми, кото́рые то́же пройду́т.

Се́рдце очерстве́ет—يۇرەك قاتار (قاتا باشلار)

Станцио́нный смотри́тель.

В 1816 году́, в ма́е ме́сяце, случи́лось мне проезжа́ть че́рез ***скую губе́рнию, по тра́кту, ны́не уничто́женному. Находи́лся я в ме́лком чи́не, е́хал на перекладны́х и плати́л прого́ны за́ две ло́шади. Вследствие сего́ смотри́тели со мно́ю не церемо́нились, и ча́сто бира́л я с бо́ю то, что, во мне́нии моём, следо́вало мне по пра́ву. Бу́дучи мо́лод и вспы́льчив, я негодо́вал на ни́зость и малоду́шие смотри́теля, когда́ сей после́дний отдава́л пригото́вленную мне тро́йку под коля́ску чино́вного ба́рина. Сто́ль же до́лго не мог я привы́кнуть и к тому́, чтоб разбо́рчивый холо́п обноси́л меня́ блю́дом на губерна́торском обе́де. Ны́не то и друго́е ка́жется мне в поря́дке веще́й. В са́мом де́ле, что бы́ло бы с на́ми, е́сли бы вме́сто общеудо́бного пра́вила: чин чи́на почита́й, ввело́сь в употребле́ние друго́е, наприме́р: ум ума́ почита́й? Каки́е возни́кли бы спо́ры! и слу́ги с кого́ бы начина́ли ку́шанья подава́ть? Но обраща́юсь к моє́й по́вести. День был жа́ркий. В трёх верста́х от станции ста́ло накра́пывать, и чрез мину́ту проливно́й дождь вы́мочил меня́ до после́дней ни́тки. По прие́зде на ста́нцию, пе́рвая забо́та была́ поскоре́е переоде́ться, втора́я—спроси́ть себе́ ча́ю. „Эй, Ду́ня! закрича́л смотри́тель: поста́вь самова́р, да сходи́ за сли́вками“. При сих слова́х вы́шла из-за перегоро́дки де́вочка лет четы́рнадцати и побежа́ла в се́ни. Красота́ её меня́ порази́ла. „Это твоя́ до́чка“? спроси́л я смотри́теля.—„До́чка-с, отвеча́л он с ви́дом дово́льного самолю́бия: да така́я разу́мная, така́я прово́рная, вся в поко́йницу мать. Тут он приня́лся перепи́сывать мою́ подоро́жную, а я заня́лся рассмотре́нием карти́нок, украша́вших его́ смире́нную, но опря́тную оби́тель. Не успе́л я расплати́ться со ста́рым мои́м ямщико́м, как Ду́ня возврати́лась с самова́ром. Ма́ленькая коке́тка со второ́го взгля́да заме́тила впечатле́ние, произведённое е́ю на меня́; она́ поту́пила больши́е голубы́е глаза́; я стал с ней разгова́ривать; она́

отвеча́ла мне бе́зо вся́кой ро́бости, как де́вушка, вида́вшая свет. Я предложи́л отцу́ её стака́н пу́ншу; Ду́не по́дал я ча́шку ча́ю, и мы втроём на́чали бесе́довать, как бу́дто век были знако́мы.

Ло́шади были давно́ гото́вы, а мне всё не хоте́лось расстава́ться с смотри́телем и его́ до́чкой. Наконе́ц я с ни́ми прости́лся; оте́ц пожела́л мне до́брого пути́, а дочь проводи́ла до теле́ги. Прошло́ не́сколько лет, и обстоя́тельства привели́ меня́ на тот са́мый тракт, в те са́мые места́. Я вспо́мнил дочь ста́рого смотри́теля и обра́довался при мы́сли, что уви́жу её сно́ва. „Но—поду́мал я—ста́рый смотри́тель, мо́жет быть, сменён; вероя́тно, Ду́ня уже за́мужем". Мысль о сме́рти того́ и друго́го та́кже мелькну́ла в уме́ моём, и я приближа́лся к ста́нции с печа́льным предчу́вствием. Ло́шади ста́ли у почто́вого до́мика. Воше́д в ко́мнату, я то́тчас узна́л карти́нки; стол и крова́ть стоя́ли на пре́жних места́х, но на о́кнах уже́ не́ было цвето́в, и всё круго́м пока́зывало ве́тхость и небреже́ние. Смотри́тель спал под тулу́пом; мой прие́зд разбуди́л его́; он привста́л... Это был то́чно Семён Вы́рин; но как он постаре́л! Пока́мест собира́лся он перепи́сывать мою́ подоро́жную, я смотре́л на его́ седину́, на глубо́кие морщи́ны давно́ небри́того лица́, на сго́рбленную спи́ну—и не мог надиви́ться, как три и́ли четы́ре го́да могли́ преврати́ть бо́дрого мужчи́ну в хи́лого старика́. „Узна́л ли ты меня́? спроси́л я его́: мы с тобо́ю ста́рые знако́мые". — „Мо́жет ста́ться, отвеча́л он угрю́мо: здесь доро́га больша́я; мно́го проезжа́ющих у меня́ перебыва́ло."—Здоро́ва ли твоя́ Ду́ня?" продолжа́л я. Стари́к нахму́рился. „Так, ви́дно, она́ за́мужем?" сказа́л я. Стари́к притвори́лся, бу́дто бы не слыха́л моего́ вопро́са и продолжа́л шёпотом чита́ть мою́ подоро́жную. Я прекрати́л свои́ вопро́сы и веле́л поста́вить ча́йник. Любопы́тство начина́ло меня́ беспоко́ить, и я наде́ялся, что пунш разреши́т язы́к моего́ ста́рого знако́мца.

Я не оши́бся: стари́к не отказа́лся от предлага́емого стака́на. Я заме́тил, что ро́м проясни́л его́ угрю́мость. На второ́м стака́не сде́лался он разгово́рчив; вспо́мнил, и́ли показа́л вид, бу́дто бы вспо́мнил меня́, и я узна́л от него́ по́весть, кото́рая в то вре́мя си́льно меня́ заняла́ и тро́нула. „Так вы зна́ли мою́ Ду́ню? на́чал он: кто же и не знал её? Ах, Ду́ня, Ду́ня! Что за де́вка-то была́! Быва́ло, кто ни прие́дет, вся́кий похва́лит, никто́ не осу́дит. Ба́рыни дари́ли её: та—плато́чком, та́—серёжками. Господа́ прие́зжие наро́чно остана́вливались, бу́дто бы пообе́дать, али оту́жинать, а в са́мом де́ле, то́лько чтоб на неё подо́лее погляде́ть. Быва́ло, ба́рин како́й бы серди́тый ни бы́л, при ней утиха́ет и ми́лостиво со мною разгова́ривает. Пове́рите-ль, су́дарь: курье́ры, фельдъегеря́ с не́ю по получа́су загова́ривались. Е́ю дом держа́лся; что прибра́ть, что пригото́вить, за всем успева́ли. А я-то, ста́рый дурак, не нагляжу́сь, быва́ло, не нара́дуюсь; уж я-ли не люби́л мое́й Ду́ни, я-ли не леле́ял моего́ дитя́ти; уж е́й-ли не́ было житьё? Да нет, от беды́ не отбожи́ться: что суждено́, тому́ не минова́ть“.

Тут он стал подро́бно расска́зывать мне своё го́ре. Три го́да тому́ наза́д, одна́жды в зи́мний ве́чер, когда́ смотри́тель разлинёвывал но́вую кни́гу, а дочь его́ за перего́родкой ши́ла себе́ пла́тье, тро́йка подъе́хала, и прое́зжий в черке́сской ша́пке, в вое́нной шине́ли, оку́танный ша́лью, вошёл в ко́мнату, тре́буя лошаде́й. Ло́шади все бы́ли в разго́не. При э́том изве́стии путеше́ственник возвы́сил бы́ло го́лос и нага́йку; но Ду́ня, привы́кшая к таковы́м сце́нам, вы́бежала и́з-за перегоро́дки и ла́сково обрати́лась к прое́зжему с вопро́сом: не уго́дно ли бу́дет ему́ чего́-нибу́дь поку́шать? Появле́ние Ду́ни произвело́ обыкнове́нное своё де́йствие. Гнев прое́зжего прошёл; он согласи́лся ждать лошаде́й и заказа́л себе́ у́жин. Сняв мо́крую косма́тую ша́пку, отпу́тав шаль и сдёрнув шине́ль, прое́зжий яви́лся молоды́м,

стройным гусаром с чёрными усиками. Он расположился у смотрителя, начал весело разговаривать с ним и с его дочерью. Подали ужинать. Между тем лошади пришли, и смотритель приказал, чтоб тотчас, не кормя, запрягали их в кибитку проезжего; но, возвратясь, нашёл он молодого человека почти без памяти лежащего на лавке: ему сделалось дурно, голова разболелась, невозможно было ехать... Как быть! Смотритель уступил ему свою кровать, и положено было, если больному не будет легче, на другой день утром послать в С*** за лекарем.

На другой день гусару стало хуже. Человек его поехал верхом в город за лекарем. Дуня обвязала ему голову платком, намоченным уксусом, и села с своим шитьём у его кровати. Больной при смотрителе охал и не говорил почти ни слова, однакоже выпил две чашки кофе и, охая, заказал себе обед. Дуня от него не отходила. Он поминутно просил пить, и Дуня подносила ему кружку ею заготовленного лимонада. Больной обмакивал губы и всякий раз, возвращая кружку, в знак благодарности слабою рукою пожимал Дунюшкину руку. К обеду приехал лекарь. Он пощупал пульс больного, поговорил с ним по-немецки, и по-русски объявил, что ему нужно одно спокойствие, и что дня чрез два ему можно будет отправиться в дорогу. Гусар вручил ему 25 рублей за визит, пригласил его отобедать; лекарь согласился; оба ели с большим аппетитом, выпили бутылку вина и расстались очень довольны друг другом.

Прошёл ещё день, и гусар совсем оживился. Он был чрезвычайно весел, без умолку шутил то с Дунею, то с смотрителем; насвистывал песни, разговаривал с проезжими; вписывал их подорожные в почтовую книгу и так полюбился доброму смотрителю, что на третий день жаль было ему расстаться с любезным своим постояльцем. День был воскресный; Дуня собиралась к обедне. Гусару подали кибитку. Он простился с смотрителем, щедро

наградив его за постой и угощение; простился и с Дуней и вызвался довезти её до церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня стояла в недоумении... „Чего же ты боишься? сказал ей отец: ведь его высокоблагородие—не волк и тебя не с'ест; прокатись-ка до церкви". Дуня села в кибитку подле гусара, слуга вскочил на облучёк, ямщик свистнул, и лошади поскакали.

Бедный смотритель не понимал, каким образом мог он сам позволить своей Дуне ехать вместе с гусаром, как нашло на него ослепление, и что тогда было с его разумом. Не прошло и получаса, как сердце его начало ныть, ныть, и беспокойство овладело им до такой степени, что он не утерпел и пошёл сам к обедне. Подходя к церкви, увидел он, что народ уже расходился, но Дуни не было ни в ограде, ни на паперти. Он поспешно вошёл в церковь: священник выходил из алтаря; дьячёк гасил свечи; две старушки молились ещё в углу, но Дуни в церкви не было. Бедный отец насилу решился спросить у дьячка, была ли она у обедни. Дьячёк отвечал, что не бывала. Смотритель пошёл домой ни жив, ни мёртв. Одна оставалась ему надежда: Дуня по ветрености молодых лет вздумала, может-быть, прокатиться до следующей станции, где жила её крёстная мать. В мучительном волнении ожидал он возвращение тройки, на которой он отпустил её. Ямщик не возвращался. Наконец к вечеру приехал он один и хмелён, с убийственным известием: „Дуня с той станции отправилась далее с гусаром".

Старик не снёс своего несчастия: он тут же слёг в ту самую постель, где накануне лежал молодой обманщик. Теперь смотритель, соображая все обстоятельства, догадывался, что болезнь была притворная. Бедняк занемог сильной горячкою; его свезли в С*** и на его место определили на время другого. Тот же лекарь, который приезжал к гусару, лечил и его. Он уверил смотрителя, что молодой человек был

совсе́м здоро́в, и что тогда́ ещё дога́дывался он об его́ зло́бном наме́рении, но молча́л, опаса́ясь его́ нага́йки.

Едва́ опра́вясь от боле́зни, смотри́тель вы́просил у С*** почтме́йстера о́тпуск на два ме́сяца и, не сказа́в никому́ ни сло́ва о своём наме́рении, пешко́м отпра́вился за свое́ю до́черью. Из подоро́жной он знал, что ро́тмистр Ми́нский е́хал из Смоле́нска в Петербу́рг. Ямщи́к, кото́рый вёз его́, сказа́л, что во всю доро́гу Ду́ня пла́кала, хотя́, каза́лось, е́хала по свое́й охо́те. „Аво́сь, ду́мал смотри́тель: приведу́ я домо́й заблу́дшую ове́чку мою́“. С э́той мы́слью при́был он в Петербу́рг, останови́лся в Изма́йловском полку́, в до́ме отставно́го у́нтер-офице́ра, своего́ ста́рого сослужи́вца, и на́чал свои́ по́иски. Вско́ре узна́л он, что ро́тмистр Ми́нский в Петербу́рге и живёт в Дему́товом тракти́ре. Смотри́тель реши́лся к нему́ яви́ться.

Ра́но у́тром пришёл он в его́ пере́днюю и проси́л доложи́ть его́ высокоро́дию, что ста́рый солда́т про́сит с ним уви́деться. Вое́нный лаке́й, чи́стя сапо́г на коло́дке, об‘яви́л, что ба́рин почива́ет, и что пре́жде оди́ннадцати часо́в не принима́ет никого́. Смотри́тель ушёл и возврати́лся в назна́ченное вре́мя.

Ми́нский вы́шел сам к нему́ в хала́те, в кра́сной скуфье́. „Что, брат, тебе́ на́добно“? спроси́л он его́. Се́рдце старика́ закипе́ло, слёзы наверну́лись на глаза́х, и он дрожа́щим го́лосом произнёс то́лько: „Ва́ше высокоблагоро́дие!... сде́лайте таку́ю бо́жескую ми́лость“!.. Ми́нский взгляну́л на него́ бы́стро, вспы́хнул, взял его́ за́ ру́ку, повёл в кабине́т и за́пер за собо́ю дверь. „Ва́ше высокоблагоро́дие“! продолжа́л стари́к: „что с во́зу упа́ло, то пропа́ло; отда́йте мне, по кра́йней ме́ре, бе́дную мою́ Ду́ню! Ведь вы нате́шились е́ю; не погуби́те же её понапра́сну“.

„Что сде́лано, того́ не воро́тишь“, сказа́л молодо́й челове́к в кра́йнем замеша́тельстве: „винова́т пе́ред тобо́й и рад проси́ть у тебя́ проще́ния, но не ду́май, чтоб я

Ду́ню мог поки́нуть: она́ бу́дет сча́стлива, даю́ тебе́ че́стное сло́во. Заче́м тебе́ её? Она́ меня́ лю́бит; она́ отвы́кла от пре́жнего своего́ состоя́ния. Ни ты, ни она́—вы не забу́дете того́, что случи́лось". Пото́м, су́нув ему́ что-то за рука́в, он отвори́л дверь, и смотри́тель, сам не по́мня как, очути́лся на у́лице.

До́лго стоя́л он неподви́жно, наконе́ц уви́дел за обшлаго́м своего́ рукава́ свёрток бума́г; он вы́нул их и разверну́л не́сколько пятидесятирублёвых смя́тых ассигна́ций. Слёзы опя́ть наверну́лись на глаза́х его́—слёзы негодова́ния! Он сжал бума́жки в комо́к, бро́сил их на́земь, притопта́л каблуко́м и пошёл... Отоше́д не́сколько шаго́в, он останови́лся, поду́мал... и вороти́лся, но ассигна́ций уже́ не́ было. Хорошо́ оде́тый молодо́й челове́к, уви́дя его́, подбежа́л к изво́зчику, сел поспе́шно и закрича́л: „пошёл"!... Смотри́тель за ни́м не погна́лся. Он реши́лся отпра́виться домо́й на свою́ ста́нцию, но пре́жде хоте́л хоть раз ещё уви́деть бе́дную свою́ Ду́ню. Для сего́, дня че́рез два, вороти́лся он к Ми́нскому; но вое́нный лаке́й сказа́л ему́ су́рово, что ба́рин никого́ не принима́ет, гру́дью вы́теснил его́ из пере́дней и хло́пнул две́ри ему́ под нос. Смотри́тель постоя́л, постоя́л, да и пошёл.

Вдруг промча́лись пе́ред ним щегольски́е дро́жки, и смотри́тель узна́л Ми́нского. Дро́жки останови́лись пе́ред трёхэта́жным до́мом, у са́мого подъе́зда, и гуса́р вбежа́л на крыльцо́. Счастли́вая мысль мелькну́ла в голове́ смотри́теля. Он вороти́лся и, поровня́вшись с ку́чером: „чья, брат, ло́шадь"? спроси́л он: „не Ми́нского ли?"—„То́чно так", отвеча́л ку́чер: „а что тебе́"?—„Да вот что: ба́рин твой приказа́л мне отнести́ к его́ Ду́не запи́сочку, а я и позабу́дь, где Ду́ня-то его́ живёт".—„Да вот здесь, во второ́м этаже́. Опозда́л ты, брат, с твое́й запи́ской; тепе́рь уж он сам у неё".—„Нужды́ нет, возрази́л смотри́тель с неизъясни́мым движе́нием се́рдца: спаси́бо, что надоу́мил, а я своё де́ло сде́лаю".

И с э́тим сло́вом пошёл он по ле́стнице. Две́ри бы́ли за́перты; он позвони́л. Прошло́ не́сколько секу́нд в тя́гостном для него́ ожида́нии. Ключ загреме́л; ему́ отвори́ли. „Здесь стои́т Авдо́тья Симео́новна“? спроси́л он.—„Здесь“, отвеча́ла молода́я служа́нка: „заче́м тебе́ её на́добно“? Смотри́тель, не отвеча́я, вошёл в за́лу.—„Нельзя́, нельзя́! закрича́ла ему́ вслед служа́нка: у Авдо́тьи Симео́новны го́сти“. Но смотритель, не слу́шая, шёл да́лее. Две пе́рвые ко́мнаты бы́ли тёмны, в тре́тьей был ого́нь. Он подошёл к раство́ренной две́ри и останови́лся. В ко́мнате, прекра́сно у́бранной, Ми́нский сиде́л в заду́мчивости. Ду́ня, оде́тая со все́ю ро́скошью мо́ды, сиде́ла на ру́чке его́ кре́сел, как нае́здница в своём а́нглийском седле́. Она́ с не́жностию смотре́ла на Ми́нского, нама́тывая чёрные его́ ку́дри на свои́ сверка́ющие па́льцы. Бе́дный смотри́тель! Никогда́ дочь его́ не каза́лась ему́ столь прекра́сною; он понево́ле е́ю любова́лся. „Кто там“? спроси́ла она́, не поднима́я головы́. Он всё молча́л. Не получа́я отве́та, Ду́ня подняла́ го́лову... и с кри́ком упа́ла на ковёр. Испу́ганный Ми́нский ки́нулся её поднима́ть и вдруг, увидя в дверя́х ста́рого смотри́теля, оста́вил Ду́ню и подошёл к нему́, дрожа́ от гне́ва. „Чего́ тебе́ на́добно“? сказа́л он ему́, сти́снув зу́бы: ты за мно́ю всю́ду кра́дешься, как разбо́йник? и́ли хо́чешь меня́ заре́зать? Пошёл вон!“ и, си́льной руко́ю схвати́в старика́ за́ во́рот, вы́толкнул его́ на ле́стницу.

Стари́к пришёл к себе́ на кварти́ру. Прия́тель его́ сове́товал ему́ жа́ловаться; но смотри́тель поду́мал, махну́л руко́й и реши́лся отступи́ться. Че́рез два дня отпра́вился он из Петербу́рга обра́тно на свою́ ста́нцию и опя́ть принялся́ за свою́ до́лжность. „Вот уже́ тре́тий год“, заключи́л он: „как живу́ я без Ду́ни и как об не́й нет ни слу́ху, ни ду́ху. Жива́ ли, нет ли, Бог её ве́дает. Вся́ко случа́ется. Не её пе́рвую, не её после́днюю смани́л прое́зжий пове́са, а там подержа́л да и бро́сил. Мно́го их в Петербу́рге, моло́деньких дур, сего́дня

в атла́се да в ба́рхате, а за́втра, погляди́шь, мету́т у́лицу вме́сте с го́лью каба́цкою. Как поду́маешь поро́ю, что и Ду́ня, мо́жетбыть, тут же пропада́ет, так поневоле согреши́шь, да пожела́ешь е́й моги́лы!!.. Тако́в был расска́з при́ятеля моего́, ста́рого смотри́теля, расска́з, неоднокра́тно прерыва́емый слеза́ми. Слёзы э́ти отча́сти возбуждены́ бы́ли пу́ншем, ко́его вы́тянул он пять стака́нов в продолже́ние своего́ повествова́ния; но как бы то ни́ было, оно́ си́льно тро́нуло моё се́рдце. С ним расста́вшись, до́лго не мог я забы́ть ста́рого смотри́теля, до́лго ду́мал я о бе́дной Ду́не...

Неда́вно ещё, проезжа́я че́рез месте́чко ***, я вспо́мнил о моём прия́теле; я узна́л, что ста́нция, над кото́рой он нача́льствовал, уже́ уничто́жена. На вопро́с мо́й: „жив-ли ста́рый смотри́тель“? никто́ не мог дать мне удовлетвори́тельного отве́та. Я реши́лся посети́ть знако́мую сто́рону, взял во́льных лошаде́й и пусти́лся в село́ Н. Это случи́лось о́сенью. Се́ренькие ту́чи покрыва́ли небо; холо́дный ве́тер дул с пожа́тых поле́й, унося́ кра́сные и же́лтые листы́ со встре́чных дере́вьев. Я прие́хал в село́ при зака́те со́лнца и останови́лся у почто́вого до́мика. В се́ни вы́шла то́лстая ба́ба, и на вопро́сы мои́ отвеча́ла, что ста́рый смотри́тель с год, как по́мер, что в до́ме его́ посели́лся пивова́р, а что она́—жена́ пивова́ра. Мне ста́ло жаль мое́й напра́сной пое́здки и семи́ рубле́й, издер́жанных да́ром. — Отчего́-ж он у́мер? спроси́л я пивова́рову жену́.—Спился́, ба́тюшка, отвеча́ла она́.—А где его́ похорони́ли?—За око́лицей, по́дле поко́йной хозя́йки его́.—Нельзя́ ли довести́ меня́ до его́ моги́лы?—Почему́ же нельзя́? Эй, Ва́нька! по́лно тебе́ с ко́шкою вози́ться. Проводи́-ка ба́рина на кла́дбище, да укажи́ ему смотри́телеву моги́лу.

При э́тих слова́х, обо́рванный ма́льчик, ры́жий и криво́й, вы́бежал ко мне и то́тчас повёл меня́ за око́лицу.—Знал ты поко́йника? спроси́л я его́ доро́гой.—Как не зна́ть! Он вы́учил меня́ ду́дочки выре́зывать. Быва́ло идёт из кабака́,

а мы то за ним: „де́душка, де́душка! оре́шков!“ а он нас оре́шками и наделя́ет. Всё, быва́ло, с на́ми во́зится.—А проезжие вспомина́ют ли его́?—Да ны́не ма́ло прое́зжих; ра́зве заседа́тель завернёт, да тому́ не до мёртвых. Вот ле́том проезжа́ла ба́рыня, так та спра́шивала о ста́ром смотри́теле и ходи́ла к нему́ на моги́лу.—Кака́я ба́рыня? спроси́л я с любопы́тством.—Прекра́сная ба́рыня, отвеча́л мальчи́шка: е́хала она́ в каре́те в шесть лошаде́й, с тремя́ ма́ленькими барча́тами и с корми́лицей, и с чёрной мо́ською; и как ей сказа́ли, что ста́рый смотри́тель у́мер, так она́ запла́кала и сказа́ла де́тям: „сиди́те сми́рно, а я схожу́ на кла́дбище“. А я было вы́звался довести́ её. А ба́рыня сказа́ла: „я сама́ доро́гу зна́ю“. И дала́ мне пята́к серебро́м... така́я до́брая ба́рыня.

Мы пришли́ на кла́дбище, го́лое ме́сто, ничём не огражде́нное, усе́янное деревя́нными креста́ми, не осенёнными не еди́ным деревцо́м. От ро́ду не вида́л я тако́го печа́льного кла́дбища.—„Вот моги́ла ста́рого смотри́теля“, сказа́л мне ма́льчик, вспрыгну́в на гру́ду песку́, в кото́рую врыт был чёрный крест с ме́дным о́бразом.—„И ба́рыня приходи́ла сюда́“? спроси́л я.—„Приходи́ла“, отвеча́л Ва́нька: я смотре́л на неё и́здали. Она́ легла́ здесь и лежа́ла до́лго. А там ба́рыня пошла́ в село́ и призвала́ попа́, дала́ ему́ де́нег и пое́хала, а мне дала́ пята́к серебро́м.... сла́вная ба́рыня“! И я дал мальчи́шке пятачёк и не жале́л уже́ ни о пое́здке, ни о семи́ рубля́х, мно́ю истра́ченных.

А. С. Пу́шкин.

Во мне́нии моём—مینم ئۆیمچا
Холо́п—حزمەتچی، قۇل
Сли́вки—سۇت ئۇستی، قایماق
Коке́тка—کشنگە ئۇحشارغا ترشوچی حاتن-قز
Пунш—ئۆچملك سالنغان چەی، تۇرلی ئەچكلتم ئەیبرلەردەن یاسالغان ئۆچملك
Небреже́ние—سانلاماو

Подоро́жная—يازو ـ بيرلگەن ئۇچن يۇرو ئۇتۇرب ئاتۇنا قازنا

Леле́ял—تەربيەلەدى، ئيرلەدى، قەدرلەدى

От беды́ не отбожи́ться—بالادەن قاچا ئالماسلك

Ло́шади все бы́ли в разго́не—ئاتلار باردا قولودا ئيدىلەر

Возвы́сил го́лос—تاوش كوتەردى

Гуса́р—ماجار كييمندەگى ئاتلى سالدات

Лимона́д—ليماناد ـ ليمونلى ئچملك

Пощу́пал пульс—تامر قارادى

Визи́т—زييارەت قيلو، چاقرميچا قوناققا كيلو

Ели с больши́м аппети́том—قور ئيشتيها بلەن ئاشادىلار

Обе́дня—كۈندزگى عيبادەت

Облучёк—كوچر ئولترا تۇرغان ئورن

Се́рдце на́чало ныть—يۈرەك بزلى باشلادى

В огра́де—قۇيما ئچندە

На па́перти—چيركەونك ئالداغى بولمەسندە

По ве́тренности молоды́х лет—يەشلك يولەرلگى بلەن

Хмелён—ئيسرك

Сообража́я все обстоя́тельства—بارچا حاللارنى ئويلاب

Боле́знь была́ притво́рная—ئاورووى يالغان ئيدى

Занемо́г—ئاوردى

Горя́чка—тиф—تيف ـ تير ئاوروى

Дальнови́дность—يراقدان كورو

Ро́тмистр—بۇرنغى ئافيتسار، روتميستر

Заблу́дшая ове́чка—ئوز ئۆميدن يوغالتقان سارق

Лаке́й—لاكى، يۇرت خاديمى

Почива́ет—يۇقلى

Скуфья́—پوپلار بورگى

Се́рдце закипе́ло—يۈرەك قاينى باشلادى

В кра́йнем замеша́тельстве—چيتنلكنك چيگندە

Отвы́кла от пре́жнего состоя́ния—

ئوزنك ئلگى تۇرمشن ئونتدى

Обшла́г рукава́—جیك یاقاسی

Ассигна́ция—روسییەدەگی ئیسکی کەعەز ئاقچا

Слёзы негодова́ния—ئاچولانو (نارازیلق) یەشلەری

Суро́во—قاتی، شیدەتلی

Щегольскíе дро́жки—زیننەتلی ئاربا

Под‘е́зд—قولتقسا

А я и позабу́дь=а я и позабыл.—هەم مین ئونتدم

Возразíл... с неиз‘яснимым движе́нием се́рдца—
کوکلدەگن سویلەمیچە (تنچ) جاواب بیردی

Надоу́мил—ئاقلعا ئوترتدی، ئویرەتدی

Тя́гостное ожида́ние—ئاور کوتو

Оде́тая со всéю ро́скошью мо́ды—
بای هەم بیزەکلی مودالەر بلەن کیینگەن

Нае́здница—ئات ئوستندە باروچی خاتن

Во́рот—بیشمەت یاقاسی

Заключíл он—ئەیتب بتردی، سوزنڭ ئاخرن ئەیتدی

Нет ни слу́ху, ни ду́ху—تاوش، تن یوق

Пове́са—ئەخلاقسز

Атла́с—ئاتلاس

Ба́рхат—خەتفە، بارخت

Голь каба́цкая—ئیسرك

Вы́тянул=вы́пил—ئچدی، سوزدی،

Решíлся посетíть—کیتەرگە تلەدی

Спился́—ئیسردی

Око́лица—ئاول تیرەسی

Заседа́тель—تورە

Мо́ська—کچکنە ئت

Гру́да—ئویم، تورکچە

Ме́дный о́браз—جیز ئیکون

Старосве́тские поме́щики.

Я о́чень люблю́ скро́мную жизнь тех уедине́нных владе́телей отдалённых дереве́нь, кото́рых в Малоро́ссии обыкнове́нно называ́ют „старосве́тскими“, кото́рые, как дря́хлые живопи́сные до́мики, хороши́ свое́ю простото́ю и соверше́нною противополо́жностью с но́вым, гла́деньким строе́нием, кото́рого стен не промы́л ещё дождь, кры́ши не покры́ла зелёная пле́сень и лишённое штукату́рки крыльцо́ не выка́зывает свои́х кра́сных кирпиче́й. Я иногда́ люблю́ сойти́ на мину́ту в сфе́ру э́той необыкнове́нно уединённой жи́зни, где ни одно́ жела́ние не перелета́ет за частоко́л, окружа́ющий небольшо́й дво́рик, за плете́нь са́да, напо́лненного я́блонями и сли́вами, за дереве́нские и́збы, его окружа́ющие, пошатну́вшиеся на́ сто́рону, осенённые ве́рбами, бузино́ю и гру́шами. Жизнь их скро́мных владе́телей так тиха́, так тиха́, что на мину́ту забыва́ешься и ду́маешь, что стра́сти, жела́ния и неспоко́йные порожде́ния зло́го ду́ха, возмуща́ющие мир, во́все не существу́ют, и ты их ви́дел то́лько в блестя́щем, сверка́ющем сновиде́нии.

Я до сих пор не могу́ позабы́ть двух старичко́в проше́дшего ве́ка, кото́рых—увы́!—тепе́рь уже́ нет, но душа́ моя́ полна́ ещё до сих пор жа́лости, и чу́вства мои́ стра́нно сжима́ются, когда́ вообража́ю себе́, что прие́ду со вре́менем опя́ть на их пре́жнее, ны́не опусте́лое жили́ще и увижу ку́чу развали́вшихся хат, загло́хший пруд, заро́сший ров на том ме́сте, где стоя́л ни́зенький до́мик—и ничего бо́лее. Гру́стно! мне зара́нее гру́стно! Но обрати́мся к расска́зу.

Аѳана́сий Ива́нович Товстогу́б и жена́ его́ Пульхе́рья Ива́новна Товстогу́биха, по выраже́нию окру́жных мужико́в, бы́ли те старики́, о кото́рых я на́чал расска́зывать.

Нельзя́ бы́ло гляде́ть без уча́стия на взаи́мную любо́вь. Они́ никогда́ не говори́ли друг дру́гу ты, но всегда́ вы: „вы, Афана́сий Ива́нович“; „вы, Пульхе́рия Ива́новна“. „Это вы

продави́ли стул, Афана́сий Ива́нович?“—„Ничего́, не серди́тесь, Пульхе́рия Ива́новна: э́то я“. Они́ никогда́ не име́ли дете́й, и оттого́ вся привя́занность их сосредото́чивалась на них же сами́х. Когда́-то, в мо́лодости, Афана́сий Ива́нович служи́т в кампане́йцах[1]), был по́сле секу́нд-майо́ром; но э́то уже́ бы́ло о́чень давно́; уже́ прошло́; уже́ сам Афана́сий Ива́нович почти́ никогда́ не вспомина́л об э́том. Афана́сий Ива́нович жени́лся тридцати́ лет, когда́ был молодцо́м и носи́л ши́тый камзо́л; он да́же увёз дово́льно ло́вко Пульхе́рию Ива́новну, кото́рую ро́дственники не хоте́ли отда́ть за него́; но и об э́том уже́ он о́чень ма́ло по́мнил, по кра́йней ме́ре никогда́ не говори́л.

Он всегда́ слу́шал с прия́тною улы́бкою госте́й, приезжа́вших к нему́; иногда́ и сам говори́л, но бо́льше расспра́шивал. Он не принадлежа́л к числу́ тех старико́в, кото́рые надоеда́ют ве́чными похвала́ми ста́рому вре́мени и́ли порица́ниями но́вого: он, напро́тив, расспра́шивая вас, пока́зывал большо́е любопы́тство и уча́стие к обстоя́тельствам ва́шей со́бственной жи́зни, уда́чам и неуда́чам, кото́рыми обыкнове́нно интересу́ются все до́брые старики́, хотя́ оно́ не́сколько похо́же на любопы́тство ребёнка, кото́рый в то вре́мя, когда́ говори́т с ва́ми, рассма́тривает печа́тку ва́ших часо́в. Тогда́ лицо́ его́, мо́жно сказа́ть, дыша́ло доброто́ю.

Ко́мнаты до́мика, в кото́ром жи́ли на́ши старички́, бы́ли ма́ленькие, ни́зенькие, каки́е обыкнове́нно встреча́ются у старосве́тских люде́й. В ка́ждой ко́мнате была́ огро́мная печь, занима́вшая почти́ тре́тью часть её. Ко́мнатки э́ти бы́ли ужа́сно теплы́, потому́ что и Афана́сий Ива́нович и Пульхе́рия Ива́новна о́чень люби́ли теплоту́. То́пки их бы́ли все проведены́ в се́ни, всегда́ почти́ до са́мого потолка́ напо́лненные соло́мою, кото́рую обыкнове́нно употребля́ют в Малоро́ссии вме́сто дров. Треск э́той горя́щей соло́мы и осве-

---

[1]) Компане́йцы—малоросси́йская кавале́рия.

ще́ние де́лают се́ни чрезвыча́йно прия́тными в зи́мний ве́чер, когда́ пы́лкая молодёжь, прозя́бнувши от пресле́дования за како́й-нибу́дь смугля́нкой, вбега́ет в них, похло́пывая в ладо́ши. Сте́ны ко́мнаты бы́ли у́браны не́сколькими карти́нами и карти́нками в стари́нных у́зеньких ра́мах. Пол почти́ во всех ко́мнатах был гли́няный, но так чи́сто вы́мазанный и содержа́вшийся с тако́ю опря́тностию, с како́ю, ве́рно, не соде́ржится ни оди́н паркет в бога́том до́ме, лени́во подмета́емом невы́спавшимся господи́ном в ливре́е.

Ко́мната Пульхе́рии Ива́новны была́ вся уста́влена сундука́ми, я́щиками, я́щичками и сундучё́чками. Мно́жество узелко́в и мешко́в с семена́ми цвето́чными, огоро́дными, арбу́зными висе́ли по стена́м. Мно́жество клубко́в с разноцве́тною ше́рстью, лоскутко́в стари́нных пла́тьев, ши́тых за полстоле́тия, бы́ли укла́дены по угла́м в сундучка́х и между́ сундучка́ми. Пульхе́рия Ива́новна была́ больша́я хозя́йка и собира́ла всё, хотя́ иногда́ сама́ не зна́ла, на что оно́ пото́м употреби́тся. Но са́мое замечательное в до́ме бы́ли пою́щие две́ри. Как то́лько настава́ло у́тро, пе́ние раздава́лось по всему́ до́му. Я не могу́ сказа́ть, отчего́ они́ пе́ли: перержа́вевшие ли пе́тли бы́ли тому́ вино́ю, и́ли сам меха́ник, де́лавший их, скрыл в них како́й-нибу́дь секре́т; но замеча́тельно то, что ка́ждая дверь име́ла свой осо́бенный го́лос: дверь, веду́щая в спа́льню, пе́ла са́мым то́неньким ди́скантом, дверь в столо́вую хрипе́ла ба́сом; но та, кото́рая была́ в сеня́х, издава́ла како́й-то стра́нный, дребезжа́щий и, вме́сте, сто́нущий звук, так что, вслу́шиваясь в него́, о́чень я́сно, наконе́ц, слы́шалось: „Ба́тюшки, я зя́бну"! Я зна́ю, что мно́гим о́чень не нра́вится э́том звук; но я его́ о́чень люблю́, и е́сли мне случи́тся иногда́ здесь услы́шать скрип двере́й, тогда́ мне вдруг так и запа́хнет дере́внею: ни́зенькой ко́мнаткой, озарё́нной све́чкой в стари́нном подсве́чнике; у́жином, уже́ стоя́щим на столе́; ма́йскою тё́мною но́чью, гля́дящею из са́да сквозь растворе́нное окно́ на стол, уста́в-

ленный приборами; соловьём, который обдаёт сад, дом и дальнюю реку своими раскатами; страхом и шорохом ветвей... и, боже! какая длинная навевается мне тогда вереница воспоминаний! Стулья в комнате были деревянные, массивные, какими обыкновенно отличается старина; они были все с высокими выточенными спинками в натуральном виде, без всякого лака и краски; они не были даже обиты матернею и были несколько похожи на те стулья, на которые и доныне садятся архиереи. Треугольные столики по углам, четырехугольные перед диваном и зеркалом в тоненьких золотых рамах, выточенных листьями, которые мухи усеяли чёрными точками; перед диваном ковёр с птицами, похожими на цветы, и цветами, похожими на птицу: вот всё почти убранство невзыскательного домика, где жили мои старики.

Девичья была набита молодыми и немолодыми девушками в полосатых исподницах, которым иногда Пульхерия Ивановна давала шить какие-нибудь безделушки и заставляла чистить ягоды, но которые большею частию бегали на кухню и спали. Пульхерия Ивановна почитала необходимостью держать их в доме и строго смотреть за их нравственностию; но к чрезвычайному её удивлению не проходило нескольких месяцев, чтобы у которой-нибудь из её девушек стан не делался гораздо полнее обыкновенного. Тем более это казалось удивительно, что в доме почти никого не было из холостых людей, включая разве только комнатного мальчика, который ходил в сером полуфраке с босыми ногами, и если не ел, то уж, верно, спал. Пульхерия Ивановна обыкновенно бранила виновную и наказывала строго, чтобы вперёд этого не было.

На стёклах окон звенело страшное множество мух, которых всех покрывал толстый бас шмеля, иногда сопровождаемый пронзительными визжаниями ос; но, как только подавали свечи, вся эта ватага отправлялась на ночлег и покрывала чёрною тучею весь потолок.

Афана́сий Ива́нович о́чень ма́ло занима́лся хозя́йством, хотя́, впро́чем, иногда́ е́здил к косаря́м и жнеца́м и смотре́л дово́льно при́стально на и́х рабо́ту; всё бре́мя правле́ния лежа́ло на Пульхе́рии Ива́новне. Хозя́йство Пульхе́рии Ива́новны состоя́ло в беспреста́нном отпира́нии и запира́нии кладово́й, в соле́нии, суше́нии, варе́нии бесчи́сленного мно́жества фру́ктов и расте́ний. Её дом был соверше́нно похо́ж на хими́ческую лаборато́рию. Под я́блонею ве́чно был разло́жен ого́нь, и никогда́ почти́ не снима́лся с желе́зного трено́жника котёл или ме́дный таз с варе́ньем, желе́, пастило́ю, де́ланными на меду́, на са́харе и не по́мню ещё на чём. Под други́м де́ревом ку́чер ве́чно перегоня́л в ме́дном ле́мбике во́дку на пе́рсиковые ли́стья, на черёмуховый цвет, на золоты́сячник, на вишнёвые ко́сточки, и к концу́ э́того проце́сса соверше́нно не был в состоя́нии повороти́ть языко́м, болта́л тако́й вздор, что Пульхе́рия Ива́новна ничего́ не могла́ поня́ть, и отправля́лся на ку́хню спать. Всей э́той дря́ни нава́ривалось, насо́ливалось, насу́шивалось тако́е мно́жество, что, вероя́тно, она́ потопи́ла бы, наконе́ц, весь двор (потому́ что Пульхе́рия Ива́новна всегда́, сверх расчи́сленного на потребле́ние, люби́ла приготовля́ть ещё на запа́с), е́сли бы бо́льшая полови́на э́того не с'еда́лась дворо́выми де́вками, кото́рые, забира́ясь в кладову́ю, так ужа́сно там об'еда́лись, что це́лый день стона́ли и жа́ловались на животы́ свои́.

В хлебопа́шество и про́чие хозя́йственные статьи́ вне двора́ Пульхе́рия Ива́новна ма́ло име́ла возмо́жности входи́ть. Прика́зчик, соедини́вшись с во́йтом, обкра́дывали немилосе́рдным о́бразом. Они́ завели́ обыкнове́ние входи́ть в госпо́дские леса́, как в свои́ со́бственные, наде́лывали мно́жество сане́й и продава́ли их на бли́жней я́рмарке; кро́ме того́, все то́лстые ду́бы они́ продава́ли на сруб для ме́льниц сосе́дним каза́кам. Оди́н то́лько раз Пульхе́рия Ива́новна пожела́ла обревизова́ть свои́ леса́. Для э́того

бы́ли запряжены́ дро́жки, с огро́мными ко́жаными фа́ртуками, от кото́рых, как то́лько ку́чер встря́хивал вожжа́ми и ло́шади, служи́вшие ещё в мили́ции, тро́гались с своего́ ме́ста, во́здух наполня́лся стра́нными зву́ками, так что вдруг бы́ли слы́шны и фле́йта, и бу́бны, и бараба́н; ка́ждый гво́здик и желе́зная скоба́ звене́ли до того́, что во́зле са́мых ме́льниц бы́ло слы́шно, как па́ни выезжа́ла со двора́, хотя́ э́то расстоя́ние бы́ло не ме́нее двух вёрст. Пульхе́рия Ива́новна не могла́ не заме́тить стра́шного опустоше́ния в лесу́ и поте́ри тех дубо́в, кото́рые она́ ещё в де́тстве знава́ла столе́тними.

„Отчего́ э́то у тебя́, Ничи́пор“, сказа́ла она́, обратя́сь к своему́ прика́зчику, тут же находи́вшемуся: „дубки́ сде́лались так ре́дкими? Гляди́, что́бы у тебя́ во́лосы на голове́ не ста́ли ре́дки“.

„Отчего́ ре́дки“? говаривал обыкнове́нно прика́зчик: „пропа́ли! Та́к-таки совсе́м пропа́ли: и гро́мом поби́ло, и че́рви проточи́ли—пропа́ли, па́ни, пропа́ли“.

Пульхе́рия Ива́новна соверше́нно удовлетворя́лась э́тим отве́том и, прие́хавши домо́й, дава́ла повеле́ние удво́ить то́лько стра́жу в саду́ о́коло шпа́нских ви́шен и больши́х зи́мних дуль.

Э́ти досто́йные прави́тели, прика́зчик и во́йт, нашли́ во́все изли́шним привози́ть всю муку́ в ба́рские амба́ры, а что с бар бу́дет дово́льно и полови́ны; наконе́ц и э́ту полови́ну привози́ли они́ запле́сневшую или подмо́ченную, кото́рая была́ обрако́вана на я́рмарке. Но ско́лько ни обкра́дывали прика́зчик и во́йт; как ни ужа́сно жра́ли все в дворе́, начина́я от клю́чницы до свине́й, кото́рые истребля́ли стра́шное мно́жество слив и я́блок, и ча́сто со́бственными мо́рдами толка́ли де́рево, что́бы стряхну́ть с него́ це́лый дождь фру́ктов; ско́лько ни клева́ли их воробьи́ и воро́ны; ско́лько вся дво́рня ни носи́ла гости́нцев свои́м кумовья́м в други́е дере́вни и да́же таска́ла из амба́ров

старые полотна и пряжу, что все обращалось к всемирному источнику, т.-е. к шинку; сколько ни крали гости, флегматические кучера и лакеи; но благословенная земля производила всего в таком множестве, Афанасию Ивановичу и Пульхерии Ивановне так мало было нужно, что все эти страшные хищения казались вовсе незаметными в их хозяйстве.

Оба старичка, по старинному обычаю старосветских помещиков, очень любили покушать. Как только занималась заря (они всегда вставали рано) и как только двери заводили свой разноголосный концерт, они уже сидели за столиком и пили кофе. Напившись кофе, Афанасий Иванович выходил в сени и, встряхнувши платок, говорил: „Киш, киш! пошли, гуси, с крыльца“! На дворе ему обыкновенно попадался приказчик. Он, по обыкновению, вступал с ним в разговор, расспрашивал о работах с величайшею подробностью и такие сообщал ему замечания и приказания, которые удивили бы всякого необыкновенным познанием хозяйства, и какой-нибудь новичок не осмелился бы и подумать, чтобы можно было украсть у такого зоркого хозяина. Но приказчик его был обстрелянная птица: он знал, как нужно отвечать, а еще более, как нужно хозяйничать.

После этого Афанасий Иванович возвращался в покои и говорил, приблизившись к Пульхерии Ивановне: „А что, Пульхерия Ивановна, может-быть, пора закусить чего-нибудь“?

„Чего же бы теперь, Афанасий Иванович, закусить? разве коржиков с салом или пирожков с маком, или, может-быть, рыжиков соленых“?

„Пожалуй, хоть и рыжиков или пирожков“, отвечал Афанасий Иванович,—и на столе вдруг являлась скатерть с пирожками и рыжиками.

За час до обеда Афанасий Иванович закусывал снова,

выпивал старинную серебряную чарку водки, заедал грибками, разными сушёными рыбками и прочим. Обедать садились в двенадцать часов. Кроме блюд и соусников, на столе стояло множество горшочков с замазанными крышками, чтобы не могло выдохнуться какое-нибудь аппетитное изделие старинной вкусной кухни. За обедом обыкновенно шёл разговор о предметах самых близких к обеду.

„Мне кажется, как будто эта каша“, говаривал обыкновенно Афанасий Иванович: „немного пригорела. Вам этого не кажется, Пульхерия Ивановна“?

„Нет, Афанасий Иванович; вы положите побольше масла, тогда она не будет казаться пригорелою, или вот возьмите этого соуса с грибками и подлейте к ней.

„Пожалуй“, говорил Афанасий Иванович, подставляя свою тарелку: „попробуем, как оно будет“.

После обеда Афанасий Иванович шёл отдохнуть один часик, после чего Пульхерия Ивановна приносили разрезанный арбуз и говорила: „Вот, попробуйте, Афанасий Иванович, какой хороший арбуз“.

„Да вы не верьте, Пульхерия Ивановна, что он красный в средине“, говорил Афанасий Иванович, принимая порядочный ломоть: „бывает, что и красный, да нехороший“.

Но арбуз немедленно исчезал. После этого Афанасий Иванович съедал ещё несколько груш и отправлялся погулять по саду вместе с Пульхерией Ивановной. Пришедши домой, Пульхерия Ивановна отправлялась по своим делам, а он садился под навесом, обращённым к двору, и глядел, как кладовая беспрестанно показывала и закрывала свою внутренность, и девки, толкая одна другую, то вносили, то выносили кучу всякого дрязгу в деревянных ящиках, решетах, ночёвках и в прочих фруктохранилищах. Немного погодя, он посылал за Пульхерией Ивановной или сам отправлялся к ней и говорил: „Чего бы такого поесть мне, Пульхерия Ивановна“?

„Чегó же бы такóго“? говорúла Пульхéрия Ивáновна: „рáзве я пойдý скажý, чтóбы вам принеслú варéников с я́годами, котóрых приказáла я нарóчно для вас остáвить“?

„И то дóбре“, отвечáл Афанáсий Ивáнович.

„Или, мóжет-быть, вы с‘éли бы кисéлику“?

„И то хорошó“ отвечáл Афанáсий Ивáнович. Пóсле чегó всё э́то немéдленно бы́ло приносúмо, и, как вóдится, с‘едáемо.

Пéред у́жином Афанáсий Ивáнович ещё кóе-чегó закýсывал. В половúне деся́того садúлись у́жинать. Пóсле у́жина тóтчас отправля́лись опя́ть спать, и всеóбщая тишинá водворя́лась в э́том дéятельном и вмéсте спокóйном уголкé.

Кóмната, в котóрой спáли Афанáсий Ивáнович и Пульхéрия Ивáновна, былá так жаркá, что рéдкий был бы в состоя́нии остáться в нéй нéсколько часóв; но Афанáсий Ивáнович ещё сверх тогó, чтóбы бы́ло теплéе, спал на лежáнке, хотя́ сúльный жар чáсто заставля́л егó нéсколько раз вставáть средú нóчи и прохáживаться по кóмнате. Иногдá Афанáсий Ивáнович, хóдя по кóмнате, стонáл.

Тогдá Пульхéрия Ивáновна спрáшивала: „Чего вы стóнете, Афанасий Ивáнович“?

„Бог егó знáет, Пульхéрия Ивáновна; как бýдто немнóго живóт болúт“, говорúл Афанáсий Ивáнович.

„А не лýчше ли вам чегó-нибýдь с‘есть, Афанáсий Ивáнович“?

„Не знáю, бýдет ли онó хорошó, Пульхéрия Ивáновна! Впрóчем, чегó-ж бы такóго с‘есть?“

„Кúслого молочкá или жúденького узвáра с сушёными грýшами“.

„Пожáлуй, рáзве так тóлько попрóбовать“, говорúл Афанáсий Ивáнович. Сóнная дéвка отправля́лась ры́ться по шкапáм, и Афанáсий Ивáнович с‘едáл тарéлочку; пóсле чегó он обыкновéнно говорúл: „Тепéрь так как бýдто сдéлалось лéгче“.

Иногда́, е́сли бы́ло я́сное вре́мя и в ко́мнатах дово́льно тепло́ нато́плено, Афана́сий Ива́нович, развесели́вшись, люби́л пошути́ть над Пульхе́риею Ива́новною и поговори́ть о чём-нибудь посторо́ннем.

„А что, Пульхе́рия Ива́новна“, говори́л он: „е́сли бы вдруг загоре́лся дом наш, куда́ бы мы де́лись“?

„Вот э́то, Бо́же сохрани́!“ говори́ла Пульхе́рия Ива́новна крестя́сь.

„Ну, да, поло́жим, что дом наш сгоре́л, куда́ бы мы перешли́ тогда́“?

„Бог зна́ет, что́ вы говори́те, Афана́сий Ива́нович! Как мо́жно, что́бы дом мог сгоре́ть? Бог э́того не попу́стит“.

„Ну, а е́сли бы сгоре́л“?

„Ну, тогда́ бы мы перешли́ в ку́хню. Вы бы за́няли на вре́мя ту ко́мнатку, кото́рую занима́ет ключница“.

„А е́сли бы и ку́хня сгоре́ла“?

„Вот ещё! Бог сохрани́т от тако́го попуще́ния, что́бы вдруг и дом, и ку́хня сгоре́ли! Ну, тогда́ в кладову́ю, пока́мест вы́строился бы но́вый дом“.

„А е́сли бы и кладова́я сгоре́ла“?

„Бог зна́ет, что́ вы говори́те! Я и слу́шать вас не хочу́! Грех э́то говори́ть, и Бог нака́зывает за таки́е ре́чи“!

Но Афана́сий Ива́нович, дово́льный тем, что подшути́л над Пульхе́риею Ива́новною, улыба́лся, си́дя на своём сту́ле.

Но интере́снее всего́ каза́лись для меня́ старички́ в то вре́мя, когда́ быва́ли у них го́сти. Тогда́ всё в их до́ме принима́ло друго́й вид. Эти до́брые лю́ди, мо́жно сказа́ть, жи́ли для госте́й. Всё, что́ у них ни бы́ло лу́чшего, всё э́то выноси́лось. Они́ напереры́в стара́лись угости́ть вас всем, что́ то́лько производи́ло их хозя́йство. Но бо́лее всего́ прия́тно мне бы́ло то, что во все́й их услу́жливости не́ было никако́й при́торности. Это раду́шие и гото́вность

так кро́тко выража́лись на их ли́цах, так шли к ним, что гость понево́ле соглаша́лся на их про́сьбы. Они́ бы́ли сле́дствие чи́стой, я́сной простоты́ их до́брых, безхи́тростных душ. Гость никаки́м о́бразом не́ был отпуска́ем в тот же день: он до́лжен был непреме́нно переночева́ть.

„Как мо́жно тако́ю по́зднею поро́ю отправля́ться в таку́ю да́льнюю доро́гу!“ всегда́ говори́ла Пульхе́рия Ива́новна. (Гость обыкнове́нно жил в трёх и́ли в четырёх верста́х от них).

„Коне́чно“, говори́л Афана́сий Ива́нович: „неравно́ вся́кого слу́чая: нападу́т разбо́йники или друго́й недо́брый челове́к“.

„Пусть бог ми́лует от разбо́йников!“ говори́ла Пульхе́рия Ива́новна. „И к чему́ расска́зывать э́такое на́ ночь? Разбо́йники, не разбо́йники, а вре́мя тёмное, не годи́тся совсе́м е́хать. Да и ваш ку́чер... я зна́ю ва́шего ку́чера: он тако́й тенди́тный, да ма́ленький; его́ вся́кая кобы́ла побьёт; да притом тепе́рь он уже́, ве́рно, наклю́кался и спит где-нибу́дь“.

И гость до́лжен был непреме́нно оста́ться; но, впро́чем, ве́чер в ни́зенькой, тёплой ко́мнате, раду́шный, гре́ющий и усыпля́ющий расска́з, несу́щийся пар от по́данного на стол ку́шанья, всегда́ пита́тельного и мастерски́ изгото́вленного, быва́л для него́ награ́дою. Я ви́жу, как тепе́рь, как Афана́сий Ива́нович, согну́вшись, сиди́т на сту́ле со всегда́шнею свое́ю улы́бкой и слу́шает со внима́нием и да́же наслажде́нием го́стя! Ча́сто речь заходи́ла и о поли́тике. Гость, то́же весьма́ ре́дко выезжа́вший из свое́й дере́вни, ча́сто, с значи́тельным ви́дом и таи́нственным выраже́нием лица́, выводи́л свои́ дога́дки и расска́зывал, что францу́з та́йно согласи́лся с англича́нином вы́пустить опя́ть на Росси́ю Бонапа́рта, или про́сто разска́зывал о предстоя́щей войне́, и тогда́ Афана́сий Ива́нович ча́сто говори́л, как бу́дто не глядя́ на Пульхе́рию Ива́новну:

„Я сам ду́маю пойти́ на войну́; почему́-ж я не могу́ итти́ на войну́?“

„Вот уже́ и пошёл“! прерыва́ла Пульхе́рия Ива́новна. „Вы не ве́рьте ему́“, говори́ла она́, обраща́ясь к го́стю: где уже́ ему́, ста́рому, итти́ на войну́! Его́ пе́рвый солда́т застре́лит! Ей-бо́гу, застре́лит! Во́т та́к-таки прице́лится и застре́лит“.

„Что́-ж“, говори́л Афана́сий Ива́нович: „и я его́ застрелю́“.

„Вот слу́шайте то́лько, что́ он говори́т“! подхва́тывала Пульхе́рия Ива́новна: „куда́ ему́ итти́ на войну́! И писто́ли его́ давно́ уже́ заржа́вели и лежа́т в комо́ре. Если-б вы их ви́дели: там таки́е, что пре́жде ещё, не́жели вы́стрелят, разорвёт их по́рохом. И ру́ки себе́ поотобьёт, и лицо́ искале́чит, и наве́ки несча́стным оста́нется“!

„Что-ж“, говори́л Афана́сий Ива́нович: „я куплю́ себе́ но́вое вооруже́ние; я возьму́ са́блю или коза́цкую пи́ку“.

„Это всё вы́думки. Так вот вдруг придёт в го́лову, и начнёт расска́зывать“! подхва́тывала Пульхе́рия Ива́новна с доса́дою. „Я и зна́ю, что он шу́тит, а всё-таки неприятно слу́шать. Вот э́такое он всегда́ говори́т; иной раз слу́шаешь-слу́шаешь, да и стра̀шно ста́нет“.

Но Афана́сий Ива́нович, дово́льный тем, что не́сколько напуга́л Пульхе́рию Ива́новну, смея́лся, си́дя, согну́вшись, на своём сту́ле.

Вообще́ Пульхе́рия Ива́новна была́ чрезвыча́йно в ду́хе, когда́ быва́ли у них го́сти. До́брая стару́шка! она́ вся принадлежа́ла гостя́м. Я люби́л быва́ть у них, и хотя́ об‘еда́лся стра́шным о́бразом, как и все, гости́вшие у них, хотя́ мне э́то бы́ло о́чень вре́дно; одна́кож я всегда́ быва́л рад к ним е́хать. Впро́чем, я ду́маю, что не име́ет ли са́мый во́здух в Малоро́ссии како́го-то осо́бенного сво́йства, помога́ющего пищеваре́нию, потому́ что е́сли бы здесь взду́мал кто-нибу́дь таки́м о́бразом наку́шаться, то, без сомне́ния, вме́сто посте́ли, очути́лся бы лежа́щим на столе́.

До́брые старички́! Но повествова́ние моё приближа́ется к весьма́ печа́льному собы́тию, измени́вшему навсегда́ жизнь э́того ми́рного уголка́. Собы́тие э́то пока́жется тем бо́лее разйтельным, что произошло́ от са́мого малова́жного слу́чая. Но, по стра́нному устро́йству веще́й, всегда́ ничто́жные причи́ны роди́ли вели́кие собы́тия и, наоборо́т, вели́кие предприя́тия ока́нчивались ничто́жными сле́дствиями.

У Пульхе́рии Ива́новны была́ се́ренькая ко́шечка, кото́рая всегда́ почти́ лежа́ла, сверну́вшись клубко́м, у её ног. Пульхе́рия Ива́новна иногда́ её гла́дила и щекота́ла па́льцем по её ше́йке, кото́рую ба́лованная ко́шечка вытя́гивала как мо́жно вы́ше. Нельзя́ сказа́ть, что́бы Пульхе́рия Ива́новна сли́шком люби́ла её, но, про́сто, привяза́лась к ней, привы́кши её всегда́ ви́деть. Афана́сий Ива́нович, одна́кож, ча́сто подшу́чивал над тако́ю привя́занностью.

„Я не зна́ю, Пульхе́рия Ива́новна, что́ вы тако́го нахо́дите в ко́шке: на что́ она́? Если бы вы име́ли соба́ку, тогда́ бы друго́е де́ло: соба́ку мо́жно взять на охо́ту, а ко́шка на что́?

„Уж молчи́те, Афана́сий Ива́нович“, говори́ла Пульхе́рия Ива́новна: „вы лю́бите то́лько говори́ть, и бо́льше ничего́. Соба́ка нечистопло́тна, соба́ка нага́дит, соба́ка перебьёт всё, а ко́шка—ти́хое творе́ние, она́ нико́му не сде́лает зла“.

Впро́чем, Афана́сию Ива́новичу было всё равно, что ко́шки, что соба́ки; он для того́ то́лько говори́л так, что́бы немно́жко подшути́ть над Пульхе́рией Ива́новной.

За са́дом находи́лся у них большо́й лес, кото́рый был соверше́нно пощажён предприи́мчивым прика́зчиком, может быть оттого́, что стук топора́ доходил бы до са́мых уше́й Пульхе́рии Ива́новны. Он был глух, запу́щен, ста́рые древе́сные стволы́ были закры́ты разро́сшимся оре́шником и походи́ли на мохна́тые ла́пы голубе́й. В э́том лесу́ обита́ли ди́кие коты. Лесны́х ди́ких кото́в не до́лжно сме́шивать с

ге́ми удальца́ми, кото́рые бе́гают по кры́шам домо́в; находя́сь в города́х, они́, несмотря́ на круто́й нрав свой, гора́здо бо́лее цивилизо́ваны, не́жели обита́тели лесо́в. Это, напро́тив того́, бо́льшею ча́стью, наро́д мра́чный и ди́кий; они́ всегда́ хо́дят то́щие, худы́е, мяу́кают гру́бым, необрабо́танным го́лосом. Они́ подрыва́ются иногда́ подзе́мным хо́дом под са́мые амба́ры и краду́т са́ло; явля́ются да́же в са́мой ку́хне, прыгну́вши внеза́пно в растворённое окно́, когда́ заме́тят, что по́вар пошёл в бурья́н. Вообще́, никаки́е благоро́дные чу́вства им неизве́стны; они́ живу́т хи́щничеством и ду́шат ма́леньких воробьёв в са́мых их гнёздах. Эти коты́ до́лго обню́хивались сквозь дыру́ под амба́ром с кро́ткою ко́шечкою Пульхе́рии Ива́новны, и, наконе́ц, подмани́ли её, как отря́д солда́т подма́нивает глу́пую крестья́нку.

Пульхе́рия Ива́новна заме́тила пропа́жу ко́шки, посла́ла иска́ть её; но ко́шка не находи́лась. Прошло́ три дня; Пульхе́рия Ива́новна пожале́ла; наконе́ц во́все о ней позабы́ла. В оди́н день, когда́ она́ ревизова́ла свой огоро́д и возвраща́лась с на́рванными свое́ю руко́ю зелёными, све́жими огурца́ми для Афана́сия Ива́новича, слух её был поражён са́мым жа́лким мяу́каньем. Она́, как бу́дто по инсти́нкту, произнесла́: „кис, кис“! и вдруг из бурья́на вы́шла её се́ренькая ко́шка, худа́я, то́щая; заме́тно бы́ло, что она́ не́сколько уже́ дней не брала́ в рот никако́й пи́щи. Пульхе́рия Ива́новна продолжа́ла звать её, но ко́шка стоя́ла пе́ред не́ю, мяу́кала и не сме́ла подойти́ бли́зко; ви́дно бы́ло, что она́ о́чень одича́ла с того́ вре́мени. Пульхе́рия Ива́новна пошла́ вперёд, продолжа́я звать ко́шку, кото́рая боязли́во шла за не́ю до са́мого забо́ра. Наконе́ц, уви́девши пре́жние, знако́мые места́, вошла́ и в ко́мнату. Пульхе́рия Ива́новна то́тчас приказа́ла пода́ть ей молока́ и мя́са и, си́дя пе́ред не́ю, наслажда́лась жа́дностью бе́дной свое́й фавори́тки, с како́ю она́ глота́ла кусо́к за куско́м и хлеба́ла молоко́. Се́ренькая бегля́нка, почти́ в глаза́х её, растолсте́ла

и е́ла уже́ не так жа́дно. Пульхе́рия Ива́новна протяну́ла ру́ку, что́бы погла́дить её, но неблагода́рная, ви́дно, уже́ сли́шком сви́клась с хи́щными кота́ми, и́ли набрала́сь романи́ческих пра́вил, что бе́дность при любви́ лу́чше пала́т, а коты́ бы́ли голы́, как соколы́; как бы то ни́ было, она́ вы́прыгнула в око́шко, и никто́ из дворо́вых не мог пойма́ть её.

Заду́малась стару́шка. „Это смерть моя́ приходи́ла за мно́ю“! сказа́ла она́ сама́ себе́, и ничто́ не могло́ её разсе́ять. Весь день она́ была́ скучна́. Напра́сно Афана́сий Ива́нович шути́л и хоте́л узна́ть, отчего́ она́ так вдруг загрусти́ла: Пульхе́рия Ива́новна была́ безотве́тна, и́ли отвеча́ла соверше́нно не так, что́бы мо́жно бы́ло удовлетвори́ть Афана́сия Ива́новича. На друго́й день она́ заме́тно похуде́ла.

„Что́ э́то с ва́ми, Пульхе́рия Ива́новна? Уж не больны́ ли вы“?

„Нет, я не больна́, Афана́сий Ива́нович! Я хочу́ вам об‘яви́ть одно́ осо́бенное происше́ствие: я зна́ю, что я э́тим ле́том умру́: смерть моя́ уже́ приходи́ла за мно́ю“!

Уста́ Афана́сия Ива́новича как-то боле́зненно искриви́лись. Он хоте́л, одна́кож, победи́ть в душе́ свое́й гру́стное чу́вство и, улыбну́вшись, сказа́л: „бог зна́ет, что вы говори́те, Пульхе́рия Ива́новна! Вы, ве́рно, вме́сто деко́хта, что́ ча́сто пьёте, вы́пили пе́рсиковой“.

„Нет, Афана́сий Ива́нович, я не пила́ пе́рсиковой“, сказа́ла Пульхе́рия Ива́новна.

И Афана́сию Ива́новичу сде́лалось жа́лко, что он так пошути́л над Пульхе́рией Ива́новной, и он смотре́л на неё, и слеза́ повисла на его́ ресни́це.

„Я прошу́ вас, Афана́сий Ива́нович, что́бы вы испо́лнили мою́ во́лю“, сказа́ла Пульхе́рия Ива́новна. „Когда́ я умру́, то похорони́те меня́ во́зле церко́вной огра́ды. Пла́тье наде́ньте на меня́ се́ренькое, то, что́ с небольши́ми цвето́ч-

ками по кори́чневому по́лю. Атла́сного пла́тья, что́ с мали́новыми поло́сками, не надева́йте на меня́: мёртвой уже́ не ну́жно пла́тье—на что́ оно́ ей? А вам оно́ пригоди́тся: из него́ сошьёте себе́ пара́дный хала́т на слу́чай; когда́ прие́дут го́сти, то что́бы мо́жно бы́ло вам прили́чно показа́ться и приня́ть их".

„Бог зна́ет, что́ вы говори́те, Пульхе́рия Ива́новна!" говори́л Афана́сий Ива́нович: „когда́-то ещё бу́дет смерть, а вы уже́ страща́ете таки́ми слова́ми".

„Нет, Афана́сий Ива́нович, я уже́ зна́ю, когда́ моя́ смерть. Вы, одна́кож, не горю́йте за мно́ю: я уже́ старуха и дово́льно пожила́, да и вы уже́ ста́ры; мы ско́ро уви́димся на том све́те".

Но Афана́сий Ива́нович рыда́л, как ребёнок.

„Грех пла́кать, Афана́сий Ива́нович! Не греши́те и Бо́га не гневи́те свое́ю печа́лью. Я не жале́ю о то́м, что умира́ю; об одно́м то́лько жале́ю я (тяжёлый вздох прерва́л на мину́ту речь её): я жале́ю о том, что не зна́ю, на кого́ оста́вить вас, кто присмо́трит за ва́ми, когда́ я умру́. Вы— как дитя́ ма́ленькое: ну́жно, что́бы люби́л вас тот, кто бу́дет уха́живать за ва́ми". При э́том на лице́ её вы́разилась така́я глубо́кая, така́я сокруши́тельная серде́чная жа́лость, что я не зна́ю, мог ли бы кто-нибу́дь в то вре́мя гляде́ть на неё равноду́шно.

„Смотри́ мне, Явдо́ха", говори́ла она́, обраща́ясь к клю́чнице, кото́рую наро́чно веле́ла позва́ть: „когда́ я умру́, что́бы ты гляде́ла за па́ном, что́бы берегла́ его́, как гла́за своего́, как своё родно́е дитя́. Гляди́, что́бы на ку́хне гото́вилось то, что́ он лю́бит; что́бы бельё и пла́тье ты ему́ подава́ла всегда́ чи́стое; что́бы, когда́ го́сти случа́тся, ты принаряди́ла его́ прили́чно; а то, пожа́луй, он иногда́ вы́йдет в ста́ром хала́те, потому́ что и тепе́рь ча́сто позабыва́ет он, когда́ пра́здничный день, а когда́ бу́дничный. Не своди́ с него́ глаз, Явдо́ха; я бу́ду моли́ться за тебя́ на том

свéте, и Бог наградúт тебя́. Не забывáй же, Явдóха: ты ужé старá, тебé не дóлго жить — не набирáй грехá на дýшу. Когдá же не бýдешь за ним присмáтривать, то не бýдет тебé счáстия на свéте. Я самá бýду просúть Бóга, чтóбы не давáл тебé благополýчной кончúны. И самá ты бýдешь несчáстна, и дéти твоú бýдут несчáстны, и весь род ваш не бýдет имéть ни в чем благословéния бóжия".

Бéдная старýшка! онá в то врéмя не дýмала ни о тóй велúкой минýте, котóрая её ожидáет, ни о душé своéй, ни о бýдущей своéй жúзни: онá дýмала тóлько о бéдном своём спýтнике, с котóрым провелá жизнь и котóрого оставля́ла сúрым и бесприю́тным. Онá с необыкновéнною расторóпностью распорядúла всё такúм óбразом, чтóбы пóсле неё Афанáсий Ивáнович не замéтил её отсýтствия. Увéренность её в блúзкой своéй кончúне так былá сильнá, и сотоя́ние душú её так бы́ло к э́тому настрóено, что, действúтельно, чрез нéсколько дней она слеглá в постéль и не могла ужé принимáть никакóй пúщи. Афанáсий Ивáнович весь преврати́лся во внимáтельность и не отходúл от её постéли. „Может-быть, вы чегó-нибýдь бы покýшали, Пульхéрия Ивáновна?" говорúл он, с беспокóйством смотря́ в глазá ей. Но Пульхéрия Ивáновна ничегó не говорúла. Наконéц, пóсле дóлгого молчáния, как бýдто хотéла онá что-то сказáть, пошевелúла губáми — и дыхáние её улетéло.

Афанáсий Ивáнович был совершéнно поражён. Это так казáлось емý дúко, что он дáже не заплáкал; мýтными глазáми глядéл он на неё, как бы не понимáя значéния трýпа.

Покóйницу положúли на стол, одéли в то сáмое плáтье, котóрое онá самá назнáчила, сложúли ей рýки крестóм, дáли в рýки восковýю свечý — он на всё э́то глядéл бесчýвственно. Мнóжество нарóда вся́кого звáния наполнило двор; мнóжество гостéй приéхало на пóхороны; дли́нные столы́ расстáвлены бы́ли пó двору; кутья́, наливки, пирогú

покрывáли их кýчами. Гóсти говорúли, плáкали, глядéли на покóйницу, рассуждáли о её кáчествах, смотрéли на негó; но он сам на всё э́то глядéл стрáнно. Покóйницу понеслú, наконéц; нарóд повалúл слéдом, и он, пошёл за нéю. Свящéнники бы́ли в пóлном облачéнии, сóлнце светúло, грудны́е младéнцы плáкали на рукáх матерéй, жáворонки пéли, дéти в рубашóнках бéгали и резвúлись по дорóге. Наконéц, гроб постáвили над я́мой; емý велéли подойтú и поцеловáть в послéдний раз покóйницу. Он подошёл, поцеловáл; на глазáх егó показáлись слёзы, но какúе-то бесчýвственные слёзы. Гроб опустúли, свящéнник взял зáступ и пéрвый брóсил горсть землú; густóй протя́жный хор дьячкá и двух понамарéй пропéл вéчную пáмять под чúстым, безóблачным нéбом; рабóтники принялúсь за зáступы, и землá ужé покры́ла и сравня́ла я́му. В э́то врéмя он пробрáлся вперёд; все расступúлись, дáли емý мéсто, желáя знать егó намéрение. Он пóднял глазá свои́, посмотрéл смýтно и сказáл: „Так вот э́то вы ужé и погреблú её? зачéм“?!..... Он остановúлся и не докóнчил своéй рéчи.

Но когдá возвратúлся он домóй, когдá увúдел, что пýсто в егó кóмнате, что дáже стýл, на котóром сидéла Пульхéрия Ивáновна, был вы́несен, — он рыдáл, рыдáл сúльно, рыдáл неутéшно, и слёзы, как рекá, лилúсь из егó тýсклых очéй.

По истечéнии пятú лет пóсле смéрти Пульхéрии Ивáновны, я, бýдучи в тех местáх, заéхал в хуторóк Афанáсия Ивáновича навестúть моегó старúнного сосéда, у котóрого когдá-то приятно проводúл день и всегдá об'едáлся лýчшими издéлиями радýшной хозя́йки. Когдá я под'éхал ко дворý, дом мне показáлся вдвóе старéе; крестья́нские и́збы совсéм леглú нá-бок, без сомнéния, так же, как и владéльцы их; частокóл и плетéнь во дворé бы́ли совсéм разрýшены, и я вúдел сам, как кухáрка выдёргивала из негó

па́лки для зато́пки пе́чи, тогда́ как ей ну́жно бы́ло сде́лать то́лько два ша́га ли́шних, что́бы доста́ть тут же нава́ленного хво́росту. Я с гру́стью подъе́хал к крыльцу́; те же са́мые барбо́сы и бро́вки, уже́ слепы́е, или с перебиты́ми нога́ми, зала́яли, подня́вши вверх свои́ волни́стые, обве́шанные репе́йниками, хвосты́. Навстре́чу вы́шел стари́к. Так, э́то он! я то́тчас узна́л его́; но он согну́лся уже́ вдво́е про́тив пре́жнего. Он узна́л меня́ и приве́тствовал с то́ю же знако́мою мне улы́бкою. Я вошёл за ним в ко́мнаты. Каза́лось, всё бы́ло в них попре́жнему; но я заме́тил во всем како́й-то стра́нный беспоря́док, како́е-то ощути́тельное отсу́тствие чего́-то; сло́вом, я ощути́л в себе́ те стра́нные чу́вства, кото́рые овладева́ют на́ми, когда́ мы вступа́ем в пе́рвый раз в жили́ще вдовца́, кото́рого пре́жде зна́ли нераздо́льным с подру́гою, сопровожда́вшею его́ всю жизнь. Чу́вства э́ти быва́ют похо́жи на то, когда́ ви́дим пе́ред собо́ю без ноги́ челове́ка, кото́рого всегда́ зна́ли здоро́вым. Во всём ви́дно бы́ло отсу́тствие забо́тливой Пульхе́рии Ива́новны: за столо́м по́дали оди́н нож без черенка́; блю́да уже́ не́ были пригото́влены с таки́м иску́сством. О хозя́йстве я не хоте́л и спроси́ть, боя́лся да́же и взгляну́ть на хозя́йственные заведе́ния.

Когда́ мы се́ли за стол, де́вка завяза́ла Афана́сия Ива́новича салфе́ткою, и о́чень хорошо́ сде́лала, потому́ что без того́ он бы весь хала́т свой запа́чкал со́усом. Я стара́лся его́ чем-нибу́дь заня́ть и расска́зывал ему́ ра́зные но́вости; он слу́шал с то́ю же улы́бкою, но по времена́м взгля́д его́ был соверше́нно безчу́вствен, и мы́сли в нём не броди́ли, но исчеза́ли. Ча́сто поднима́л он ло́жку с ка́шею и, вме́сто того́, что́бы подноси́ть ко рту, подноси́л к но́су; ви́лку свою́, вме́сто того́, что́бы воткну́ть в кусо́к цыплёнка, он ты́кал в графи́н, и тогда́ де́вка, взя́вши его́ за́ руку, наводи́ла на цыплёнка. Мы иногда́ ожида́ли по не́скольку мину́т сле́дующего блю́да. Афана́сий Ива́нович

уже́ сам замеча́л э́то и говори́л: „Что́ э́то так до́лго не несу́т ку́шанья“? Но я ви́дел сквозь щель в дверя́х, что ма́льчик, разноси́вший нам блю́да, во́все не ду́мал о том и спал, све́сивши го́лову на скамью́.

„Вот э́то то́ ку́шанье“, сказа́л Афана́сий Ива́нович, когда по́дали нам мни́шки со смета́ною: „э́то то́ ку́шанье“, продолжа́л он, и я заме́тил, что го́лос его́ на́чал дрожа́ть и слеза́ гото́вилась вы́глянуть из его́ свинцо́вых глаз, но он собира́л все уси́лия, жела́я удержа́ть её: „это то́ ку́шанье, кото́рое по... по... поко́й... поко́йни“... и вдруг бры́знул слеза́ми; рука́ его́ упа́ла на таре́лку, таре́лка опроки́нулась, полете́ла и разби́лась; со́ус за́лил его́ всего́. Он сиде́л бесчу́вственно, бесчу́вственно держа́л ло́жку, и слёзы, как руче́й, как немо́лчно теку́щий фонта́н, лили́сь, лили́сь ливмя́ на застила́вшую его́ салфе́тку.

„Бо́же!“ ду́мал я, гля́дя на него́: „пять лет всеистребля́ющего вре́мени — стари́к уже́ бесчу́вственный, стари́к, кото́рого всю жизнь, каза́лось, ни ра́зу не возмуща́ло ни одно́ си́льное ощуще́ние души́, кото́рого вся жизнь, каза́лось, состоя́ла то́лко из сиде́ния на высо́ком сту́ле, из яде́ния сушёных ры́бок и груш, из доброду́шных расска́зов, — и така́я до́лгая, така́я жа́ркая печа́ль! Что́ же сильне́е над на́ми: страсть или привы́чка? Или́ все си́льные поры́вы, весь ви́хорь на́ших жела́ний и кипя́щих страсте́й есть то́лько сле́дствие на́шего я́ркого во́зраста, и то́лько потому́ одному́ ка́жутся глубоки́ и сокруши́тельны?“ Что́ бы ни́ было, но в э́то вре́мя мне каза́лись де́тскими все на́ши стра́сти про́тив э́той до́лгой, ме́дленной, почти́ бесчу́вственной привы́чки.

Он не до́лго по́сле того́ жил. Я неда́вно услы́шал об его́ сме́рти. Стра́нно, одна́коже, то, что обстоя́тельства кончи́ны его́ име́ли како́е-то схо́дство с кончи́ною Пульхе́рии Ива́новны. В оди́н день Афана́сий Ива́нович реши́лся немно́го пройти́сь по са́ду. Когда́ он ме́дленно шёл

по доро́жке, с обыкнове́нною своею беспе́чностью, во́все не име́я никако́й мы́сли, с ним случи́лось стра́нное происше́ствие. Он вдруг услы́шал, что позади́ его́ произнёс кто-то дово́льно я́вственным го́лосом: „Афана́сий Ива́нович!“ Он обороти́лся, но никого́ соверше́нно не́ было; посмотре́л во все сто́роны, загляну́л в кусты́—нигде́ никого́. День был тих, и со́лнце сия́ло. Он на мину́тку заду́мался; лицо́ его́ как-то оживи́лось, и он, наконе́ц, произнёс: „это Пульхе́рия Ива́новна зовёт меня́“!

Он весь покори́лся своему́ душе́вному убежде́нию, что Пульхе́рия Ива́новна зовёт его́; он покори́лся с во́лею послу́шного ребёнка, со́хнул, ка́шлял, та́ял, как све́чка, и, наконе́ц, уга́с так, как она́, когда́ уже́ ничего́ не оста́лось, что́ бы могло́ поддержа́ть бе́дное её пла́мя. „Положи́те меня́ во́зле Пульхе́рии Ива́новны“ — вот всё, что́ произнёс он пе́ред свое́ю кончи́ною.

Жела́ние его́ испо́лнили и похорони́ли во́зле це́ркви, близ моги́лы Пульхе́рии Ива́новны. Госте́й бы́ло ме́ньше на по́хоронах, но просто́го наро́да и ни́щих бы́ло тако́е же мно́жество. До́мик ба́рский уже́ сде́лался во́все пуст. Предприи́мчивый прика́зчик вме́сте с во́йтом перетащи́ли в свои́ и́збы все оста́вавшиеся стари́нные ве́щи и ру́хлядь, кото́рую не могла́ утащи́ть клю́чница. Ско́ро прие́хал, неизве́стно отку́да, како́й-то да́льний ро́дственник, насле́дник име́ния, служи́вший пре́жде пору́чиком, не по́мню в како́м полку́, стра́шный реформа́тор. Он уви́дел то́тчас велича́йшее расстро́йство и упуще́ние в хозя́йственных дела́х; всё э́то реши́лся он непреме́нно искорени́ть, испра́вить и ввести́ во всём поря́док. Накупи́л шесть прекра́сных англи́йских серпо́в, приколоти́л к ка́ждой избе́ осо́бенный но́мер и наконе́ц так хорошо́ распоряди́лся, что име́ние че́рез шесть ме́сяцев взя́то бы́ло в опе́ку. Му́драя опе́ка перевела́ в непродолжи́тельное вре́мя всех кур и все я́йца. Избы, почти́ совсе́м лежа́вшие на земле́, развали́лись во́все,

мужики распьянствовались и стали бо́льшею ча́стью чи́слиться в бега́х. Сам же настоя́щий владе́тель, кото́рый, впро́чем, жил дово́льно ми́рно с свое́ю опе́кою и пил вме́сте с не́ю пунш, приезжа́л о́чень ре́дко в свою́ дере́вню и прожива́л не до́лго. Он до сих пор е́здит по всем я́рмаркам в Малоро́ссии, тща́тельно осведомля́ется о це́нах на ра́зные больши́е произведе́ния, продающиеся о́птом, как-то: муку́, пеньку́, мёд и про́чее; но покупа́ет то́лько небольши́е безделу́шки, как-то: креме́шки, гвоздь, прочища́ть тру́бку, и вообще́ всё то, что́ не превыша́ет всем о́птом свои́м цены́ одного́ рубля́.

Н. В. Го́голь.

Старосве́тские поме́щики=по стари́нному живу́щие поме́щики, старомо́дные.

Живопи́сный=краси́вый.

Пле́сень—کوگدرگن

Сойти́.... в сфе́ру э́той.... жи́зни=пожи́ть в кругу́ э́той.... жи́зни.

Частоко́л=забо́р из то́нкого ле́са, поста́вленного стоймя́.

Стра́сти—си́льные чу́вства, напр.: за́висть, гнев, зло́ба.

Кото́рых—увы́!—тепе́рь уже́ нет=кото́рых, о горе, тепе́рь уже́ нет.

Чу́вства мои́ стра́нно сжима́ются, когда́ вообража́у себе́...=мне де́лается гру́стно, когда поду́маю...

Ха́та=изба́.

Ров=кана́ва.

Нельзя́ было гляде́ть без уча́стия=нельзя́ было гляде́ть споко́йно, равноду́шно.

Взаи́мная любо́вь=любо́вь друг к дру́гу.

Секу́нд-майо́р=стари́нный чин в вое́нной слу́жбе.

Порица́ние=вы́говор.

То́пка у пе́чи—отве́рстие у пе́чи, где кладу́т дрова́.

Смугля́нка—قارا تونقللى خاتن

Господи́н в ливре́е=лаке́й, слуга́.

Меха́ник=ма́стер.

Ди́сконт=то́нкий го́лос.

Бас=то́лстый, гру́бый го́лос.

Дребезжа́щий звук=شڭراوقلى خاتن

Раска́т соловья́=пе́ние соловья́.

Кака́я дли́нная навева́ется мне тогда́ верени́ца воспомина́ний=како́й дли́нный ряд воспомина́ний прихо́дит мне на па́мять.

Масси́вный=тяжёлый, большо́й.

Архиере́й=вы́сшее духо́вное лицо́ у христиа́н.

Невзыска́тельный до́мик=просто́й, небога́тый до́мик.

Де́вичья=ко́мната, где живу́т прислу́ги же́нщины.

Исподни́ца=ю́бка.

Полуфра́к=мужско́й костю́м.

Шмель=توُبلى تورا

Оса́=شوُبشه

Вата́га=толпа́.

Бре́мя правле́ния=забо́ты по управле́нию.

Желе́=ку́шанье из я́год и́ли плодо́в.

Пастила́=подсушёная лепёшка из я́год.

Лё́мбик=осо́бого устро́йства котело́к.

К концу́ э́того проце́сса=к концу́ рабо́ты, де́ла.

Дворо́вые де́вки=служа́нки по двору́.

Хозя́йственные статьи́=хозя́йственные дела́.

Войт=дереве́нский ста́роста.

Обревизова́ть=осмотре́ть, прове́рить.

Флейта, бубны и барабан=музыкальные инструменты.

Пани=госпожа; хозяйка.

Ничипор—по-малороссийски, а по великорусски—Никифор, собственное имя.

Черви проточили дубки=черви испортили дубки, и дубки сгнили.

Обракованная мука = негодная к употреблению мука.

Ключница—экономка; женщина, заведующая хозяйством.

Шинок=кабак; дом, где продают вино, пиво.

Флегматический=спокойный, хладнокровный.

Приказчик был обстрелянная птица=приказчик был ловкий человек, хитрый.

Покои=комнаты.

Коржики=сухие лепёшки из пшеничной муки, часто с салом.

Рыжики=грибы особенного рода.

Соус—подливка; жидкая приправа к кушанью.

Куча всякого дрязгу—куча всяких мелких вещей.

Вареники—пирожки с творогом, только варёные.

И то добре—и то хорошо.

Узвар=сушёные плоды (напр. яблоки), варёные в воде.

Приторный—излишне сладкий.

Радушие=ласка, приветливость, ласковое обращение.

Тендитный=малосильный.

Наклюкался=напился пьяным.

Бонапарт=так называли прежде Наполеона.

Пистоли=пистолеты; оружие вроде револьвера.

Комора=маленькая комната, где хранят вещи; чулан,

Пика—копьё.

Была в духе=была весёлая.

Разительное событие=необыкновенное дело, особенное, редкое.

Пощажён=оставлен в прежнем виде, в покое; не тронут.

Цивилизованы=образованны.

Бурьян=высокая, толстая, грубая травы, не годная для корма.

Как будто по инстинкту произнесла=как будто по привычке, не подумавши, невольно сказала.

Фаворитка=любимица; особенно любимая.

Набралась романических правил=привыкла, чтобы ухаживали мужчины.

Декохт—сок от сварёного лекарственного растения.

Явдоха — по-малорусски; по-великорусски — Евдокия, Авдотья.

Пан—господин; хозяин.

Сирый=сирота.

Кутья=рис, сварёный с мёдом.

Мнишки=кушанье из муки с творогом.

Из ра́нних лет[1]).

То́мно и однобра́зно шло́ для меня́ вре́мя в абба́тстве роди́тельского до́ма. Не́ было мне ни поощре́ний, ни рассе́яний, оте́ц мо́й был почти́ всегда́ мно́ю недово́лен; о́н ба́ловал меня́ то́лько лет до десяти́; това́рищей не́ было, учителя́ приходи́ли и уходи́ли; а я укра́дкой убега́л, провожа́я их на дво́р, поигра́ть с дворо́выми ма́льчиками, что бы́ло стро́го запрещено́. Остально́е вре́мя я скита́лся по больши́м почерне́лым ко́мнатам с закры́тыми о́кнами днём, едва́ освещёнными ве́чером, ничего́ не де́лая и́ли чита́я вся́кую вся́чину.

Пере́дняя и де́вичья составля́ли еди́нственное живо́е удово́льствие, кото́рое у меня́ остава́лось. Тут мне́ бы́ло соверше́нное раздо́лье, я бра́л па́ртию одни́х про́тив други́х, суди́л и ряди́л вме́сте с мои́ми прия́телями их дела́, зна́л все́ их секре́ты и никогда́ не проболта́лся в гости́нной о та́йнах пере́дней. Пере́дняя не сделала никако́го действи́тельно дурно́го влия́ния. Напро́тив, она́ с ра́нних лет развила́ во мне непреодоли́мую не́нависть ко вся́кому ра́бству и ко вся́кому произво́лу. Быва́ло, когда́ я ещё был ребёнком, Ве́ра Артамо́новна, жела́я меня́ си́льно оби́деть за каку́ю-нибу́дь ша́лость, гова́ривала мне: „Да́йте срок, вы́ростете, тако́й же ба́рин бу́дете, как други́е“. Меня́ э́то ужа́сно оскорбля́ло. Стару́шка мо́жет быть дово́льна: таки́м, как други́е, по кра́йне ме́ре, не сде́лался.

Сверх пере́дней и де́вичьей, бы́ло у меня́ ещё одно́ рассе́яние, и тут, по кра́йней ме́ре, не́ было мне поме́хи. Я люби́л чте́ние сто́лько же, ско́лько не люби́л учи́ться. Страсть к бес-

---

[1]) Расска́з э́тот принадлежи́т замеча́тельному ру́сскому писа́телю Алекса́ндру Ива́новичу Ге́рцену (1812—1870 г.). Ге́рцен пе́рвый ру́сский революцио́нный писа́тель социали́ст; он мно́го лет провёл в ссы́лке, а пото́м уеха́л в 1847 г. за грани́цу и оста́лся там до конца́ жизни́. Издава́л революцио́нные журна́лы „Поля́рная Звезда́“ и „Ко́локол“.

систе́мному чте́нию была́ вообще́ одни́м из гла́вных препя́тствий серьёзному уче́нию. Я, наприме́р, пре́жде и по́сле терпе́ть не мо́г теорети́ческого изуче́ния языко́в, но о́чень ско́ро выу́чивался кой-как понима́ть и болта́ть с грехо́м попола́м, и на э́том остана́вливался, потому́ что э́того бы́ло доста́точно для моего́ чте́ния. У отца́ моего́ была́ дово́льно больша́я библиоте́ка, соста́вленная из францу́зских книг проо́шлого столе́тия. Кни́ги валя́лись гру́дами в сыро́й, нежило́й ко́мнате ни́жнего этажа́ в до́ме Сена́тора[1]). Ключ был у Кало́[2]); мне бы́ло позво́лено ры́ться в э́тих литерату́рных закро́мах, ско́лько я хоте́л, и я чита́л себе́ да чита́л. Оте́ц мой ви́дел в э́том двойну́ю по́льзу: во-пе́рвых, что я скоре́е вы́учусь по-францу́зски, а сверх того́, что я за́нят, т. е. сижу́ сми́рно и, прито́м, у себя́ в ко́мнате. К тому́ же, я не все́ кни́ги пока́зывал и́ли клал у себя́ на столе́, ины́е пря́тались в шифонье́р.

Что́ же я чита́л? Са́мо собо́ю разуме́ется, рома́ны и коме́дии. Я прочёл то́мо́в пятьдеся́т францу́зского репертуа́ра и ру́сского теа́тра; в ка́ждой ча́сти бы́ло по́ три, по четы́ре пье́сы. Сверх францу́зских рома́нов у мое́й ма́тери бы́ли рома́ны Лафонте́на [3]), коме́дии Коцебу́ [4]); я их чита́л ра́за по́ два. Не могу́ сказа́ть, что́б рома́ны име́ли на меня́ большо́е влия́ние. Я броса́лся с жа́дностью на все́ двусмы́сленные и́ли не́сколько растрёпанные сце́ны, как все ма́льчики, но они́ не занима́ли меня́ осо́бенно. Гора́здо сильне́йшее влия́ние име́ла на меня́ пье́са, кото́рую я люби́л без ума́, перечи́тывал два́дцать раз и прито́м в ру́сском перево́де — „Сва́дьба Фигаро́“[5]). Я был влюблён в Херуби́ма [6]) и в графи́ню, и, сверх того́, я са́м был Херуби́м; у меня́ замира́ло

---

[1]) Сена́тор — так называ́ет Ге́рцен дя́дю.
[2]) Кало́ — слуга́ его́ дя́ди, францу́з.
[3]) Лафонте́н — францу́зский писа́тель.
[4]) Коцебу́ — неме́цкий писа́тель.
[5]) „Сва́дьба Фигаро́“ — коме́дия францу́зского писа́теля Бомарше́.
[6]) Херуби́м — оди́н из геро́ев э́той коме́дии.

сéрдце при чтéнии и, не давáя себé никакóго отчёта, я чýвствовал какóе-то нóвое ощущéние. Как упои́тельна казáлась мне сцéна, где пáжа одевáют в жéнское плáтье; мнé стрáшно хотéлось спря́тать на груди́ чью-нибýдь лéнту и тайкóм целовáть её.

Пóмню тóлько, как и́зредка по воскресéниям к нáм приезжáли из пансиóна две дóчери Б. Меньшáя, лет шестнáдцати, былá порази́тельной красоты́. Я теря́лся, когдá онá входи́ла в кóмнату, не смел никогдá обращáться к нéй с рéчью, а укрáдкой смотрéл в её прекрáсные тёмные глазá, на её тёмные кýдри. Никогдá никомý не заикáлся я об э́том, и пéрвое дыхáние любви́ прошлó несвéданное никéм, ни дáже éю. Гóды спустя́, когдá я встречáлся с нéю, си́льно би́лось сéрдце, и я вспоминáл, как я двенáдцати лет от рóду моли́лся её красотé.

Я забы́л сказáть, что „Вéртер“ [1]) меня́ занимáл почти́ стóлько же, как „Свáдьба Фигарó“; полови́ну ромáна я не понимáл и пропускáл, торопя́сь скорée дойти́ до стрáшной развя́зки; тут я плáкал, как сумасшéдший.

Лет до четы́рнадцати я не могý сказáть, чтоб мой отéц осóбенно тесни́л меня́, но прóсто вся атмосфéра нáшего дóма былá тяжелá для живóго мáльчика. Стропти́вая и ненýжная забóтливость о физи́ческом здорóвье, ря́дом с пóлным равнодýшием к нрáвственному, стрáшно надоедáла. Предостережéния от простýды, от врéдной пи́щи, хлóпоты при малéйшем нáсморке, кáшле. Зимóй я по недéлям сидéл дóма, а когдá позволя́лось проéхаться, то в тёплых сапогáх, шарфáх и пр. Дóма был постоя́нно нестерпи́мый жар от печéй; всё э́то должнó бы́ло сдéлать из меня́ хилóго, изнéженного ребёнка, éсли-б я не наслéдовал от моéй мáтери непреодоли́мого здорóвья. Онá с своéй стороны́ вóвсе не дели́ла э́тих предрассýдков и на своéй полови́не позволя́ла мне всё тó, что запрещáлось на полови́не моегó отцá.

[1]) „Вéртер“—ромáн знамени́того немéцкого писáтеля Гéте.

Учéнье шлó плóхо, без соревновáния, без поощрéний и одобрéний; без систéмы и без надзóру, я занимáлся спустя́ рукавá и дýмал пáмятью и живы́м соображéнием заменúть трýд. Разумéется, что́ и за учителя́ми нé было никакóго присмóтра. Однáжды услóвившись в ценé — лишь бы онú приходúли в своё врéмя и сидéли свóй час, — онú моглú продолжáть гóды, не отдавáя никакóго отчёта в том, что дéлали.

Лет двенáдцати я был переведён с жéнских рук на мужскúе. Около тогó врéмени мóй отéц сдéлал двá неудáчных óпыта пристáвить за мнóй нéмца.

Пéрвый нéмец, пристáвленный за мнóю, бы́л рóдом из Шлéзии и назывáлся Иóкиш. Высóкий, плешúвый мужчúна, он отличáлся чрезвычáйной нечистоплóтностью и хвáстался своúм знáнием агронóмии; я дýмаю, что отéц мой úменно поэ́тому егó и взял. Я с отвращéнием смотрéл на шлёнского великáна и тóлько на том помирúлся с ним, что он мне расскáзывал, гуля́я по Девúчьему пóлю и на Прéсненских прудáх, сáльные анекдóты, котóрые я передавáл перéдней. Он прóжил не бóльше гóда, напáкостил чтó-то в дерéвне, садóвник хотéл егó убúть косóй; отéц мой велéл емý убирáться.

На егó мéсто поступúл Фёдор Кáрлович, отличáвшийся каллигрáфией и непомéрным тупоýмием. Он ужé был прéжде в двýх домáх при дéтях и имéл нéкоторый нáвык, т. е. придавáл себé вид гувернёра; к томý же он говорúл пофранцýзски на “шú“ с обрáтным ударéнием. Я не имéл к немý никакóго уважéния и отравля́л все минуты егó жúзни, осóбенно с тех пор, как я убедúлся, что, несмотря́ на всé моú усúлия, он не мóжет поня́ть двух вещéй: десятúчных дробéй и тройнóго прáвила.

При нём я иногдá похáживал к какúм-то мáльчикам, при котóрых жúл егó прия́тель тóже в дóлжности нéмца, и с котóрыми мы́ дéлали дáльние прогýлки. Пóсле негó я снóва

остава́лся в соверше́нном одино́честве, скуча́л, рва́лся из него́ и не находи́л вы́хода. Не име́я возмо́жности переси́лить во́лю отца́, я, мо́жет, сломи́лся бы в э́том существова́нии, е́сли-б вско́ре но́вая у́мственная де́ятельность и две́ встре́чи не спасли́ меня́.

Я уве́рен, что́ моему́ отцу́ ни ра́зу не приходи́ло в го́лову, каку́ю жизнь он заставля́ет меня́ вести́; ина́че он не отка́зывал бы мне́ в са́мых неви́нных жела́ниях, в са́мых есте́ственных про́сьбах.

И́зредка отпуска́л о́н меня́ с дя́дей во францу́зский теа́тр; э́то бы́ло для́ меня́ вы́сшее наслажде́ние; я стра́стно люби́л представле́ния, но и э́то удово́льствие приноси́ло мне́ сто́лько же го́ря, ско́лько ра́дости. Сена́тор приезжа́л со мно́ю в по́л—пье́сы и, ве́чно куда́-нибу́дь зва́ный, увози́л меня́ пре́жде конца́.

Расска́зы о возмуще́нии, о суде́, у́жас в Москве́, си́льно порази́ли меня́[1]); мне открыва́лся но́вый ми́р, кото́рый станови́лся бо́льше и бо́льше средото́чием всего́ нра́вственного существова́ния моего́; не зна́ю ка́к э́то сде́лалось, но, ма́ло понима́я и́ли о́чень сму́тно, в чё́м де́ло, я чу́вствовал, что́ я с то́й стороны́, с кото́рой карте́чь и побе́да. Казнь Пе́стеля[2]) и его́ това́рищей оконча́тельно разбуди́ла ребя́ческий сон моей́ души́.

Несмотря́ на то́, что полити́ческие мечты́ занима́ли меня́ де́нь и но́чь, поня́тия мои́ не отлича́лись осо́бенной проница́тельностью; они́ бы́ли до того́ сби́вчивы, что́ я вообража́л в са́мом де́ле, что петербу́ргское возмуще́ние име́ло, между́ про́чим, це́лью посади́ть на тро́н цесаре́вича, ограни́чив его́ вла́сть.

---

[1]) Ге́рцен говори́т здесь о революцио́нном восста́нии в Москве́ 14 декабря́ 1825 г.

[2]) Пе́стель, Па́вел Ива́нович, глава́ восста́ния, вме́сте со свои́ми това́рищами: Серге́ем Муравьёвым-Апо́столом, Бесту́жевым-Рю́миным, пи-са́телем (поэ́том) Рыле́евын и Кахо́вским—был ца́рским прави́тельством пове́шен 13 июня 1826 г.

Само́ собо́ю разуме́ется, что́ одино́чество тепе́рь тяготи́ло меня́ бо́льше пре́жнего; мне́ хоте́лось кому́-нибу́дь сообщи́ть мои́ мы́сли и мечты́, прове́рить их, слы́шать им подтвержде́ние; я сли́шком го́рдо сознава́л себя́ „злоумы́шленником“, что́б молча́ть об э́том и́ли что́б говори́ть без разбо́ра. Пе́рвый вы́бор пал на ру́сского учи́теля.

Протопо́пов[1]) был по́лон того́ благоро́дного и неопределённого либерали́зма, кото́рый ча́сто прохо́дит с пе́рвым седы́м во́лосом, с жени́тьбой и ме́стом, но всё-таки облагора́живает челове́ка. Ива́н Евдоки́мович был тро́нут и, уходя́, о́бнял меня́ со слова́ми: „Да́й Бо́г, что́б э́ти чу́вства созре́ли в ва́с и укрепи́лись“. Его́ сочу́вствие бы́ло для меня́ вели́кой отра́дой. Он по́сле э́того ста́л носи́ть мне́ ме́лко перепи́санные и о́чень затёртые тетра́дки стихо́в Пу́шкина: „О́да на свобо́ду“, „Кинжа́л“, „Ду́мы“ Рыле́ева. Я их перепи́сывал тайко́м.

Разуме́ется, что и чте́ние моё перемени́лось. Поли́тика вперёд, а гла́вное—исто́рия револю́ции; я её зна́л то́лько по расска́зам Прово́[2]). В подва́льной библио́теке откры́л я каку́ю-то исто́рию девяно́стых годо́в, пи́санную рояли́стом. Она́ была́ до того́ пристра́стна, что да́же я 14-ле́тней не пове́рил. Слы́шал я ме́льком о́т старика́ Бушо́[3]), что́ он во вре́мя револю́ции был в Пари́же; мне́ о́чень хоте́лось распроси́ть его́; но Бушо́ был челове́к суро́вый и угрю́мый, с огро́мным но́сом и очка́ми; он никогда́ не́ пуска́лся в изли́шние разгово́ры со мно́й, спряга́л глаго́лы, диктова́л приме́ры, врани́л меня́ и уходи́л, опира́ясь на то́лстую сучкова́тую па́лку.

Стари́к Бушо́ не люби́л меня́ и счита́л пусты́м шалуно́м за то́, что я ду́рно приготовля́л уро́ки; он ча́сто гова́ривал: „Из ва́с ничего́ не вы́йдет“. Но когда́ заме́тил мои

[1]) Ива́н Евдоки́мович Протопо́пов—ру́сский учи́тель Ге́рцена.

[2]) Прово́—учи́тельница Ге́рцена.

[3]) Бушо́—учи́тель Ге́рцена.

симпа́тию к его́ иде́ям, он смени́л гне́в на ми́лость, проща́л оши́бки и расска́зывал эпизо́ды 93 го́да, и ка́к он уе́хал из Фра́нции, когда́ „развра́тные и плу́ты“ взя́ли верх. Он с то́ю же ва́жностью, не улыба́ясь, ока́нчивал уро́к, но уже́ снисходи́тельно говори́л: „Я, пра́во, ду́мал, что из ва́с ничего́ не вы́йдет, но ва́ши благоро́дные чу́вства спасу́т ва́с“...

К на́м ходи́л ма́льчик, кото́рого зва́ли Ни́ком[1]). Он мне́ нра́вился, в нём бы́ло что́-то до́брое, кро́ткое и заду́мчивое; о́н во́все не походи́л на други́х ма́льчиков, кото́рых мне́ случа́лось ви́деть; те́м не ме́нее сближа́лись мы ту́го. Он бы́л молчали́в; заду́мчив; я ре́зов, но боя́лся его́ тормоши́ть.... Че́рез ме́сяц мы́ не могли́ провести́ дву́х дне́й, что́б не уви́деться, и́ли не написа́ть письмо́; я с поры́вистостью мое́й нату́ры привя́зывался бо́льше и бо́льше к Ни́ку, он ти́хо и глубоко́ люби́л меня́. Дру́жба на́ша должна́ была́ с са́мого нача́ла приня́ть хара́ктер серьёзный. Я не по́мню, что́б ша́лости занима́ли на́с на пе́рвом пла́не, осо́бенно когда́ мы́ бы́ли одни́. Мы́, разуме́ется, не сиде́ли с ни́м на одно́м ме́сте, лета́ бра́ли своё: мы хохота́ли и дура́чились; стреля́ли на на́шем дворе́ из лу́ка; но осно́ва всего́ была́ о́чень далека́ от пусто́го тов́арищества; на́с свя́зывала, све́рх ра́венства ле́т, све́рх на́шего „хими́ческого“ сродства́, на́ша о́бщая рели́гия. Ничего́ в све́те не очища́ет, не облагора́живает та́к о́троческий во́зраст, не храни́т его́, как си́льно-возбуждённый о́бще-челове́ческий интере́с. Мы ува́жали в себе́ на́ше бу́дущее, мы́ смотре́ли дру́г на дру́га, как на сосу́ды и́збранные, предназна́ченные.

Ча́сто мы ходи́ли с Ни́ком за́ город; у на́с бы́ли люби́мые места́—Воробьёвы го́ры, поля́ за Драгоми́ловской заста́вой.... Ра́з по́сле обе́да оте́ц мо́й собра́лся е́хать за́ го-

[1]) Ни́ка—ближа́йший друг Ге́рцена на всю жизнь—Никола́й Плато́нович Огарёв (1813—1877), писа́тель социали́ст; Ге́рцен с ним издава́л за грани́цей революцио́нный ру́сский журна́л „Ко́локол“.

род; Ни́ка бы́л у на́с; о́н пригласи́л и его́ с воспита́телем. Поездки э́ти бы́ли не шу́точными дела́ми. В четвероме́стной каре́те „рабо́ты Иохима“, что́ не меша́ло ей в пятна́дцатилетнюю, хотя́ и поко́йную, слу́жбу соста́реться до безобра́зия и бы́ть попре́жнему тяжеле́е оса́дной морти́ры; до заста́вы на́добно бы́ло е́хать час и́ли бо́льше. Четы́ре ло́шади ра́зного ро́ста и не одного́ цве́та, облени́вшиеся в пра́здной жи́зни и нае́вшие себе́ живо́ты, покрыва́лись че́рез че́тверть ча́са по́том и мы́лом; э́то бы́ло запреще́но ку́черу Авде́ю, и ему́ остава́лось е́хать ша́гом. Окна бы́ли обыкнове́нно по́дняты, како́й бы жа́р ни́ был; и ко всему́ э́тому ря́дом с равноме́рно-—гнету́щим надзо́ром моего́ отца́, беспоко́йно суетли́вый, тормоша́щий надзо́р Ка́рла Ива́новича [1]); но мы́ охо́тно подверга́лись всему́, что́б бы́ть вме́сте.

В Лужни́ках мы́ перее́хали на ло́дке Москву́-реку́....

Оте́ц мо́й, ка́к всегда́, шёл угрю́мо и сго́рбившись; во́зле него́ ме́лкими шажка́ми семени́л Карл Ива́нович, занима́я его́ сплё́тнями и болтовнё́й. Мы ушли́ от ни́х вперё́д и, далеко́ опереди́вши, взбежа́ли на ме́сто закла́дки Ви́тбергова хра́ма, на Воробьё́вых гора́х [2]).

Запыха́вшись и раскрасне́вшись, стоя́ли мы та́м, обтира́я по́т. Сади́лось со́лнце, купола́ блесте́ли, го́род стла́лся на необрази́мое простра́нство по́д горо́й; све́жий ветеро́к подува́л на на́с; постоя́ли мы́, постоя́ли, оперли́сь дру́г на дру́га и, вдру́г обня́вшись, присягну́ли, в виду́ все́й Москвы́, поже́ртвовать на́шей жи́знью на и́збранную на́ми борьбу́. Сце́на э́та мо́жет показа́ться о́чень натя́нутой, о́чень театра́льной, а между́ те́м, че́рез два́дцать ше́сть ле́т, я

---

[1]) Карл Ива́нович—воспита́тель Ни́ки.

[2]) Замеча́тельный архите́ктор (стро́итель) Ви́тберг на Воробьё́вых гора́х по зака́зу ца́рского прави́тельства на́чал бы́ло стро́ить большу́ю це́рковь, но был обвинё́н в непра́вильном расходо́вании де́нег и со́слан в Вя́тку, где и у́мер (1855 г.). Ге́рцен в Вя́тке с ним был пото́м в ссы́лке (1834—1837 г.) и тогда́ подружи́лся с Ви́тбергом.

тро́нут до слёз, вспомина́я её: она́ была́ свя́то и́скренна, э́то доказа́ла вся́ жи́знь на́ша. Мы́ не зна́ли всей си́лы того́, с че́м вступа́ли в бо́й, но бо́й при́няли. Си́ла сломи́ла в на́с мно́гое, но не она́ на́с сокруши́ла, и е́й мы не сдали́сь, несмотря́ на все́ её уда́ры. Рубцы́, полу́ченные от неё, почётны; сви́хнутая нога́ Иа́кова была́ зна́мением того́, что́ он боро́лся но́чью с бо́гом. С э́того дня́ Воробьёвы го́ры сде́лались для на́с ме́стом богомо́лья, и мы́ в го́д ра́з и́ли два́ ходи́ли туда́, и всегда́ одни́.

Невыноси́мая ску́ка на́шего до́ма росла́ с ка́ждым го́дом. Е́сли-б не бли́зок бы́л университе́тский ку́рс, не но́вая дру́жба, не полити́ческое увлече́ние и не жи́вость хара́ктера, я бежа́л бы и́ли поги́б.

А. И. Ге́рцен.

То́мно=ску́чно.

Абба́тство=монасты́рь католи́ческий.

Поощре́ние=награ́да, похвала́.

Рассе́яние=удово́льствие, весе́лье.

Скита́лся=ску́чный ходи́л без де́ла.

Пере́дняя=ко́мната, где нахо́дится прислу́га.

Раздо́лье=весе́лье.

Произво́л=наси́лие, угнете́ние, самоупра́вство.

Бессисте́мное чте́ние=чте́ние без разбора всего́, что попа́ло.

Теорети́ческое изуче́ние язы́ков=изуче́ние язы́ков по грамма́тикам, по кни́гам.

Шифонье́р=шкаф с зерка́льной две́ркой.

Рома́н=сочине́ние, в кото́ром изобража́ется подро́бно жизнь лю́дей како́го-нибудь кла́сса о́бщества.

Коме́дия=театра́льное сочине́ние, изобража́ющее смешны́е сто́роны жи́зни.

Репертуа́р=собра́ние театра́льных сочине́ний.

Пьéса=всякое театрáльное сочинéние.

Двусмы́сленные сцéны=те местá в кни́ге, в котó-рых мóжно подразумевáть что-нибу́дь неприли́чное.

Я сам был Херуби́м=я сам был похóж на Херуби́ма.

Паж=краси́вый мáльчик—слугá у королá, богáтого дворяни́на.

Никогдá никомý не заикáлся я об э́том=никогдá никомý не говори́л об э́том.

Стрáшная развя́зка=печáльное окончáние кни́ги.

Вся атмосфéра нáшего дóма былá тяжелá для живóго мáльчика=трýдно бы́ло жить в дóме бóйкому, ýмному мáльчику.

Стропти́вая забóтливость=изли́шняя стрóгая забóтливость.

Хилóй, изнемождённый ребёнок=болéзненный, слáбый ребёнок.

Непреодоли́мое здорóвье=крéпкое здорóвье.

Онá не дели́ла э́тих предрассýдков=онá (мать) обращáлась с сы́ном по-другóму.

На своéй полови́не=в свои́х кóмнатах; в полови́не дóма, где жилá мать.

Соревновáние=стремлéние быть не хýже други́х.

Занимáлся спустя́ рукавá=занимáлся кос-как.

Агронóмия=наýка о земледе́лии.

Шлёнский=из Шлéзии; немéцкий.

Сáльные анекдóты=непрели́чные расскáзы.

Напáкостил в дерéвне=сдéлал дурнóе дéло в дерéвне.

Каллигрáфия=умéнье краси́во писáть бýквы.

Тупоýмие=глýпость.

Гувернёр=воспитáтель, учи́тель детéй в дóме.

Я отравля́л все минýты егó жи́зни=я дéлал емý неприя́тное и серди́л егó.

Я, мóжет, сломи́лся бы в э́том существовáнии=я, мóжет, привы́к бы к э́той жи́зни и подчини́лся отцу́.

Естéственная прóсьба=необходи́мая, нýжная прóсьба.

Приезжáл в пол-пиéсы=приезжáл в среди́не представлéния.

Вéчно=постоя́нно, кáждый раз.

Мне открывáлся нóвый мир=мáльчик (Гéрцен) из разговорóв в дóме стал понимáть, почемý произошлó революциóнное восстáние.

Я с той стороны́, с котóрой картéчь и побéда=я сочýвствую революционéрам; я за них.

Казнь Пéстеля.... разбуди́ла ребя́ческий сон моéй души́=казнь Пéстеля.... далá понять, что прáвда на сторонé революционéров.

Я сли́шком гóрдо сознавáл себя́ „злоумы́шленником“=я считáл себя́ революционéром.

Протопóпов был пóлон благорóдного и неопределённого либерали́зма=Протопóпов был за свобóду, но понимал её буржуáзно.

Рояли́ст=привéрженец короля́, царя́; царелю́б.

Онá былá.... пристрáстна=онá (истóрия францýзской револю́ции 1789 г.) былá рассказáна несправедли́во: революционéров брани́ла, а короля́ хвали́ла.

Симпáтия=сочýвствие; любóвь.

Идéя=мысль.

Эпизóд=случай; происшéствие.

Рассказывал эпизóды 93 гóда=рассказывал о происшéствиях во Фрáнции во врéмя револю́ции в 1793 г.

Сближáлись мы тýго=подружи́лись не срáзу, не скóро.

Тормоши́ть=беспокóить.

Порывистая натура=человек, склонный к сильным увлечениям чем-нибудь.

Лета брали своё=мы были дети и любили играть, шалить.

Нас связывала.... наша общая религия=Герцен и его друг одинаково ненавидели царский режим и любили революцию.

„Химическое" сродство (Герцена и его друга)=души их были как будто из одного материала, одинаковы.

Мы.... присягнули.... пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу=мы (Герцен и Огарёв) дали клятву умереть в борьбе за свободу русского народа с царским правительством.

Мы не знали всей силы того, с чем вступали в бой=не знали, что борьба будет с царским правительством трудная.

Бой приняли=Герцен и Огарёв вели революционную пропаганду.

Рубцы, полученные от неё, почётны, свихнутая нога Иакова была знамением того, что он боролся ночью с богом=из борьбы с царским правительством Герцен и Огарёв не вышли полными победителями; но борьба с очень сильным противником хотя не всегда оканчивается удачей, всё же доставляет честь и славу борцам. Герцен сравнивает себя с древне-еврейским патриархом Иаковом (отец Юсуфа), который будто бы боролся с богом, и хотя остался побеждённым, но всё же гордился тем, что боролся не с простым человеком, а с богом.

В тёмную даль.

Ужé четы́ре недéли жил он в дóме—и четы́ре недéли в дóме цари́ли страх и беспокóйство. Все старáлись говори́ть и поступáть так, как они́ всегдá поступáли и говори́ли, и не замечáли тогó, что речи их звучáт глу́ше, что глазá их смóтрят виновáто и тревóжно и чáсто оборáчиваются в ту стóрону, где нахóдится отведённая ему́ кóмната. В противополóжном от неё концé дóма они́ ступáли ногáми неестéственно грóмко и так же неестéственно грóмко смея́лись, но когдá им случáлось проходи́ть ми́мо бéлых двeрéй, котóрые весь день бы́ли зáперты изнутри́ и так глу́хи, тóчно за ни́ми нé было ничегó живóго, они́ умеря́ли шаг, а всё тéло их подавáлось в стóрону, слóвно в ожидáнии удáра. И хотя́ проходи́вшие станови́лись на пол всéй ногóй, но шаг их был бóлее лёгок и бóлее беззву́чен, чем éсли бы они́ шли на цы́почках. И никтó не называ́л егó по и́мени, а прóсто слóвом „он“: и так как все кáждую мину́ту ду́мали о нём, то э́то неопределённое назвáние представля́лось бóлее я́сным, чем пóлное и́мя, и никогдá не заставля́ло переспрáшивать. Почему́-то казáлось непочти́тельным и фамилья́рным звать егó, как зову́т други́х; слóво же „он“ тóчно и рéзко выражáло страх, котóрый внушáла егó высóкая, су́мрачная фигу́ра. И тóлько однá стáрая бáбушка, котóрая жилá наверху́, звалá егó Кóлей, но и онá испы́тывала напряжённое состоя́ние стрáха и ожидáния беды́, охвати́вшее весь дом, и чáсто плáкала. Однáжды онá спроси́ла гóрничную Кáтю, почему́ бáрышня не игрáет сегóдня на фортепиáно; но Кáтя удивлённо взгляну́ла на неё и не отвéтила, а, уходя́, покачáла головóй тóчно не одобря́ла сáмого вопрóса.

Пришёл он в сéрый ноя́брьский пóлдень, когдá все бы́ли дóма и сидéли за чáем, крóме Пéти, давнó ужé ушéдшего в гимнáзию. На дворé бы́ло хóлодно, и ни́зко нави́с-

шие плотные тучи сеяли дождь, так что, несмотря на большие окна, в высоких комнатах было темно, а в некоторых горел даже огонь. Звонок его был резкий и властный, и сам Александр Антонович вздрогнул; он подумал, что явился кто-нибудь из важных посетителей, и медленно пошёл навстречу, сделав на своём полном и серьёзном лице приветно-ласковую улыбку. Но она тотчас исчезла, когда в полутьме прихожей он увидел бедно и грязно одетого человека, перед которым в смущении стояла горничная, робко загораживая ему путь. Вероятно, с вокзала он шёл пешком и только местами ехал на конке, потому что коротенькое потёртое пальто его было мокро, а брюки внизу забрызганы и стояли коробом от воды и грязи. И голос его был хриплый, грубый, не то от сырости и простуды, не то от долгого молчания в тряском вагоне.

— Чего молчите? Дома, спрашиваю вас, Александр Антоныч Барсуков? — повторил вошедший свой вопрос.

Но отозвался Александр Антонович. Не входя в переднюю, он в пол-оборота взглянул на человека, которого счёл за одного из бесчисленных просителей, и строго сказал:

— Вам что здесь нужно?

— Не узнал, отец? — немного насмешливо, но с дрожью в голосе, спросил вошедший. — А ведь я Николай, по отчеству Александрыч.

— Какой.... Николай? — отступил на шаг Александр Антонович. Но, спрашивая, он уж знал, какой Николай стоит перед ним. Важность исчезла с его лица, и оно стало бледно страшной старческой бледностью, похожей на смерть, и руки поднялись к груди, откуда внезапно вышел весь воздух. Следующим порывистым движением обе руки обняли Николая, и седая холодная борода прикоснулась к чёрной мокрой бородке, и старческие, отвыкшие целовать, губы, искали молодых свежих губ и с не-

ненасытной жадностью впивались в них.—Погоди, отец, дай раздеться,—мягко говорил Николай.—Простил? Простил?—дрожал всем телом Александр Антонович.—Ну, что за глупости!—сурово и строго сказал Николай, отстраняя отца.—Какое ещё там прощение?

Когда они входили в столовую, Александру Антоновичу было стыдно своего порыва, которому с такой неудержимой силой отдалось его доброе сердце. Но радость от свидания, хотя и отравленная, бурлила в груди и искала выхода, и вид сына, который пропадал неведомо где в течение целых семи лет, делали его походку быстрой и молодой, а движения порывистыми и несолидными. И он искренне рассмеялся, когда Николай остановился перед сестрой и, потирая озябшие руки, спросил:—А эта барышня—сестрица что-ли?—Ниночка, семнадцатилетняя девушка, бледненькая и худенькая, стояла у своего места и смущённо перебирала по столу пальцами, устремив на брата большие испуганные глаза. Она догадалась, что это Николай, которого она помнила больше, чем сам отец, и теперь не знала, что делать. И когда Николай, вместо поцелуя, пожал ей руку, она ответила крепким пожатием и чуть, по-институтски, не присела.—А это господин студент Андрей Егорыч—Петькин репетитор,—знакомил Александр Антонович.—Петька?—удивился Николай,—да он уже учится! Важно!—Потом его познакомили с остролицей дамой, которая наливала чай, и которую называли просто Анной Ивановной, и потом все стали жадно рассматривать его, пока он в свою очередь оглядывал комнату, желая узнать, всё ли так, как было семь лет тому назад.

Было в нём что-то странное, не поддающееся определению. Высоким ростом, гордым поворотом головы, пронзительным взглядом чёрных глаз из-под крутых, выпуклых бровей, он напоминал молодого орла. Дикостью и свободой веяло от его прихотливо разметавшихся волос; трепетной грацией хищни-

ка, выпускáющего кóгти, дышáли все егó движéния, увéренные, лёгкие, бесшýмные, и рýки без колебáний находи́ли и брáли то, что им нýжно. Слóвно не сознавáя нелóвкости своегó положéния, он смотрел в глазá кáждому глубокó и спокóйно; но дáже и в ту минýту, когдá взгляд был лáсков, в нём чýдилось чтó-то затаённое и опáсное, что ви́дится всегдá в глазáх ласкáющегося хи́щника. И говори́л он повели́тельно и прóсто, ви́димо, не обдýмывая свои́х слов, тóчно э́то бы́ли не ошибáющиеся, невóльно лгýщие звýки человéческой рéчи, а непосрéдственно звучáла самá мысль. Чýвство раская́ния не моглó имéть мéста в душé такóго человéка.

Но éсли э́то был орёл, то пéрья егó бы́ли си́льно помя́ты в схвáтке, из котóрой он едвá ли ушёл победи́телем. Об э́том говори́ло плáтье, носи́вшее на себé следы́ ночёвок, грязное, непри́гнанное к тéлу; и бы́ло в э́том плáтье чтó-то неулови́мо хи́щное, тревóжное, заставля́ющее всех хорошó одéтых людéй испы́тывать смýтное чýвство опасéния. И минýтами по всемý стáтному и си́льному тéлу пробегáла мгновéнная дрожь стрáнной боя́зни; тогдá всё тéло как бýдто станови́лось мéньше, и казáлось, что вóлосы на заты́лке поднимáются, как у ощети́нившегося звéря; и глазá бы́стро и злóбно обегáли всех присýтствующих. Пил и ел он с жáдностью, как человéк, котóрому дóлго приходи́лось голодáть, и́ли котóрый всё врéмя не доедáет, и поэ́тому готóв бывáет есть кáждую минýту, и всё, что пóдано на стол. И, кóнчив, он сказáл:—Вáжно!—и поглáдил себя́ немнóго насмéшливо по животý. Отказáвшись от отцóвской сигáры, он взял у студéнта папирóсу—у самогó у негó и папирóс нé было—и приказáл:—Расскáзывайте.

Расскáзывать стáла Ни́ночка, и́менно о том, как онá окóнчила институ́т, и как éй жилóсь там. Спервá онá робéла, но так как расскáзывать éй приходи́лось тó, что онá ужé нéсколько раз передавáла, то онá легкó вспóмнила все остро-

у́мные слова́, и была́ о́чень дово́льна собо́й. Никола́й не то слу́шал, не то нет; он улыба́лся, но не всегда́ в тех места́х, где бы́ли остроу́мные слова́, и всё вре́мя води́л по ко́мнате свои́ми вы́пуклыми глаза́ми. Иногда́ он перебива́л речь не иду́щими к ме́сту вопро́сами.

— Что о́тдал за карти́ну?—спроси́л он у молча́вшего и та́кже не́сколько насме́шливо улыба́вшегося отца.— Не по́мню.—Две ты́сячи—с почте́нием к деньга́м отозвала́сь до сих пор молча́вшая Анна Ива́новна и боязли́во взгляну́ла на Алекса́ндра Анто́новича. И оба́ улыбну́лись—оте́ц и Никола́й, и в улы́бке проскользну́ло что́-то вражде́бное. Тепе́рь Алекса́ндр Анто́нови́ч уже́ не суети́лся и оттого́ стал стро́гим и ва́жным.

— Дела́ как? – та́кже ко́ротко спроси́л Никола́й у отца́.

— Ничего́. Иду́т.

— Но́вый дом купи́ли. На Италья́нской. Трехэта́жный. И заво́д ещё купи́ли,—почти́ шо́потом сказа́ла Анна Ива́новна. Она́ боя́лась Алекса́ндра Анто́новича, но не могла́ удержа́ться, так как всегда́ была́ занята́ тем, что сра́внивала свой капита́лец в 556 рубле́й, находи́вшийся в сберега́тельной ка́ссе, с капита́лом Барсуко́ва, у кото́рого бы́ли дома́, заво́ды и а́кции.

— Ну, Ни́ночка, продолжа́й,—сказа́л Никола́й.

Но Ни́ночке давно́ уже́ ста́ло ску́чно. У неё опя́ть закколо́ло в боку́, и она́ сиде́ла ху́денькая, бле́дная, почти́ прозра́чная, но стра́нно краси́вая и тро́гательная, как нача́вший увяда́ть цвето́к. И па́хло от неё каки́ми-то стра́нными ле́гкими духа́ми, напомина́вшими желте́ющую о́сень и краси́вое умира́ние. Засте́нчивый, рябо́й студе́нт внима́тельно наблюда́л за не́й, и то́же, каза́лось, бледне́л по ме́ре того́, как исчеза́ла кра́ска с лица́ Ни́ночки Он был ме́дик и, кро́ме того́, люби́л Ни́ночку пе́рвой любо́вью.

Но тут яви́лся Феноге́н Ива́ныч, ста́рый лаке́й. Ро́жа его́ вы́глянула из две́ри, как восходя́щая луна́, и была́

так же широка́, красна́ и безволо́са. Он был в ба́не, по́сле ба́ни немно́го вы́пил и, придя́ домо́й, узна́л от го́рничной о прие́зде барчука́, с кото́рым во дни о́ны игра́л в лоша́дки. Немно́го пла́ча, то ли от во́дки, то ли от любви́, он напя́лил фрак, надуши́л лы́сину, как это де́лал ба́рин, и степе́нно пошёл в столо́вую. За дверьми́ он немно́го постоя́л и с торже́ственно наду́тыми щека́ми, как при прие́зде самого́ губерна́тора, яви́лся к Никола́ю.

— Феноге́шка!—ве́село кри́кнул Никола́й, и го́лос его́ прозвуча́л, как у ребёнка.

— Барчу́к!—взви́згнул Феноге́н и, опроки́дывая сту́лья, ки́нулся к Никола́ю. Он хоте́л сперва́ поцелова́ть его́ в плечо́, но так как Никола́й вме́сто того́ пожа́л его́ ру́ку, то Феноге́н ва́жно отки́нулся наза́д и отве́тил кре́пким до бо́ли пожа́тием. Он позволя́л себе́ ду́мать, что он—не слуга́, а дру́г Никола́я, и рад был публи́чному призна́нию его́ в этом досто́инстве. По поцелова́ться всё же ну́жно бы́ло. —И вдоба́вок пьян!—с весёлым изумле́нием к постоя́нству Феноге́новых привы́чек—сказа́л Никола́й, ощути́в за́пах во́дки.—Ра́зве?—стро́го отозва́лся Алекса́ндр Анто́нович. Мотая отрица́тельно голово́й, Феноге́н Ива́ныч благовоспи́танно отступа́л за́дом и коси́л глаза́, что́бы узна́ть, где дверь, но всё-таки сперва́ попа́л в просте́нок и отту́да уже́, на́ощупь, добра́лся до две́ри. Все это за́няло дово́льно мно́го вре́мени. В пере́дней Феноге́н Ива́ныч приостанови́лся, с не́жностью осмотре́л ру́ку, кото́рую пожа́л Никола́й, и, неся́ её впереди́ себя́, как не́что соверше́нно ему́ посторо́ннее, хру́пкое и це́нное, тро́нулся в людску́ю. Вообще́, он уважа́л себя́, но в да́нный моме́нт са́мой уважа́емой ча́стью его́ те́ла была́ пра́вая рука́.

В этот день Алекса́ндр Анто́нович не пое́хал в правле́ние и по́сле обе́да, за кото́рым он вы́пил мно́го вина́, пришёл в све́тлое и мя́гкое настрое́ние. Обня́в Никола́я за та́лию, он повёл его́ в библиоте́ку, закури́л сига́ру и, при-

готовившись к долгому слушанию, добродушно сказал:—Ну, теперь рассказывай: где был, что делал? Николай ответил не сразу. По его телу снова пробежала та же странная дрожь испуга, и глаза мотнули взор к двери; но голос оставался спокойным и серьёзным.—Нет, отец. Я прошу тебя оставить разговор о моих приключениях.—Я видел у тебя кошелёк заграничной работы. Ты был за границей?

— Был,—коротко ответил Николай.—Но довольно, отец.

Александр Антонович нахмурил брови и встал с дивана. Заложив руки за спину, под сюртук, он прошёлся по комнате и, не глядя на сына, спросил:

— Ты все такой же?

— Как видищь. А ты, отец?

— Как видишь. Ступай, мне надо заниматься.

Когда Николай вышел, Александр Антонович запер за ним дверь, оглянулся и, подойдя к камину, молча, но с силой, ударил по белой, блестящей кафле. Потом вытер платком руку, к которой пристала белая полоска извести, и сел заниматься. И опять лицо его белело той страшной бледностью, которая напоминает смерть.

Никто не видел свидания Николая с бабушкой, но вышел он от неё хмурым и как будто немного растроганным. И на минутку все почувствовали облегчение, когда за Николаем захлопнулись белые двери его комнаты; но с того момента он перестал быть гостем, и с этого же момента появилась та странная тревога, которая, разростаясь, скоро захватила весь дом. Как будто вошёл в дом и навсегда занял в нём место кто-то загадочно опасный, более чужой, чем любой человек с улицы, и более страшный, чем притаившийся грабитель, И только один Феноген Иваныч не почувствовал этого, так как с радости выпил ещё и теперь спал на поваровой постели, и во сне сохраняя вид полного самоуважения и немного откидывая правую руку.

А в гости́ной Ни́ночка ти́хо расска́зывала студе́нту о том, что было семь лет тому́ наза́д. Тогда́ Никола́й за одну́ исто́рию был уво́лен с не́сколькими това́рищами из технологи́ческого институ́та, и то́лько свя́зи отца́ спасли́ его́ от бо́льшего наказа́ния. При горя́чем объясне́нии с сы́ном вспы́льчивый Алекса́ндр Анто́нович уда́рил его́, и в тот же ве́чер Никола́й ушёл из до́му и верну́лся то́лько сего́дня. И о́ба—и расска́зчица и слу́шатель—кача́ли голова́ми и понижа́ли го́лос; и студе́нт, для одобре́ния Ни́ночки, да́же взял её ру́ку в свою́ и гла́дил.

Никола́й никому́ не меша́л: сам говори́л ма́ло и други́х слу́шал не то́ чтобы неохо́тно, а с каки́м-то высокоме́рным равноду́шием, как бу́дто вперёд знал, что́ ему́ мо́гут рассказа́ть. На середи́не расска́за он иногда́ уходи́л, и всё вре́мя лицо́ его́ име́ло тако́е выраже́ние, то́чно он прислу́шивается к чему́-то далёкому, ва́жному и одному́ ему́ слы́шному. Он ни над кем не смея́лся и никого́ не упрека́л, но когда́ он выходи́л из библиоте́ки, где просиживал бо́льшую часть дня, и рассе́янно блужда́л по всему́ до́му, заходя́ в людску́ю и к сестре́, и к студе́нту—он разноси́л хо́лод по всему́ своему́ пути́ и заставля́л люде́й ду́мать о себе́ так, то́чно они́ сейча́с то́лько соверши́ли что-то о́чень нехоро́шее и да́же престу́пное, и их бу́дут суди́ть и нака́зывать. Тепе́рь он был оде́т о́чень хорошо́, но и в изы́сканном пла́тье он не слива́лся с пы́шным великоле́пием ко́мнат, а стоя́л особняко́м, как что́-то чужо́е и вражде́бное. И е́сли бы все э́ти дороги́е ве́щи могли́ чу́вствовать и говори́ть, они́ сказа́ли бы, что умира́ют от стра́ха, когда́ он приближа́ется и́ли берёт одну́ из них в ру́ки, рассма́тривает с стра́нным любопы́тством. Он никогда́ ничего́ не роня́л и ста́вил вещь на ме́сто, как раз так, как она́ стоя́ла, но как бу́дто прикоснове́ние его́ руки́ отнима́ло у́ изя́щной статуэ́тки всю её це́нность, и по́сле его́ ухо́да она́ стоя́ла пусто́й и ни на что ненужной. Её душа́, со́зданная

искýсством, тáяла в егó рукáх, и оставáлся тóлько ненýжный кусóк брóнзы и́ли гли́ны.

Раз Николáй пришёл к Ни́ночке во врéмя её урóка рисовáния, когдá онá óчень похóже и хорошó копи́ровала с чьéй-то карти́ны фигýру ни́щего, прося́щего ми́лостыню.

— Рисýй, Ни́на. Я не бýду тебé мешáть, — сказáл он, садя́сь вóзле, на ни́зенькой софé. Ни́ночка рóбко улыбнýлась и нéкоторое врéмя продолжáла води́ть ки́стью, беря́ не те крáски, каки́е нýжно. Потóм брóсила и сказáла:

— Я устáла. Тебé нрáвится?

— Да, хорошó. Ты и игрáешь хорошó.

От э́той холóдной похвалы́ впечатли́тельной Ни́ночке стáло скýчно. Онá, крити́чески наклони́в гóлову на бок, осмотрéла свóй рисýнок, вздохнýла и сказáла:

— Бéдный ни́щий. Мне так жаль егó. Тебé тóже?

— Да, тóже.

— Я в двух попечи́тельствах о бéдных учáствую. Ужáсно мнóго рабóты,—горячó сказáла онá.

— Что же вы там дéлаете? — равнодýшно спроси́л Николáй.

Ни́ночка началá расскáзывать подрóбно, потóм корóче, потóм останови́лась совсéм. Николáй молчáл и перели́стывал альбóм, в котóром знáкомые Ни́ночки запи́сывали стихи́.

— Я на кýрсы хотéла, но пáпа не позволя́ет,—внезáпно сказáла Ни́ночка, слóвно ищá пути́ к внимáнию брáта.

— Дéло хорóшее. Ну, и что же?

— Не позволя́ет пáпа. Но я добью́сь своегó.

Николáй ушёл, и в груди́ Ни́ночки стáло пýсто и тоскли́во. Онá отбрóсила альбóм, печáльно посмотрéла на нáчатую карти́ну, котóрая éй показáлась отврати́тельной и никомý ненýжной мазнёй. Не умéя сдéрживать свои́х поры́вов, Ни́ночка взялá кисть и крест нá крест перечерти́ла

полотнó си́ней крáской и отхвати́ла при э́том у ни́щего полголовы́. С пéрвого дня, когдá Николáй пожáл éй рýку, онá полюби́ла егó, а он ни рáзу не поцеловáл её. Éсли бы он поцеловáл её, Ни́ночка откры́ла бы емý всё своё мáленькое, но ужé изболéвшееся сéрдце,- в котóром то пéли мáленькие, весёлые пти́чки, то кáркали чёрные вóроны, как писáла онá в своём дневникé. И дневни́к бы свóй онá отдалá емý,—а в дневникé на кáждой страни́це расскáзывается о том, какáя онá никомý ненýжная и несчáстная. Он дýмал, что онá довóльна и рисовáнием свои́м, и мýзыкой, и попечи́тельством, и ошибáется: ей не нужны́ ни рисовáние, ни мýзыка, ни попечи́тельство. Смея́лся Николáй тóлько на урóках студéнта с Пéтькой, и Пéтька ненави́дел егó за смех. В егó присýтствии он нарóчно ещё вы́ше задирáл колéна, так что едвá не завáливался со стýлом на спи́ну, щýрил пренебрежи́тельно глазá, ковыря́л в носý, хотя́ прекрáсно знал, что э́того не нýжно дéлать, и хладнокрóвно говори́л студéнту невыноси́мые дéрзости.

Рябóе лицó студéнта наливáлось крóвью и потéло; он чуть не плáкал и по ухóде Пéтьки жáловался, что мальчи́шка совсéм не хóчет учи́ться.—Не знáю, что из негó вы́йдет,—говори́л студéнт. Тепéрь вот уж тóже гóрничная жáловалась мне, что он éй гáдости говори́т.—Прохвóст вы́йдет,—без ви́димого огорчéния определи́л Николáй бýдущее брáта.—Бьёшься, бьёшься, нéрвы трáтишь, а что тóлку!—чуть не плáкал студéнт, вспоминáя дли́нный ряд унижéний и стыдá за себя́, когдá хотéлось провали́ться сквозь зéмлю и́ли изби́ть ученикá.—Брóсьте.—А жрать-то нáдо!—в отчáянии воскли́кнул Алексéй Егóрович.

— Ну, и жри́те—что поднóсят.

Но в спóры со студéнтом, несмотря́ на старáния послéднего, Николáй не вступáл. И Ни́ночка и Алексéй Егóрович дéлали чáстые попы́тки реши́ть, что такóе представля́ет собóй брат Николáй, и доходи́ли до таки́х фан-

тастических картин, что обоим становилось смешно. Но, расходясь, они удивлялись своему смеху, и самые фантастические предположения казались истинными, а на другой день оба со страхом и страстным любопытством ждали появления Николая, думая, что именно сегодня и решится томительный вопрос. Но Николай появлялся, а вопрос оставался всё таким же далёким от решения.

Особенной яркости и неправдоподобности достигали те предположения, что делались в людской, и впереди всех рассказчиков стоял Феноген Иваныч. Когда он немного выпивал, фантазия его работала неудержимо и создавала такие картины, перед которыми он сам останавливался в недоумении и испуге.

— Он—разбойник!—сказал однажды Феноген Иваныч, и красное лицо его побледнело от страха.

— Ну, вот, разбойник,—не поверил повар, но тоже оглянулся на дверь.

— Который грабит только богатых—ввёл поправку Феноген Иваныч, слыхавший когда-то от самого Николая, ещё мальчика, о существовании подобных разбойников.

— А зачем ему грабить, когда у отца денег не впроворот?—усумнился кучер, очень основательный человек.

— Три завода, четыре дома, акции каждодневно обрезают, прошептала Анна Ивановна, у которой находилось теперь в кассе ровно 560 р., так как четыре рубля она внесла на-днях.

Предположение Феногена Иваныча рухнуло. Анна Ивановна обыскала все вещи Николая и ничего не нашла, кроме белья. И именно то, что она ничего не нашла кроме белья, всего более пугало и тревожило. Если бы в чемодане нашлись ружья, пули, ножи, и Николай действительно оказался бы разбойником, это было бы не так страшно, как не знать совершенно занятий человека, который так не похож на других людей лицом и ухватками: слушает, а

сам не говори́т, и смо́трит на все́х, как пала́ч. Трево́га росла́ и переходи́ла в суеве́рный страх, ледяно́й волно́й прока́тывавшейся по до́му. Был подслу́шан оди́н коро́ткий разгово́р Никола́я с отцо́м и не рассе́ял стра́ха, но ещё бо́лее сгусти́л тума́нную атмосфе́ру недоуме́ния и зага́дки. Ты сказа́л когда́-то, что ненави́дишь всю на́шу жизнь,— разде́льно выгова́ривая ка́ждое сло́во, спра́шивал оте́ц.— Ты и тепе́рь ненави́дишь её?—Так же разме́ренно и ме́дленно звуча́л серьёзный отве́т Никола́я.—Да, я ненави́жу её от са́мого дна до са́мого ве́рху. Ненави́жу и не понима́ю.—Ты нашёл лу́чше?—Да, нашёл. Да, нашёл,—тве́рдо повтори́л Никола́й.—Оста́нься с на́ми. — Это немы́слимо, оте́ц. И ты э́то зна́ешь.—Никола́й!—прозвуча́л гне́вный о́клик Алекса́ндра Анто́новича. И че́рез мину́ту напряжённого молча́ния ти́хий и немно́го гру́стный отве́т Никола́я:— Ты все тот же, оте́ц. Вспы́льчивый и—до́брый.

И Рождество́ в э́том бога́том до́ме наступи́ло сму́тное и безра́достное. Прису́тствие челове́ка, кото́рый ни в чём не разделя́л мы́слей и чу́вств окружа́вших его́ люде́й, мра́чным кошма́ром нависа́ло над все́ми и отнима́ло у пра́здника не то́лько его́ ра́достный хара́ктер, но и са́мый смысл. Каза́лось, что и сам Никола́й заме́тил, как тя́гостен он для други́х, и почти́ не выходи́л из свое́й ко́мнаты—но за глаза́ми он каза́лся ещё страшне́е, чем на глаза́х. За не́сколько дне́й до Рождества́ у Барсуко́вых случа́йно собрали́сь го́сти; Никола́й не вы́шел к ним, как вообще́ не выходи́л ни к кому́ из посторо́нних, и оде́тый лежа́л на посте́ли, прислу́шиваясь к зву́кам му́зыки. Смягчённые то́лщей стен, они́ каза́лись мелоди́чными и не́жными, как далёкое пе́ние чи́стых и безгре́шных голосо́в, и так мя́гко входи́ли в у́хо, сло́вно пел са́мый во́здух. Никола́й вслу́шивался и вспомина́л то вре́мя, когда́ он был ещё ма́ленький, и бы́ла жива́ его́ мать, и у них собира́лись го́сти, а он та́кже издалека́ прислу́шивался к му́зыке и гре́зил—не о́бразами, а чем-то

другим, в чём и образы, и звуки сплетались в одно яркое и мучительно красивое; и оно извивалось, как разноцветная поющая лента. И он понимал тогда, что значит это яркое, но не мог никому об'яснить, даже себе, и только старался дольше не засыпать—и засыпал. Раз он заснул таким образом, никем не замеченный, в прихожей, на шубах, и теперь ему ясно представился запах пушистого, щекочущего меха. И снова содрогание непонятного ужаса пробежало холодными иглами по его телу,—но и другое, что-то более мягкое и тёплое, озарило его лицо, и словно ласкающая нежная рука расправила насупленные брови. Лицо стало неподвижно, но спокойно, кротко и незлобиво, как у мёртвого. Нельзя было догадаться, бодрствует он, или спит, жив он, или мёртв; но можно было сказать одно: этот человек отдыхает.

Наступил сочельник, и в сумерки к Николаю явился Феноген Иваныч. Он был почти трезв, мрачен и глядел в сторону, а на глазах замечались следы как будто слёз.

— Пожалуйте к бабушке,—сказал он из дверей.

— Что такое?—удивился Николай.

— Феноген Иваныч вздохнул и повторил:—Пожалуйте к бабушке.—Николай пошёл наверх—и только-что переступил порог, как две тонкие девичьи руки охватили его шею; к лицу приблизилось нежное личико с широко раскрытыми влажными глазами, и голос, задыхающийся от рыданий, зашептал:—Коля, Коля, как ты нас измучил! Коля, Коля, братик милый, помирись с папой. И со мной. И останься с нами, Коля, Коля!—И маленькое, худенькое тело трепетно билось в его руках, и маленькое, никому ненужное сердечко стало таким огромным, что в него вошёл бы весь бесконечно страдающий мир. Николай хмуро, исподлобья метнул взор по сторонам. С постели тянулись к нему страшные в своей безкровной худобе руки бабушки, и голос, в котором уже слышались отзвуки иной жизни,

хри́плым рыда́ющим зву́ком проси́л:—Ко́ля! Ко́ля!... А на поро́ге пла́кал Феноге́н Ива́ныч. Он потеря́л всю свою ва́жность и хлю́пал но́сом, и дви́гал ртом и бровя́ми; и слёз бы́ло так мно́го, они́ тако́й реко́й текли́ по его́ лицу́, то́чно шли не из глаз, как у всех люде́й, а сочи́лись из всех пор те́ла:—Друг мо́й! Нико́ленька!—шепта́л он моли́твенно, протя́гивая вперёд ру́ки с засты́вшим в нём кра́сным платко́м. Никола́й беспо́мощно и жа́лко улыба́лся, не зна́я того́, что из его́ орли́ных, тепе́рь поме́ркших глаз, па́дают ре́дкие ску́пые слези́нки. И тогда́ из тёмного угла́ вы́ступила на свет трясу́щаяся ста́рческой дро́жью бесси́льная голова́ того́, кто был его́ отцо́м, и всю жизнь кото́рого ненави́дел и не понима́л. И тепе́рь он по́нял. С тем же безу́мием любви́, каки́м была́ прони́кнута его́ не́нависть, Никола́й рвану́лся к отцу́, увлека́я за собо́й Ни́ночку. И все тро́е, сби́вшиеся в оди́н живо́й пла́чущий комо́к, обнажи́вшие свои́ сердца́, потрясённые—они́ на миг ста́ли одни́м вели́ким существо́м с еди́ным се́рдцем и еди́ной душо́й.

— Оста́лся!—хри́плым торжеству́ющим зву́ком крича́ла стару́ха.—Оста́лся!

— Друг мо́й! Ни́ко́ленька!—шепта́л моли́твенно Феноге́н Ива́ныч.

— Да! Да!—говори́л Никола́й, не понима́я, кому́ и на что он отвеча́л.—Да! Да!—повторя́л он, целу́я дрожа́щую ста́рую ру́ку, кото́рая с безмо́лвной не́жностью гла́дила его́ по голове́ и лицу́...

— ...Да! Да!—всё ещё тверди́л он, уже́ чу́вствуя, как в душе́ его́ выроста́ет гро́зное и неумоли́мое, коро́ткое и тупо́е „нет“!

Уже́ надвига́лась ночь, и весь большо́й дом, начина́я с людско́й и конча́я ба́рскими ко́мнатами, сверка́л весёлыми огня́ми. Лю́ди ве́село болта́ли и шу́мно переклика́лись, и ма́ленькие, дороги́е, хру́пкие и нену́жные ве́щи уже́ не

боя́лись за себя́. Они́ го́рдо смотре́ли с свои́х возвы́шенных ме́ст на суети́вшихся люде́й и безбоя́зненно выставля́ли свою́ красоту́; и всё, каза́лось, в э́том до́ме служи́ло им и преклоня́лось пе́ред их до́рого сто́ящим существова́нием.

Алекса́ндр Анто́нович, Ни́ночка и да́же студе́нт сиде́ли все ещё в ко́мнате у ба́бушки и то говори́ли о своём сча́стье, то, мо́лча, прислу́шивались к нему́. Феноге́н Ива́ныч, ещё немно́го вы́пивший от ра́дости, вы́шел на во́здух с це́лью слегка́ прохлади́ть свою́ го́лову; и в то вре́мя, когда́ он погла́живал рука́ми кра́сную лы́сину, на кото́рой снежи́нки та́яли, как на раскалённой плите́, он с удивле́нием уви́дел Никола́я. Держа́ в рука́х небольшо́й сачёк, Никола́й шёл из-за угла́, где находи́лся чёрный ход, и был та́кже неприя́тно удивлён, уви́дев Феноге́на Ива́ныча.

— А, Феноге́шка!—ти́хо сказа́л он.—Ну-ка, проводи́ меня́ до воро́т.

— Друг...—растéрянно бормота́л Феноге́н Ива́ныч.

— Молчи́. Там поговори́м.

Улица в э́тот час была́ безлю́дна, и о́ба конца́ её теря́лись в белесова́той ды́мке ме́дленно и бесшу́мно па́дающего сне́га. Останови́вшись пе́ред Феноге́ном Ива́нычем и пря́мо в глаза́ смотря́ ему́ свои́ми вы́пуклыми блестя́щими глаза́ми, Никола́й положи́л ру́ку ему́ на плечо́ и сказа́л ме́дленно, то́чно обуча́я ребе́нка:

— Скажи́ отцу́, что Никола́й, мол, Алекса́ндрович веле́ли кла́няться и сказа́ть, что они́—ушли́.

— Куда́?

— Про́сто—ушли́. Проща́й.—Никола́й похло́пал лаке́я по плечу́ и тро́нулся от него́. Но Феноге́н Ива́ныч и без слов знал, куда́ идёт Никола́й, и со все́й си́лой, кака́я была́ у него́ в рука́х, схвати́л его́:

— Не пущу́! Бог свят, не пущу́!

Никола́й оттолкну́л его́ и удивлённо посмотре́л. Но Феноге́н Ива́ныч сложи́л моли́твенно ру́ки и хны́чущим го́лосом проси́л:

— Нико́ленька! Друг еди́нственный! Плю́ньте, не ходи́те. Ну, что там? Де́ньги есть. Три заво́да. Дома́. Акции каждодне́вно обреза́ют,—бессмы́сленно повторя́л он слова́ эконо́мки.

— Что ты горо́дишь?—нахму́рился Никола́й и бы́стро зашага́л. Но Феноге́н Ива́ныч, весь пра́здничный в своём но́вом фра́ке и весь разви́нченный и сло́вно помя́тый, бежа́л за ним, хвата́л его́ за́ ру́ки и моли́л:

— Ну и я! И меня́ возьми́те. Что же, ей-Бо́гу! Голу́бчик. В разбо́йники, так в разбо́йники!—и Феноге́н Ива́ныч отча́янно махну́л руко́й, проща́ясь с ми́ром че́стных люде́й.

Никола́й останови́лся и мо́лча взгляну́л на слугу́. И в э́том взгля́де блесну́ло что-то до того́ стра́шное, холо́дно-свире́пое и отча́янное, что язы́к Феноге́на Ива́нычa оне́мел и но́ги приросли́ к земле́. Высо́кая фигу́ра Никола́я сере́ла и уменьша́лась, сло́вно та́я в се́рой мгле́. Ещё мину́та—и он навсегда́ скры́лся в то́й злове́щей дали́, отку́да неожи́данно пришёл. И уже́ ничего́ живо́го не ви́делось в безлю́дном простра́нстве, а Феноге́н Ива́ныч всё ещё стоя́л и смотре́л. Крахма́льный воротни́к руба́шки обмя́к и прили́п к шее́; снежи́нки ме́дленно та́яли на кра́сной похолоде́вшей лы́сине и вме́сте со слеза́ми кати́лись по широ́кому бри́тому лицу́.

Л. Андре́ев.

Умеря́ли шаг=шли ти́ше.

Шли на цы́почках=шли на па́льцах ног.

Фамилья́рно звать=называ́ть челове́ка по́просту, по бра́тски, как родно́го.

Звоно́к его́ был ре́зкий и вла̀стный=он позвони́л о́чень гро́мко, тре́бовал скоре́е откры́ть дверь.

Бы́ло сты́дно своего́ поры́ва=бы́ло сты́дно свое́й ра́дости.

Ра́дость бурли́ла в груди́=ра́дость была́ в груди́.

Репети́тор=дома́шний учи́тель.

Прихотли́во размета́вшиеся во́лосы=нерасчёсанные во́лосы.

Гра́ция=красота́, пре́лесть в движе́нии.

Ночёвка=ночле́г.

Пла́тье.... непри́гнанное к те́лу=пла́тье не по ро́сту челове́ка.

Ва́жно=хорошо́.

А́кция=докуме́нт, бума́га, по кото́рой капитали́ст получа́ет бары́ши́ из предприя́тия.

Та́лия=часть челове́ческого ту́ловища от плеч до по́яса.

Ка́фля=кирпи́ч, с вне́шней стороны́ тако́й бе́лый, как ча́йная посу́да.

Высокоме́рный=го́рдый.

Изы́сканное пла́тье=са́мое лу́чшее пла́тье.

Стоя́л особняко́м=жил одино́ко.

Изя́щный=краси́вый.

Копи́ровала=срисо́вывала с друго́й карти́ны.

Софа́=ме́бель, похо́жая на дива́н.

Впечатли́тельный=бы́стро воспринима́ющий впечатле́ния: бы́стро ра́дующийся, огорча́ющийся, пуга́ющийся и т. п.

Критико́вать=находи́ть хоро́шие и́ли дурны́е сто́роны в предме́те.

Попечи́тельство о бе́дных—о́бщество, забо́тящееся о бе́дных; организа́ция.

Де́нег невпроворо́т—де́нег о́чень мно́го.

Кошма́р—у́жас.

Мелоди́чные зву́ки—прия́тные для слу́ха зву́ки.

Грéзил—мечтáл.

Бóдрствует—не спит.

Пóры—мáленькие отвéрстия на кóже, из котóрых выхóдит пот.

Сачóк—пальтó; одéжда.

Звездá.

Это случи́лось в дáвние временá, в далёком, невéдомом краю́.

Над крáем э́тим цари́ла вéчная, чёрная ночь; гнилы́е тумáны поднимáлись над болóтистою землёю и стлáлись в вóздухе; лю́ди рождáлись, росли́, люби́ли и умирáли в сырóм мрáке. Но иногдá дыхáние вéтра разгоня́ло тяжёлые испарéния земли́, и тогдá с далёкого нéба на людéй смотрéли я́ркие звёзды. Наступáл всеóбщий прáздник. Лю́ди, в одинóчку сидéвшие в свои́х тёмных, как погребá, жили́щах, сходи́лись на плóщадь и пéли ги́мны нéбу, отцы́ укáзывали дéтям на звёзды и учи́ли, что в стремлéнии к ним—жизнь и счáстье человéка; ю́ноши и дéвушки жáдно вгля́дывались в нéбо, неся́сь к немý душóю из дави́вшего зéмлю мрáка. Звёздам моли́лись жрецы́, звёзды воспевáли поэ́ты; учёные изучи́ли пути́ звёзд, их числó, величинý и сдéлали вáжное откры́тие: оказáлось, что звёзды мéдленно, но непреры́вно приближáются к землé; дéсять ты́сяч лет назáд, как говори́ли совершéнно достовéрные истóчники, с трудóм мóжно бы́ло различи́ть улы́бку на лицé ребёнка за полторá шáга; тепéрь же вся́кий легкó различáл её за цéлых три шáга. Бы́ло вне вся́кого сомнéния, что чéрез нéсколько миллиóнов лет нéбо засия́ет я́ркими огня́ми, и на землé настýпит цáрство вéчного, лучезáрного свéта. И все терпели́во ждáли э́того блажéнного врéмени и с надéждою на негó умирáли.

Так дóлгие гóды шла жизнь людéй, ти́хая и безмятéжная, согревáемая крóткою вéрою в далёкие звёзды.

Одна́жды звёзды на не́бе горе́ли осо́бенно я́рко. Лю́ди толпи́лись на пло́щади, в немо́м благогове́нии вознося́сь душо́ю к ве́чному све́ту. И вдруг из толпы́ разда́лся го́лос.

— Бра́тья! говори́л э́тот го́лос.—Как светло́ и чу́дно там, в высо́ких небе́сных равни́нах, а у нас здесь—как сы́ро и мра́чно! Томи́тся ду́ма моя́, нет ей жи́зни и во́ли в э́той ве́чной тьме́. Что нам до того́, что че́рез миллио́ны лет жизнь на́ших да́льних пото́мков озари́тся непреходя́щим све́том? Нам, нам ну́жен э́тот свет, ну́жен бо́льше во́здуха и пи́щи, бо́льше ма́тери и возлю́бленной. Кто зна́ет,—быть мо́жет, есть путь к звёздам, быть мо́жет, мы в си́лах сорва́ть их с не́ба и водрузи́ть здесь, среди́ нас, на ра́дость всей земле́. Пойдёмте же иска́ть э́тот путь, пойдёмте иска́ть све́та для жи́зни. В собра́нии воцари́лось молча́ние.

— Кто говори́л э́то? шо́потом спра́шивали лю́ди друг дру́га.

— Это—Адейл, ю́ноша безрассу́дный и непоко́рный.

И опя́ть не́которое вре́мя бы́ло молча́ние.

— Ми́лый ю́ноша! заговори́л наконе́ц ста́рый Теур, учи́тель у́мных, свет нау́ки.—Всем нам поня́тна твоя́ тоска́; кто в своё вре́мя не боле́л е́ю? Но невозмо́жно челове́ку сорва́ть с не́ба звезду́: кра́й земли́ конча́ется глубо́кими прова́лами и бе́зднами, за ни́ми круты́е ска́лы, и нет че́рез них пути́ к звёздам. Так говори́т о́пыт и му́дрость.

— Не к вам, му́дрые и обраща́юсь я, возрази́л Адейл.—Ваш о́пыт бе́льмами покрыва́ет глаза́ ва́ши, и му́дрость ва́ша ослепля́ет вас. К вам взыва́ю я, молоды́е и сме́лые се́рдцем, ещё не разда́вленным дря́хлою ста́рческою му́дростью.

И он ждал отве́та.

Одни́ сказа́ли:

— Мы бы ра́ды пойти́, но мы—свет и ра́дость в оча́х роди́телей на́ших и не хоти́м причиня́ть им печа́ли.

Другі́е сказа́ли:

— Мы бы ра́ды пойти́, но мы то́лько что на́чали стро́ить на́ши дома́ и хоти́м ра́ньше зако́нчить их.

Тре́тьи сказа́ли:

— Приве́т тебе́, Адейл! Мы идём с тобо́ю!

И подняли́сь мно́гие ю́ноши и де́вушки, и пошли́ за Адейлом,—пошли́ в тёмную, гро́зную даль, и тьма поглоти́ла их.

Прошло́ мно́го вре́мени. Об уше́дших не́ было никаки́х весте́й. Ма́тери опла́кали свои́х безрассу́дно поги́бших дете́й, и жизнь потекла́ по пре́жнему. Опя́ть в сыро́м мра́ке роди́лись, росли́, люби́ли и умира́ли лю́ди, с ти́хою наде́ждою, что че́рез ты́сячи веко́в на зе́млю сойдёт свет.

Но вот одна́жды над тёмным горизо́нтом не́бо сла́бо освети́лось мелька́ющим, тре́петным све́том.

— Что э́то там? удивлённо спра́шивали лю́ди, толпя́сь на у́лицах и пло́щади.

Не́бо над горизо́нтом с ка́ждым ча́сом светле́ло; голубы́е лучи́ скользи́ли по тума́нам, прони́зывали облака́ и широ́ким све́том залива́ли небе́сные равни́ны. Угрю́мые ту́чи, испу́ганно клубя́сь и толка́ясь, бежа́ли вдаль, и всё я́рче разлива́лись по не́бу торжеству́ющие лучи́, и тре́пет небыва́лой ра́дости пробега́л по земле́.

— Тако́й свет мо́жет быть то́лько от ве́чной небе́сной звезды́, заду́мчиво произнёс ста́рый жре́ц Сатзо́й.

— Но как могла́ она́ спусти́ться на зе́млю? возрази́л Тсур, учи́тель у́мных, свет нау́ки.—Нет нам пути́ к звёздам, и нет звёздам пути́ к нам.

А не́бо все светле́ло и светле́ло, и вдруг вдали́, над горизо́нтом, показа́лась ослепи́тельно я́ркая то́чка.

— Звезда́! Идёт звезда́! ра́достным кли́ком пронесло́сь по всему́ го́роду, и лю́ди побежа́ли навстре́чу сия́вшей вдали́ то́чке.

Яркие, как день, лучи́ гна́ли пе́ред собо́ю гнилы́е тума́ны, разо́рванные, взлохма́ченные; тума́ны мета́лись и

приникали к земле, а лучи били по ним, рвали их на ч. сти и вгоняли в землю. Осветилась и очистилась вся даль земли, и люди увидели, как широка эта даль, сколько вольного простору на земле, и сколько братьев их живёт во все стороны от них.

И они спешили навстречу двигавшейся к ним звезде.

По дороге тихим шагом шёл Адейл и высоко держал за луч сорванную с неба звезду. Он был один.

— Где же остальные? спрашивали его.

— Все погибли, ответил Адейл обрывающимся голосом.—Погибли в провалах и безднах, прокладывая пути к небу.

Ликующая толпа окружила звездоносца. Девушки осыпали его цветами, отовсюду неслись восторженные клики:

— Слава Адейлу! Слава принесшему свет!

Он вошёл в город и остановился на площади, высоко в руке держа сиявшую звезду. И по всему городу разлилось ликование.

Прошли дни. Попрежнему ярко сияла на площади звезда в высокоподнятой руке Адейла. Но давно уже прекратилось в городе ликование. Люди ходили, сердитые и хмурые, потупив взоры, и старались не смотреть друг на друга. Когда им приходилось итти через площадь, глаза их при виде Адейла загорались мрачною враждою. Не слышно было песен, не слышно было молитв. На место разогнанных звездою гнилых туманов над городом невидимым туманом сгущалась чёрная, угрюмая злоба,—сгущалась, росла и напрягалась, и под гнётом её нельзя было жить.

И вот с воплем выбежал на площадь человек; глаза его горели, лицо исказилось от разрывавшей душу злобы.

— Долой звезду! Долой проклятого звездоносца! в безумии бешенства кричал он.—Братья, разве не души всех вас вопят моими устами: долой звезду, долой свет,—

он лишил нас жизни и радости! Мы мирно и безмятежно жили во мраке, любили наши милые жилища, нашу тихую жизнь. И смотрите, — что такое случилось? Пришёл свет, — и нет уж отрады ни в чём. Грязными уродливыми кучами теснятся дома, листья деревьев бледны и склизки, как кожа на брюхе лягушки! Посмотрите на землю, — она вся покрыта кровавою грязью. Откуда эта кровь, кто знает? Но она липнет к рукам, её запах преследует нас за едою и во сне, он отравляет и обессиливает наши смиренные молитвы к звёздам. И нигде нет спасения от этого дерзкого всепроникающего света! Он врывается в наши дома, и вот мы видим: все они облеплены грязью; грязь въелась в стены, затянула окна, вонючими кучами громоздится в углах. Мы больше не можем целовать наших возлюбленных: при свете адейловой звезды они стали отвратительнее могильного червя; глаза их бледны, как у мокриц, мягкие тела покрыты пятнами и отливают плесенью. И друг на друга уж не можем мы больше смотреть, — не человека видим мы перед собою, а поругание человека... Каждый наш тайный шаг, каждое скрытое движение освещает этот неумолимый свет... Невозможно жить! Долой звездоносца, да погибнет свет!

— Долой! подхватила толпа. — Да живёт тьма! Только горе и проклятье приносит людям свет звёзд... Смерть звездоносцу!

И грозно заволновалась толпа, и бешеным рёвом старалась опьянить себя и заглушить ужас перед произнесённою ею великою хулою на свет: и двинулась она на Адейла. Но смертельно-ярко светила звезда в руке звездоносца, и люди не смогли подойти к нему.

— Братья, стойте! вдруг раздался голос старого жреца Сатзоя. — Тяжкий грех берёте вы на душу, проклиная свет! Чему мы молимся, чем мы живём, как не светом? Но и ты, сын мой, обратился он к Адейлу, — и ты совершил не мень-

ший грех, снести звезду́ на зе́млю. Пра́вда, вели́кий Бра́ма сказа́л: „Блаже́н, кто стреми́тся к звёздам“. Но де́рзкие свое́ю му́простью лю́ди непра́вильно по́няли сло́во всемирночти́мого. Ученики́ ученико́в его́ растолкова́ли и́стинный смысл тёмного сло́ва всему́дрого: к звёздам челове́к до́лжен стреми́ться лишь по́мыслами, а на земле́ тьма́ столь же свяще́нна, как на не́бе—свет. И вот э́ту-то и́стину презре́л ты свои́м вознёсшимся умо́м. Раска́йся же, сын мо́й, брось звезду́, и да воцари́тся на земле́ пре́жний мир!

— А ты ду́маешь, е́сли я её бро́шу,—мир на земле́ не поги́б уже́ наве́ки? с усме́шкою спроси́л Аде́ил

И с у́жасом почу́вствовали лю́ди, что пра́вду сказа́л Аде́ил, что пре́жний мир уж не воро́тится никогда́.

Тогда́ вы́ступил вперёд ста́рый Тсур, учи́тель у́мных, свет нау́ки.

— Безрассу́дно поступи́л ты, Аде́ил, и не мо́жешь не ви́деть сам плодо́в своего́ безрассу́дства, заговори́л он.—По зако́нам приро́ды жизнь развива́ется ме́дленно, и ме́дленно приближа́ются к жи́зни далёкие звёзды. При их постепе́нно приближа́ющемся све́те постепе́нно перестра́ивается и жизнь. Но ты не захоте́л ждать, ты на свой страх сорва́л звезду́ с не́ба и я́рко освети́л е́ю жизнь. Что же получи́лось? Её неустро́йства ре́зко броса́ются в глаза́, она́ вы́глядит гря́зной, жа́лкой и уро́дливой. Но ра́зве мы ра́ньше не дога́дывались, что она́ такова́, и ра́зве в э́том была́ зада́ча? Не велика́ му́дрость сорва́ть с не́ба звезду́ и освети́ть е́ю уро́дства жи́зни. Нет, возьми́сь за чёрную, тру́дную рабо́ту переустро́йства жи́зни; тогда́ ты уви́дишь, легко́ ли очи́стить её от накопи́вшейся века́ми гря́зи, мо́жно ли смыть э́ту грязь хотя́ бы це́лым мо́рем са́мого лучеза́рного све́та. Ско́лько в э́том де́тской нео́пытности, ско́лько непонима́ния усло́вий и зако́нов жи́зни! И вот, вме́сто ра́дости, ты принёс на зе́млю ско́рбь, вме́сто ми́ра—войну́. А ты мог бы, и тепе́рь мо́жешь быть поле́зным жи́зни: разбе́й звезду́,

возьми́ из неё лишь ма́ленький оско́лок,—и э́тот оско́лок осве́тит жизнь как раз насто́лько, сколько ну́жно для плодотво́рной и разу́мной рабо́ты над не́ю.

— Ты ве́рно сказа́л, Тсур! отве́тил Адейл.—Не ра́дость принесла́ сюда́ звезда́, а ско́рбь, не мир, а войну́. Не э́того ждал я, когда́ по обры́вистым ска́лам кара́бкался к звёздам, когда́ вокру́г меня́ обрыва́лись и па́дали в бе́здну това́рищи... Я ду́мал хоть оди́н из нас дости́гнет це́ли и принесёт на зе́млю звезду́, и в я́рком све́те насту́пит на земле́ я́ркая све́тлая жи́знь. Но когда́ я стоя́л на пло́щади, когда́ я при све́те небе́сной звезды́ уви́дел ва́шу жизнь, я по́нял, что безу́мны бы́ли мои́ мечты́; я по́нял, что свет был вам ну́жен лишь в недосяга́емом не́бе, чтоб преклоня́ться пе́ред ним в торже́ственные мину́ты жи́зни. На земле́ же вам всего́ доро́же мрак, в кото́ром мо́жно пря́таться друг от дру́га и, гла́вное, быть дово́льным собо́ю, свое́ю тё́мною, прое́денною пле́сенью жи́знью. Но ещё бо́льше, чем пре́жде, я почу́вствовал, что невозмо́жно жить э́тою жи́знью, что ка́ждою ка́плею свое́й крова́вой гря́зи, ка́ждым пятно́м сыро́й пле́сени она́ неумо́лчно вопие́т к не́бу... Впро́чем, могу́ вас уте́шить: свети́ть мое́й звезде́ не до́лго. Там, в далёком не́бе, вися́т звёзды и све́тят са́ми собо́ю; но, со́рванная с не́ба, снесённая на зе́млю, звезда́ мо́жет свети́ть, лишь пита́ясь кро́вью держа́щего её. Я чу́вствую, что жи́знь моя́, как по свети́льне, поднима́ется по моему́ те́лу к звезде́ и сгора́ет в не́й; ещё немно́го—и жизнь моя́ сгори́т целико́м; и нельзя́ никому́ переда́ть звезды́; она́ га́снет вме́сте с жи́знью несу́щего её, и ка́ждый до́лжен добыва́ть звезду́ вновь. И к вам обраща́юсь я, че́стные и сме́лые се́рдцем, к вам, кото́рые, позна́в свет, уж не захоти́те жить во мра́ке. Иди́те в далёкий путь и неси́те сюда́ но́вые звёзды. До́лог и тру́ден путь, но всё-таки для вас он бу́дет уж ле́гче, чем для нас, впервы́е поги́бших на нём: тропи́нки проло́жены, пути́ наме́чены. И вы вороти́тесь со звёздами, и не исся́кнет

больше их свет на земле: а при их неугасающем свете невозможною станет такая жизнь, как теперь; высохнут болота, и исчезнут чёрные туманы, ярко зазеленеют деревья; и те, которые теперь в ярости кидаются на звезду, волею-неволею возьмутся за переустройство жизни; ведь и вся злоба их теперь оттого, что при свете,—они чувствуют,— им невозможно жить так, как они живут. И жизнь станет великою и чистою, и прекрасна будет она при лучезарном свете питаемых нашею кровью звёзд. А когда, наконец, спустится к нам звёздное небо и осветит жизнь, то оно застанет её достойною света, и тогда уж не нужна будет наша кровь, чтоб питать этот вечный, непреходящий свет...

Голос Адейла оборвался; последние кровинки сбежали с его бледного лица. И подогнулись колени звездоносца, и он упал, а вместе с ним упала звезда,—упала, зашипела в кровавой грязи и погасла.

И со всех сторон ринулась чёрная тьма и замкнулась над погасшею звездою; поднялись из земли ожившие туманы и заклубились в воздухе. И жалкими, робкими огоньками светились сквозь них на далёком небе далёкие, бессильные и неопасные звёзды.

Прошли годы. По прежнему в сыром мраке родились, росли, любили и умирали люди; по прежнему мирною и спокойною казалась жизнь. Но глубокая тревога и неудовлетворённость подтачивали её во мраке. Люди старались и не могли забыть того, что осветила мимолётным своим светом яркая звезда. Отравлены были прежние тихие радости; ложь въелась во всё. Благоговейно молясь на далёкую звезду, человек начинал думать: „А вдруг найдётся другой безумец и принесёт эту звезду сюда, к нам?“ И язык его начинал заплетаться, и благоговейное парение сменялось трусливою дрожью. Отец учил сына, что в стремлении к звёздам—жизнь и счастье человека;—и вдруг у него мель-

ка́ла мысль: „А ну, как в сы́не и впра́вду загори́тся стремле́ние к звёздному све́ту, и он, подо́бно Аде́йлу, пойдёт за звездо́ю и принесёт её на зе́млю!“ И оте́ц спеши́л об'ясни́ть сы́ну, что свет, коне́чно, хоро́ш, но безу́мно пыта́ться низвести́ его́ на зе́млю, что бы́ли таки́е безу́мцы, и они́ бессла́вно поги́бли, не принёсши по́льзы для жи́зни.

Этому же учи́ли люде́й жрецы́, э́то же дока́зывали учёные. Но напра́сно звуча́ли их про́поведи: то и де́ло разноси́лась весть, что тако́й то ю́ноша и́ли де́вушка ушли́ из родно́го гнезда́. Куда́? Не по пути́ ли, ука́занному Аде́йлом? И с у́жасом чу́вствовали лю́ди, что, е́сли опя́ть засия́ет на земле́ свет, то придётся им во́лею-нево́лею взя́ться, наконе́ц, за грома́дную рабо́ту, и нельзя́ бу́дет уйти́ от неё никуда́. И со сму́тным беспоко́йством вгля́дывались они́ в в далёкий, тёмный горизо́нт, и им каза́лось, что над ним начина́ет мелька́ть трепе́щущий о́тсвет приближа́ющихся звёзд.

В. Вереса́ев.

Неве́домый край=неизве́стный край.
Гимн=торже́ственная песнь.
Поэт=сочини́тель стихо́в.
Водрузи́ть=поста́вить; утверди́ть.
Бе́здна=про́пасть, яма о́чень глубо́кая.
Бельмо́=пятно́ на глазу́=كوزكه توشكان ئاق
Жрец=служи́тель бо́га, язы́ческий свяще́нник.
Взо́ры=глаза́.
Вопль=плач.
Лицо́ искази́лось=лицо́ сде́лалось некраси́вым.
Во́пят=гро́мко пла́чут.
Отлива́ет пле́сенью=цве́том похо́ж на пле́сень.
Бра́ма=бог инду́сов.
Всемирночти́мый=бог.

Презре́л=забы́л.

Недосяга́емое не́бо=далёкое не́бо.

Вопиёт=говори́т.

Непреходя́щий свет=неугаса́ющий свет, постоянный.

Благогове́йно=уважи́тельно.

Паре́ние=стремле́ние вверх.

Отсвет=отраже́ние, о́тблеск.

Брази́льская па́льма.

В одно́м большо́м го́роде был ботани́ческий сад, а в э́том саду́—огро́мная оранжере́я из желе́за и стекла́. Она́ была́ о́чень краси́ва: стро́йные вита́е коло́нны подде́рживали всё зда́ние; на них опира́лись лёгкие узо́рчатые а́рки, переплетённые между́ собо́ю це́лой паути́ной желе́зных рам, в кото́рые бы́ли вста́влены стёкла. Осо́бенно хороша́ была́ оранжере́я, когда́ со́лнце заходи́ло и освеща́ло её кра́сным све́том. Тогда́ она́ вся горе́ла, кра́сные о́тблески игра́ли и перелива́лись, то́чно в огро́мном, ме́лко отшлифо́ванном драгоце́нном ка́мне.

Сквозь то́лстые прозра́чные стёкла видне́лись заключённые расте́ния. Несмотря́ на величину́ оранжере́и, им бы́ло в ней те́сно. Ко́рни переплета́лись между́ собо́ю и отнима́ли друг у дру́га вла́гу и пи́щу. Ве́тви дерёв меша́лись с огро́мными ли́стьями па́льм, гну́ли и лома́ли их, и са́ми, налега́я на желе́зные ра́мы, гну́лись и лома́лись. Садо́вники постоя́нно обреза́ли ве́тви, подвя́зывали про́волоками ли́стья, что́бы они́ не могли́ расти́, куда́ хотя́т, но э́то всё пло́хо помога́ло. Для расте́ний нужны́ бы́ли широ́кий просто́р, родно́й край и свобо́да. Они́ бы́ли уроже́нцы жа́рких стран, не́жные, роско́шные созда́нья; они́ по́мнили свою́ ро́дину и тоскова́ли о ней.

Как ни прозра́чна стекля́нная кры́ша, но она́—не я́сное не́бо. Иногда́ зимо́й стёкла обмерза́ли; тогда́ в оранжере́е станови́лось совсе́м темно́. Гуде́л ве́тер, бил в ра́мы и заставля́л их дрожа́ть. Кры́ша покрыва́лась наметённым сне́гом. Расте́ния стоя́ли и слу́шали вой ве́тра, и вспомина́ли ино́й ве́тер, тёплый, вла́жный, дава́вший им жизнь и здоро́вье. И им хоте́лось вновь почу́вствовать его́ ве́янье, хоте́лось, что́бы он покача́л их ветвя́ми, поигра́л их ли́стьями. Но в оранжере́е во́здух был неподви́жен; ра́зве то́лько иногда́ зи́мняя бу́ря выбива́ла стекло́, и ре́зкая холо́дная струя́, по́лная и́нея, влета́ла под свод. Куда́ попада́ла э́та струя́, там ли́стья бледне́ли, съёживались и увяда́ли.

Но стёкла вставля́ли о́чень ско́ро. Ботани́ческим са́дом управля́л отли́чный учёный дире́ктор и не допуска́л никако́го беспоря́дка, несмотря́ на то, что бо́льшую часть вре́мени проводи́л в заня́тиях с микроско́пом в осо́бой стекля́нной бу́дочке, устро́енной в гла́вной оранжере́е.

Была́ между́ расте́ниями одна́ па́льма, вы́ше всех и краси́вее всех. Дире́ктор, сиде́вший в бу́дочке, называ́л её по-латы́ни Атта́леа.

Но э́то и́мя не́ было её родны́м и́менем: его́ приду́мали бота́ники. Родно́го и́мени бота́ники не зна́ли, и оно́ не́ было напи́сано са́жей на бе́лой доще́чке, приби́той к стволу́ па́льмы. Раз пришёл в ботани́ческий сад прие́зжий из той жа́ркой страны́, где вы́росла па́льма; когда́ он уви́дел её, то улыбну́лся, потому́ что она́ напо́мнила ему́ ро́дину.

— А!—сказа́л он, я зна́ю э́то де́рево.—И он на́звал его́ родны́м и́менем.

— Извини́те,—кри́кнул ему́ из свое́й бу́дочки дире́ктор, в э́то вре́мя внима́тельно разре́зывавший бри́твой како́й-то стебелёк,—вы ошиба́етесь! Тако́го де́рева, како́е вы изво́лили сказа́ть, не существу́ет. Это—де́рево ро́дом из Брази́лии.

— О, да,—сказа́л брази́лец,—я вполне́ ве́рю вам, что

ботаники называют её Атталеа, но у неё есть и родное, настоящее имя.

— Настоящее имя есть то, которое даётся наукой,— сухо сказал ботаник и запер дверь своей будочки, чтобы ему не мешали люди, не понимающие даже того, что уж если что-нибудь сказал человек науки, так нужно молчать и слушаться.

А бразилец долго стоял и смотрел на дерево, и ему становилось всё грустнее и грустнее. Вспомнил он свою родину, её солнце и небо, её роскошные леса с чудными зверями и птицами, её пустыни, её чудные южные ночи. И вспомнил ещё, что нигде он не бывал счастлив, кроме родного края, а он объехал весь свет. Он коснулся рукою пальмы, как будто бы прощаясь с нею, и ушёл из сада, а на другой день уже уехал на пароходе домой.

А пальма осталась. Ей теперь стало ещё тяжелее, хотя и до этого случая было очень тяжело. Она была совсем одна. На пять сажен возвышалась она над верхушками всех других растений, и эти другие растения не любили её, завидовали ей и считали гордой. Этот рост доставлял ей только одно горе; кроме того, что все были вместе, а она была одна; она лучше всех помнила своё родное небо и больше всех тосковала о нём, потому что ближе всех была к тому, что заменяло им его: к стеклянной крыше. Сквозь неё ей виднелось иногда что-то: то было небо, хоть и чуждое и бледное, но всё-таки настоящее голубое небо. И когда растения болтали между собой, Атталеа всегда молчала, тосковала и думала только о том, как хорошо было бы постоять даже и под этим бледненьким небом.

— Скажите, пожалуйста, скоро ли нас будет поливать?—спросила саговая пальма, очень любившая сырость.— Я, право, кажется, засохну сегодня.

— Меня удивляют ваши слова, соседушка,—сказал

пуза́тый ка́ктус.—Неуже́ли вам ма́ло того́ огро́много коли́чества воды́, кото́рое на вас вылива́ют ка́ждый день? Посмотри́те на меня́: мне даю́т о́чень ма́ло вла́ги, а я всё-таки свеж и со́чен.

— Мы не привы́кли быть чере́зчур бережли́выми,— отвеча́ла са́говая па́льма,—мы не мо́жем расти́ на тако́й сухо́й и дрянно́й по́чве, как каки́е—нибу́дь ка́ктусы. Мы не привы́кли жить как-нибу́дь. И кро́ме всего́ э́того, скажу́ вам ещё, что вас не про́сят де́лать замеча́ния.

Сказа́в э́то, са́говая па́льма оби́делась и замолча́ла.

— Что каса́ется меня́—вмеша́лась кори́ца,—то я почти́ дово́льна свои́м положе́нием. Пра́вда, здесь скучнова́то, но уж я, по кра́йней ме́ре уве́рена, что меня́ никто́ не обдерёт.

— Но, ведь, не всех же нас обдира́ли,—сказа́л древови́дный па́поротник.

— Коне́чно, мно́гим мо́жет показа́ться ра́ем и э́та тюрьма́ по́сле жа́лкого существова́ния, кото́рое они́ вели́ на во́ле.

Тут кори́ца, забы́в, что её обдира́ли, оскорби́лась и начала́ спо́рить. Не́которые расте́ния вступи́лись за неё, не́которые за па́поротник, и начала́сь горя́чая перебра́нка. Е́сли бы они́ могли́ дви́гаться, то непреме́нно бы подрали́сь.

— Зачё́м вы́ ссо́ритесь?—сказа́ла Атта́лея.– Ра́зве вы помо́жете себе́ э́тим? Вы то́лько увели́чиваете своё несча́стье зло́бою и раздраже́нием. Лу́чше оста́вьте ва́ши спо́ры и поду́майте о де́ле. Послу́шайте меня́! Расти́те вы́ше и ши́ре, раски́дывайте ве́тви, напира́йте на ра́мы и стёкла: на́ша оранжере́я рассы́плется в куски́, и мы вы́йдем на свобо́ду. Е́сли одна́ кака́я-нибу́дь ве́тка упрётся в стекло́, то, коне́чно, её отре́жут; но что сде́лают с со́тней си́льных и сме́лых стволо́в? Ну́жно то́лько рабо́тать дружне́е, и побе́да за на́ми.

Снача́ла никто́ не возража́л па́льме: все́ молча́ли и не зна́ли, что сказа́ть. Наконе́ц са́говая па́льма реши́лась.

— Всё э́то глу́пости,—заяви́ла она́.

— Глу́пости! глу́пости!—заговори́ли дере́вья, и все́ ра́зом нача́ли дока́зывать Атта́леа, что она́ предлага́ет ужа́сный вздо́р. Несбы́точная мечта́!—крича́ли они́.—Вздор! Неле́пость! Ра́мы про́чны, и мы никогда́ не сло́мим их, да е́слибы и слома́ли, так что ж тако́е? Приду́т лю́ди с ножа́ми и с топора́ми, отру́бят ве́тви, заде́лают ра́мы, и всё пойдёт по ста́рому. То́лько и бу́дет, что отре́жут от нас це́лые куски́...

— Ну́, как хоти́те!—отвеча́ла Атта́леа.—Теперь я зна́ю, что́ мне́ де́лать. Я оста́влю вас в поко́е: живи́те, как хоти́те, ворчи́те друг на друга, спо́рьте из-за пода́чек воды́ и остава́йтесь ве́чно под стекля́нным колпако́м. Я и одна́ найду́ себе́ доро́гу. Я хочу́ ви́деть не́бо и со́лнце не сквозь э́ти решётки и стёкла—и я́ уви́жу!

И па́льма го́рдо смотре́ла зелёной верши́ной на лес това́рищей, раски́нутый под не́ю. Никто́ из них не смел ничего́ сказа́ть ей; то́лько са́говая па́льма ти́хо сказа́ла сосе́дке:

Ну, посмо́трим, посмо́трим, как тебе́ отре́жут твою́ большу́ю ба́шку, что́бы ты не о́чень зазнава́лась, горди́чка!

Остальны́е хотя́ и молча́ли, но всё-таки серди́лись на Атта́леа за её го́рдые слова́. То́лько одна́ ма́ленькая тра́вка не серди́лась на па́льму и не оби́делась на её ре́чи. Э́то была́ са́мая жа́лкая и презре́нная тра́вка из расте́ний оранжере́и: ры́хлая, бле́дненькая, ползу́чая, с вя́лыми, то́ненькими ли́стьями. В ней не́ было ничего́ замеча́тельного, и она́ употребля́лась в оранжере́е то́лько для того́, что́бы закрыва́ть го́лую зе́млю. Она́ обвива́ла собо́ю подно́жие большо́й па́льмы, и, слу́шая её, ей каза́лось, что Атта́леа права́. Она́ не зна́ла ю́жной приро́ды, но то́же люби́ла во́здух и свобо́ду. Оранжере́я и для неё была́ тюрьмо́й. „Если я, ничто́жная, вя́лая тра́вка, так страда́ю без своего́ сере́нького не́ба, без бле́дного со́лнца и холо́дного дождя́,

то что́ должно́ испы́тывать в нево́ле это прекра́сное и могу́чее де́рево!"—Так ду́мала она́ и не́жно обвива́лась около па́льмы и ласка́лась к ней.—„Заче́м я́ не большо́е де́рево? Я послу́шалась бы сове́та. Мы росли́ бы вме́сте, вы́шли бы на свобо́ду. Тогда́ и остальны́е уви́дели бы, что Атта́леа права́".

Но она́ была́ не большо́е да́рево, а то́лько ма́ленькая и вя́лая тра́вка. Она́ могла́ то́лько ещё нежне́е обви́ться о́коло ствола́ Атта́леа и прошепта́ть ей свою́ любо́вь и жела́ние сча́стья в попы́тке:

— Коне́чно, у нас во́все не так тепло́, не́бо не так чи́сто, дожди́ не так роско́шны, как в ва́шей стране́, но всё-таки и у нас есть и не́бо, и со́лнце, и ве́тер. У нас нет таки́х пы́шных расте́ний, как вы и ва́ши това́рищи, с таки́ми огро́мными ли́стьями и прекра́сными цвета́ми, но и у нас расту́т о́чень хоро́шие дере́вья: со́сны, е́ли и берёзы. Я—ма́ленькая тра́вка и никогда́ не доберу́сь до свобо́ды, но, ведь, вы так вели́ки и си́льны! Ваш ствол твёрд, и вам уж не до́лго оста́лось расти́ до стекля́нной кры́ши. Вы пробьёте её и вы́йдете на Бо́жий свет. Тогда́ вы расска́жете мне, всё ли там так прекра́сно, как бы́ло. Я бу́ду дово́льна и этим.

— Отчего́ же, ма́ленькая тра́вка, ты не хо́чешь вы́йти вме́сте со мно́ю? Мой ствол твёрд и кре́пок, опира́йся на него́, ползи́ по мне. Мне ничего́ не зна́чит снести́ тебя́.

— Нет уж, куда́ мне! Посмотри́те, кака́я я вя́лая и сла́бая: я не могу́ приподня́ть да́же одно́й свое́й ве́точки. Нет, я вам не това́рищ. Расти́те, бу́дьте сча́стливы! То́лько прошу́ вас, когда́ вы́йдете на свобо́ду, вспомина́йте иногда́ своего́ ма́ленького дру́га!

Тогда́ па́льма приняла́сь расти́. И пре́жде посети́тели оранжере́и удивля́лись её огро́мному ро́сту, а она́ станови́лась с ка́ждым ме́сяцем всё вы́ше и вы́ше. Дире́ктор ботани́ческого са́да припи́сывал тако́й бы́стрый рост хоро́-

шему ухо́ду и горди́лся зна́нием, с каки́м он устро́ил оранжере́ю и вёл своё де́ло.

— Да-с, взгляни́те-ка на Атта́леа,—говори́л он.- Таки́е ро́слые экземпля́ры ре́дко встреча́ются и в Брази́лии. Мы приложи́ли всё на́ше зна́ние, что́бы расте́ния развива́лись в тепли́це соверше́нно так же свобо́дно, как и на во́ле, и, мне ка́жется, дости́гли не́которого успе́ха.—При э́том он с дово́льным ви́дом похло́пывал твёрдое де́рево свое́ю тро́стью, и уда́ры зво́нко раздава́лись по оранжере́е. Ли́стья па́льмы вздра́гивали от э́тих уда́ров. О, е́сли бы она́ могла́ стона́ть, како́й вопль гне́ва услы́шал бы дире́ктор!

„Он вообража́ет, что я расту́ для его́ удово́льствия,—ду́мала Атта́леа,—пусть вообража́ет".

И она́ росла́, тра́тя все со́ки то́лько на то, что́бы вы́тянуться, и лиша́я их свои́ ко́рни и ли́стья. Иногда́ ей ка́залось, что расстоя́ние до сво́да не уменьша́ется. Тогда́ она́ напряга́ла все си́лы. Ра́мы станови́лись всё бли́же и бли́же, и, наконе́ц, молодо́й лист косну́лся холо́дного стекла́ и желе́за!

— Смотри́те, смотри́те,—заговори́ли расте́ния,—куда́ она́ забрала́сь! Неуже́ли реши́тся?

— Как она́ стра́шно вы́росла!—сказа́л древови́дный па́поротник.

— Что́ ж, вы́росла! Э́ка не́видаль! Вот е́сли б она́ суме́ла растолсте́ть так, как я!—сказа́ла то́лстая цика́да, со ство́лом, похо́жим на бо́чку И чего́ тя́нется? Всё равно́, ничего́ не сде́лает: решётки про́чны, и стёкла то́лсты.

Прошёл ещё ме́сяц. Атта́леа подыма́лась. Наконе́ц она́ пло́тно упёрла́сь в ра́мы. Расти́ да́льше бы́ло не́куда. Тогда́ ство́л на́чал сгиба́ться. Его́ ли́ственная верши́на ско́мкалась, холо́дные пру́тья ра́мы впили́сь в не́жные молоды́е ли́стья, перере́зали и изуро́довали их; но де́рево бы́ло упря́мо, не жале́ло ли́стьев; несмотря́ ни на что, дави́ло

на решётки, и решётки ужé поддавáлись, хотя́ бы́ли сдé-ланы из крéпкого желéза.

Мáленькая трáвка следи́ла за борьбóй и замирáла от волнéния.

— Скажи́те мне, неужéли вам не бóльно? Éсли рáмы уж так прóчны, не лýчше ли отступи́ть?—спроси́ла онá пáльму.

— Бóльно? Что знáчит бóльно, когдá я хочý вы́йти на свобóду? Не ты ли самá одобря́ла меня́?—отвéтила пáльма.

— Да, я одобря́ла, но я не знáла, что э́то так трýдно. Мне жаль вас. Вы так страдáете.

— Молчи́, слáбое растéние! Не жалéй меня́! Я умрý и́ли освобожýсь!

И в эту минýту раздáлся звóнкий удáр. Лóпнула тóлстая желéзная полосá. Посы́пались и зазвенéли оскóлки стёкол. Оди́н из них удáрил в шля́пу дирéктора, выходи́вшего из оранжерéи.

— Что э́то такóе?—вскри́кнул он, вздрóгнув, уви́дя летя́щие по вóздуху куски́ стеклá. Он отбежáл от оранжерéи и посмотрéл на кры́шу. Над стекля́нным свóдом гóрдо вы́силась вы́прямившаяся зелёная корóна пáльмы.

Тóлько-то! —дýмала онá.—И э́то всё, из-за негó я тóмилась и страдáла так дóлго? И э́того то дости́гнуть бы́ло высочáйшей цéлью?

Былá глубóкая óсень, когдá Аттáлеа вы́прямила свою́ верши́ну в проби́тое отвéрстие. Мороси́л мéлкий дóждик пополáм со снéгом; вéтер ни́зко гнáл сéрые клочковáтые тýчи.

Ей казáлось, что они́ охвáтывают её. Дерéвья ужé оголи́лись и представля́лись каки́ми то безобрáзными мертвецáми.

Тóлько на сóснах да на éлях стоя́ли тёмно-зелёные хвóи. Угрю́мо смотрéли дерéвья на пáльму. „Замёрзнешь!—как бýдто говори́ли они́ ей.—Ты не знáешь, что такóе морóз, ты не умéешь терпéть. Зачéм ты вы́шла из своéй теплицы?“

И Атта́лея поняла́, что для неё всё бы́ло ко́нчено. Она́ застыва́ла.

Верну́ться сно́ва под кры́шу? Но она́ уже́ не могла́ верну́ться. Она́ должна́ была́ стоя́ть на холо́дном ве́тре, чу́вствовать его́ поры́вы и о́строе прикоснове́ние снежи́нок, смотре́ть на гря́зное не́бо, на ни́щую приро́ду, на гря́зный за́дний двор ботани́ческого са́да, на ску́чный, огро́мный го́род, видне́вшийся в тума́не, и жда́ть, пока́ лю́ди, там, внизу, в тепли́це, не реша́т, что де́лать с не́ю.

Дире́ктор приказа́л спили́ть де́рево.—Мо́жно бы надстро́ить над не́ю осо́бый колпа́к,—сказа́л он,—но надо́лго-ли? Она́ опя́ть вы́ростет и всё слома́ет. И прито́м э́то бу́дет сто́ить че́рез-чу́р до́рого. Спили́ть её!

Па́льму привяза́ли кана́тами, что́бы, па́дая, она́ не разби́ла стен оранжере́и, и ни́зко, у са́мого ко́рня, перепили́ли её.

Ма́ленькая тра́вка, обвива́вшая ство́л де́рева, не хоте́ла расстава́ться со свои́м дру́гом и́ то́же попа́ла под пилу́.

Когда́ па́льму вы́тащили из оранжере́и, на отре́зе оста́вшегося пня́ валя́лись размозжённые пило́ю, истерзанные стебельки́ и ли́стья.

— Вы́рвать э́ту дря́нь и вы́бросить,—сказа́л дире́ктор. Она уже́ пожелте́ла, да и пила́ о́чень попо́ртила её. Посади́ть здесь что́-нибу́дь но́вое.

Оди́н из садо́вников ло́вким уда́ром за́ступа вы́рвал це́лую оха́пку травы́. Он бро́сил её в корзи́нку, вы́нес и вы́бросил на за́дний двор, пря́мо на мёртвую па́льму, лежа́вшую в грязи́ и уже́ полузасы́панную сне́гом.

В. М. Га̀ршин.

Вздор — (ئش) يوق سوز
Неле́пость — مەغنەسز، تۇبسز (ئش، سوز)
Несбы́точная мечта́ — بولماسلق، مەغنەسز ئوى
Горд́ячка — تەكەببر (خاتن قز)

Кни́га.

До́ктор приложи́л тру́бку к го́лой груди́ больно́го и стал слу́шать: большо́е непоме́рно разро́сшееся се́рдце неро́вно и глу́хо колоти́лось о рёбра, всхли́пывало, как бы пла́ча, и скрипе́ло. И э́то была́ така́я по́лная и злове́щая карти́на бли́зкой сме́рти, что до́ктор поду́мал: „одна́ко"! а вслух сказа́л:

— Вы́ должны́ избега́ть волне́ний. Вы занима́етесь, вероя́тно, каки́м-нибу́дь изнури́тельным трудо́м?

— Я писа́тель,—отве́тил больно́й и улыбну́лся.—Скажи́те э́то опа́сно?

До́ктор приподня́л плечо́ и развёл рука́ми.

— Опа́сно, как и вся́кая боле́знь... Лет ещё пятна́дцать — два́дцать проживёте. Вам этого хва́тит?—пошути́л он и, с уваже́нием к литерату́ре, помо́г больно́му наде́ть руба́шку. Когда́ руба́шка была́ наде́та, лицо́ писа́теля ста́ло слегка́ синева́тым, и нельзя́ бы́ло поня́ть, мо́лод он и́ли уже́ совсе́м стари́к. Гу́бы его́ продолжа́ли улыба́ться ла́сково и недове́рчиво.

— Благодарю́ на до́бром сло́ве,—сказа́л он.

Винова́то отведя́ глаза́ от до́ктора, он до́лго иска́л глаза́ми, ку́да положи́ть де́ньги за визи́т, и наконе́ц нашёл: на пи́сьменном столе́, между́ черни́льницей и бочёнком для ру́чек, бы́ло ую́тное, скро́мное месте́чко. И туда́ положи́л он трехрублёвую зелёненькую бума́жку, вы́цветшую, взлохма́тившуюся бума́жку.

— Тепе́рь их но́вых не де́лают, ка́жется,—поду́мал до́ктор про зелёненькую бума́жку и почему́ то гру́стно покача́л голово́й.

Че́рез пять мину́т до́ктор выслу́шивал сле́дующего, а писа́тель шёл по у́лице, щу́рился от весе́ннего со́лнца и ду́мал: почему́ все ры́жие лю́ди весно́ю хо́дят по тенево́й стороне́, а ле́том, когда́ жа́рко, по со́лнечной? До́ктор то́же ры́жий. Если бы он сказа́л пять и́ли де́сять лет, а то

два́дцать—зна́чит, я ско́ро умру́. Немно́го стра́шно. Да́же о́чень стра́шно, но...

Он загляну́л к себе́ в се́рдце и сча́стливо улыбну́лся. Как све́тит со́лнце. Как бу́дто оно́ молодо́е, и ему́ хо́чется смея́ться и сойти́ на зе́млю.

Ру́копись была́ то́лстая; листо́в в не́й бы́ло мно́го; по ка́ждому листу́ шли ма́ленькие убо́ристые стро́чки, и ка́ждая из них была́ части́цею души́ писа́теля. Костля́вою руко́й он благогове́йно перебира́л страни́цы, и бе́лый о́тсвет от бума́ги па́дал на его́ лицо́, как сия́ние, а во́зле на коле́нях стоя́ла жена́, беззву́чно целова́ла другу́ю костля́вую ру́ку и пла́кала.

— Не плачь, родна́я,—проси́л он:—пла́кать не ну́жно, пла́кать не́ о чём.

Твоё се́рдце... И я оста́нусь одна́ во всём ми́ре. Одна́, о, бо́же!

Писа́тель погла́дил руко́ю склони́вшуюся к его́ коле́ням го́лову и сказа́л:—Смотри́.

Слёзы меша́ли гляде́ть е́й, и ча́стые стро́ки ру́кописи дви́гались волна́ми, лома́лись и расплыва́лись в её глаза́х.

— Смотри́!—повтори́л он.—Вот моё се́рдце. И оно́ навсегда́ оста́нется с тобо́ю.

Это́ бы́ло так жа́лко, когда́ умира́ющий челове́к ду́мал жить в свое́й кни́ге, что ещё ча́ще и крупне́е ста́ли слёзы его́ жены́.

Ей ну́жно бы́ло живо́е се́рдце, а не мёртвая кни́га, кото́рую чита́ют все: чужи́е, равноду́шные и нелю́бящие.

Кни́гу ста́ли печа́тать. Называ́лась она́ „В защи́ту обездо́ленных“.

Набо́рщики разорва́ли ру́копись по клочка́м, и ка́ждый набира́л то́лько сво́й клочо́к, кото́рый начина́лся иногда́ с полови́ны сло́ва и не име́л смы́сла. Так в сло́ве „любо́вь“— „лю“ оста́лось у одного́, а „бовь“ доста́лось другому, но

э́то не име́ло значе́ния, так как они́ никогда́ не чита́ли того́, что набира́ют.

— Чтоб ему́ пу́сто бы́ло, э́тому писа́ке! Вот ана́фемский по́черк!—сказа́л оди́н и, мо́рщась от гне́ва и нетерпе́ния, закры́л глаза́ руко́ю. Па́льцы руки́ бы́ли черны́ от свинцо́вой пы́ли, на молодо́м лице́ лежа́ли тёмные свинцо́вые те́ни, и когда́ рабо́чий отха́ркнулся и плю́нул, слюна́ его́ была́ окра́шена в то́т же тёмный и мёртвенный цвет. Друго́й набо́рщик, то́же молодо́й—тут ста́рых не́ было—выла́вливал с быстрото́ю и ло́вкостью обезья́ны ну́жные бу́квы и тихо́нько пел:

„Эх, судьба́ ли моя́ чёрная,
Ты как но́ша мне чугу́нная“...

Да́же слов пе́сни он не знал, и моти́в у него́ был свой: однообра́зный и безхи́тростно—печа́льный, как шо́рох ве́тра в осе́нней листве́.

Остальны́е молча́ли, ка́шляли и выплёвывали тёмную слюну́. Над ка́ждым горе́ла электри́ческая ла́мпочка, а там да́льше, за стено́ю из про́волочной се́тки, вырисовывались, тёмные силуэ́ты отдыха́ющих маши́н. Они́ выжида́тельно вытя́гивали узлова́тые чёрные ру́ки и тяжёлыми, угрю́мыми ма́ссами дави́ли асфа́льтовый пол. Их бы́ло мно́го; и пугли́во прижима́лась к ним молчали́вая тьма́, по́лная скры́той эне́ргии, затаённого го́вора и си́лы.

Кни́ги пёстрыми ряда́ми стоя́ли на по́лках, и за ни́ми не ви́дно бы́ло сте́н; кни́ги высо́кими гру́дами лежа́ли на полу́; и позади́ магази́на, в двух тёмных ко́мнатах, лежа́ли всё кни́ги, кни́ги.

И каза́лось, что безмо́лвно содрога́ется и рвётся нару́жу ско́ванная и́ми челове́ческая мысль, и никогда́ не́ было в э́том ца́рстве книг настоя́щей тишины́ и настоя́щего поко́я. Седоборо́дый господи́н с благоро́дным выраже́нием лица́ почти́тельно говори́л с ке́м-то по телефо́ну, шо́потом вы́ругался: „идио́ты!“, и кри́кнул:

— Ми́шка!—и, когда́ ма́льчик вошёл, сде́лал лицо́ неблагоро́дным и свире́пым и погрози́л па́льцем:—тебе́ ско́лько раз крича́ть? мерза́вец!

Ма́льчик испу́ганно морга́л глаза́ми, и седоборо́дый господи́н успоко́ился. Ного́й и руко́й он вы́двинул тяжёлую свя́зку книг, хоте́л подня́ть её одно́ю руко́ю—но сра́зу не мог и ки́нул её обра́тно на́ пол.

— Вот отнеси́ к Его́ру Ива́новичу.

Ма́льчик взял обе́ими рука́ми за свя́зку и не по́днял.

— Жи́во!—кри́кнул господи́н.

Ма́льчик по́днял и понёс.

На тротуа́ре Ми́шка толка́л прохо́жих, и его́ погна́ли на середи́ну у́лицы, где снег был кори́чневый и вя́зкий, как песо́к.

Тяжёлая ки́па дави́ла ему́ спи́ну, и он шата́лся; изво́зчики крича́ли на него́, и когда́ он вспо́мнил, ско́лько ему́ ещё идти́, он испуга́лся, и поду́мал, что сейча́с умрёт. Он спусти́л свя́зку с плеч и, гля́дя на неё, запла́кал.

— Ты чего́ пла́чешь?—спроси́л прохо́жий.

Ми́шка пла́кал. Ско́ро собрала́сь толпа́, пришёл серди́тый городово́й с са́блей и пистоле́том, взял Ми́шку и и кни́ги и всё вме́сте повёз на изво́зчике в уча́сток.

— Что там?—спроси́л дежу́рный околоточный надзира́тель, отрыва́ясь от бума́ги, кото́рую он составля́л.

— Неподси́льная но́ша, ва́ше благоро́дие,—отве́тил серди́тый городово́й и ткнул Ми́шку вперёд.

Околоточный вы́тянул вверх одну́ ру́ку, так что суста́в хру́стнул, и пото́м другу́ю; пото́м поочерёдно вы́тянул но́ги в широ́ких лакиро́ванных сапога́х. Гля́дя бо́ком, све́рху вниз, на ма́льчика, он вы́бросил ряд вопро́сов:

— Кто? Отку́да? Зва́ние? По како́му де́лу?

И Ми́шка дал ряд отве́тов.

— Ми́шка. Крестья́нин. Двена́дцать лет. Хозя́ин посла́л.

Около́точный подошёл к свя́зке, всё ещё потя́гиваясь на ходу́, отставля́я но́ги наза́д и выпя́чивая гру́дь, гу́сто вздохну́л и слегка́ приподня́л кни́ги.

— Ого́!—сказа́л он с удово́льствием.

Обёрточная бума́га на краю́ оборвала́сь, около́точный отогну́л её и прочёл загла́вие: „В защи́ту обездо́ленных“.

— Ну́-ка, ты!—по́звал он Ми́шку па́льцем.—Прочти́!

Ми́шка моргну́л глаза́ми и отве́тил:

— Я негра́мотный.

Около́точный засмея́лся:

— Ха-ха-ха!

Пришё.л небри́тый паспорти́ст, дыхну́л на Ми́шку во́дкой и лу́ком и то́же засмея́лся:

— Ха-ха-ха!

А пото́м соста́вили протоко́л, и Ми́шка поста́вил над ним кре́стик.

Л. Андре́ев.

Всхли́пывать—سولقو. سولقب يغلاو

Ую́тное месте́чко—ئوڭغايلى، ئورن

Взлохма́тившаяся бума́жка —

توزب، ئيسكرب بتكەن كەغەز ئاقچا،

Щу́риться—يومنلو، قاعنلو (كوز حاقندا)

Благогове́йно—ريعايەلى، تەعزيملى

Чтоб ему́ пу́сто бы́ло=чтоб ему́ не было сча́стья.

Ана́фемский по́черк=неразбо́рчивое письмо, бу́дто писа́л его́ чорт.

Мо́рщиться—چراى ستو، جيىرلو

Моти́в пе́сни=جرنڭ كويى

Силуэ́т=كولەگە، برەر نەرسەنڭ قارالب كورلگەن سورەتى

Эне́ргия=قووەت، كوچ

Идио́т=слабоу́мный; у́мственно тупо́й челове́к.

Свире́пый=ئاچولى، قنسز، يرتقچ

Кори́чневый—كۇرەن

Ки́па—كيپ، تۇرگەك

Неподси́льная но́ша—كۇچ جيتمى تۇرعان يۇك

Суста́в хру́стнул—.بوون شارتلادى،

Паспорти́ст = писе́ц в мили́ции, запи́сывающий паспорта́.

Ме́сто.

I.

В кабине́те бога́того фабрика́нта Изю́мова сиде́л в нетерпели́вом ожида́нии Рубано́вский. Было о́коло десяти́ часо́в утра́, но Изю́мов ещё не выходи́л из спа́льной. Во все́х ко́мнатах ца́рствовала внуши́тельная тишина́, и́зредка наруша́емая чьи́ми-то торопли́выми, ро́бкими шага́ми да осторо́жным шо́потом.

Руба́новский сиде́л на дива́не, сго́рбившись и ощуща́я в груди́ неприя́тное стесне́ние. Роско́шная обстано́вка кабине́та, — огро́мный пи́сьменный сто́л оре́хового де́рева, великоле́пный ками́н, портре́ты в золоты́х ра́мках, дорого́й ковёр под нога́ми,—всё заставля́ло Рубано́вского ещё сильне́е чу́вствовать свою́ нужду́ и беспо́мощность...

Рубано́вскому два́дцать се́мь ле́т; он высо́к ро́стом, сутулова́т; движе́ния нереши́тельны; близору́кие глаза́ присма́триваются ко всему́ скво́зь очки́ с како́й-то трево́жной пытли́востью. Оде́т с те́м страда́льческим прили́чием, кото́рое даётся по́сле до́лгой, кропотли́вой почи́нки, вытра́вливанья пя́тен, ожесточённой чи́стки и подде́рживается ли́шь благодаря́ все́м ме́рам предосторо́жности при движе́ниях. И в лице́ сквози́т та же напряжённость, то́ же стесне́ние: и зде́сь на́до принима́ть ме́ры предосторо́жности, что́бы не вы́разить улы́бкой и́ли взгля́дом чего́-нибу́дь сли́шком незави́симого и́ли уж о́чень заи́скивающего. Умные черты́

перестают быть у́мными, в серьёзных глаза́х бе́гает что́-то малоду́шное, улы́бка стано́вится боле́зненной, фальши́вой Рубано́вский зна́л, что у него́ тако́й ви́д, му́чился э́тим, с ожесточе́нием сти́скивал зу́бы,—и в то́ же вре́мя нево́льно теря́лся и съёживался. Предчу́вствовал униже́ние; зна́л, что не удержится и са́м уни́зит себя́ бо́льше, че́м это да́же ну́жно. Он как бу́дто забы́л, ка́к хо́дят, говоря́т, смо́трят лю́ди, сознающие со́бственное досто́инство. В нём шевели́лось го́рькое презре́ние к себе́ самому́, к свое́й нару́жности, мане́рам, зна́ниям, да́же к свое́й фами́лии; но ту́т же ря́дом встава́ло друго́е чу́вство: стра́шной душе́вной уста́лости и надо́рванности. „Всё равно́, одни́м униже́нием бо́льше и́ли ме́ньше,—ли́шь бы пото́м передохну́ть“...

— Миха́йло! пошли ко мне арте́льщика!—раздался́ за дверя́ми вла́стный го́лос Изюмова.

Рубано́вский вздро́гнул. После́дний оста́ток бо́дрости поки́нул его́; все́ мы́сли, кото́рыми он си́лился поддержа́ть в себе́ чу́вство со́бственного досто́инства, сра́зу разлете́лись. Изюмов вселя́л в Рубано́вского чи́сто пани́ческий стра́х, как си́ла, кото́рая должна́ и́ли подня́ть, и́ли раздави́ть его́.

В две́рь, распа́хнутую неви́димым Миха́йлой, впорхну́л Изюмов. Он и́менно впорхну́л: так эласти́чны и легки́ бы́ли все́ его́ движе́ния, несмотря́ на внуши́тельную толщину́. Тща́тельно вы́мытое и вы́бритое лицо́ сия́ло све́жестью и здоро́вьем; ро́зовые щёки и ослепи́тельно чи́стое бельё нево́льно наводи́ли на мы́сль о чём-то вку́сном, со́чном, гастрономи́ческом.

— Моё почте́ние! - произнёс о́н с дово́льно оби́дной развя́зностью и небре́жно скользну́л по́лной, упру́гой ладо́нью по руке́ Рубано́вского. Зате́м с шу́мом придви́нул кре́сло к пи́сьменному столу́, стара́тельно усе́лся в нём, как виртуо́з пе́ред роя́лью, и на́чал перебира́ть бума́ги.

Рубано́вский то́же се́л к столу́ и жда́л. Его изму́ченное лицо́, смотре́вшее беспоко́йно и угрю́мо, черезчу́р ре́зко

выделялось из окружающей обстановки, которая дышала покоем и довольством. Отлично выспавшийся Изюмов был повидимому, в самом приятном настроении: даже пасмурная осенняя погода не влияла на него. Не спеша перелистывал он бумаги, как будто лаская их своими атласными руками. Подчеркнув карандашом какой-то итог, он солидно повернулся к Рубановскому:

— Что хорошенького скажете?

Но Рубановский ничего хорошего сказать не мог. Он только сгорбился больше прежнего и, потирая холодные руки, силился улыбнуться. Изюмов весело взглянул на него и произнёс с расстановкой, как опытный декламатор:

— А, ведь, дельце-то ваше плохо!

Рубановскому показалось, что его кто-то душит за горло; но Изюмов так игриво щурился, так весело поглаживал подбородок, что он снова начал надеяться.

— У вас явился счастливый соперник,—продолжал Изюмов, особенно смакуя последнее слово,—вы мне представили рекомендательное письмо от Кнауберта, а тут явился претендент, который представил два рекомендательных письма—да ещё каких!

Всё это Изюмов произнёс, видимо, любуясь игрой, в которой один претендент состязуется с другим. Сам он слишком далеко стоял от этой игры, чтобы принять в ней серьёзное участие.

У Рубановского упало сердце: он чувствовал, что Изюмов режет его, хотя и с шаловливым видом.

— Степан Михайлович, как же это?..—начал он растерянно.—Вы мне подали надежду... Вы мне почти обещали,—и вдруг...

— В том-то и дело, господин... Виноват, забыл вашу фамилию.

— Рубановский.

— Как: Рубановский или Рыбановский?.. Впрочем, у меня тут записано.

— Рубано́вский.

— Хорошо́-с... Та́к де́ло, я говорю́, в том...

Ту́т о́н стро́го взгляну́л че́рез го́лову Рубано́вского и произнёс:

— Пошёл, — чего́ стои́шь? Подожди́ та́м!

Арте́льщик скры́лся. Изю́мов как бу́дто забы́л, о чём на́чал, и погрузи́лся в созерца́ние свои́х ро́зовых, прекра́сно вы́чищенных ногте́й.

— Мм... так что, бишь, я хоте́л? — встрепену́лся он. — Да! Изво́лите ви́деть, де́ло како́е. За ва́шего конкуре́нта (на губа́х Изю́мова опя́ть заигра́ла усмёшка) проси́л меня́ Пафну́тьев, Пётр Ива́нович, кото́рому я кое-чём обя́зан: он та́кже определя́л ра́зных персона́жей по моей про́сьбе. Кро́ме того́, тут есть э́такая да́мочка, бли́зко знако́мая с одни́м из на́ших кру́пных па́йщиков, — та то́же о́чень проси́ла. А, ве́дь, вы зна́ете, е́сли да́ма начнёт проси́ть...

При э́том Изю́мов так подмигну́л, что в друго́е вре́мя Рубано́вский не удержа́лся бы от улы́бки, но тепе́рь бы́ло не до сме́ха.

— Степа́н Миха́йлович! — произнёс он, сти́скивая ру́ки. — Войди́те в моё положе́ние.. У меня́, ведь, семья́... Наконе́ц, г. Кна́уберт, ско́лько я зна́ю, дал о́бо мне о́чень ле́стный о́тзыв. Я прослужи́л у него́ на заво́де два го́да, и е́сли бы не боле́знь жены́ мое́й...

— Да, да... Пове́рьте, я бы всей душо́й, но обстоя́тельства измени́лись. Должно́ быть, не судьба́ вам служи́ть у нас.

— Извини́те меня́, Степа́н Миха́йлович, но, мне ка́жется, судьба́ моя́ вполне́ в ва́ших рука́х: всё зави́сит то́лько от ва́шего согла́сия.

— Это́ ве́рно, но обстоя́тельства...

Рубано́вский вскочи́л и в волне́нии зашага́л по кабине́ту. Изю́мов молча́л и гляде́л на его́ сапоги́...

— Степа́н Миха́йлович! — на́чал Рубано́вский дрожа́щим го́лосом, остана́вливаясь пе́ред Изю́мовым. — Вы раз-

рýшили мою послéднюю надéжду. Я постáвлен тепéрь в безвы́ходное положéние... Ведь я ужé второй год без мéста. Дéньги, óчень небольши́е, котóрые мне удалóсь рáньше скопи́ть, всé прóжиты и пролéчены, а здорóвье жены́ всё ещё плóхо... Двóе мáленьких...

Изю́мов слýшал, поворáчивая пéрстень на пáльце.

— Ай, ай, ай! — закачáл он головóй, сохраня́я, впрóчем, спокóйное выражéние лицá.—Напрáсно вы ушли́ от Кнáуберта.

— Но мнé нýжно бы́ло в Москвý: к докторáм.

— Ах, вéрьте вы им! Они́ вам наскáжут... Скóлько лет вáшей супрýге?

— Двáдцать трéтий.

— Ай, ай, ай, какáя ещё молóденькая!.. Не вéрьте вы э́тим докторáм: свéжий вóздух, спокóйствие—вот что нáдо. Лекáрства—вздор: я по себé знáю.

— Но, Степáн Михáйлович, какóй же свéжий вóздух? Мы, напрóтив, принуждены́ жить в зáтхлом нóмере, смрад, духотá... Вы предстáвить не мóжете...

Изю́мов мéльком взглянýл сначалá на столóвые, потóм на кармáнные часы́, как-то засопéл и снóва завози́лся в бумáгах ужé с нéкоторой торопли́востью. Он, ви́димо, опасáлся, как бы разговóр на э́ту тéму не испóртил егó настроéния. Рубанóвский машинáльно сел на стул. Он ви́дел, что емý нáдо уходи́ть, и не мóг реши́ться: им овладéли стрáнное бесси́лие и апáтия; необходи́мость цепля́ться за жизнь показáлась емý бесконéчно проти́вной. Но мысль о семьé застáвила сдéлать послéднюю попы́тку.

— Степáн Михáйлович... сказáл он, и гóлос егó оборвáлся.—Я могý увéрить вас, что я могý... Слóвом, я был бы для вас не бесполéзен... Я изучи́л мнóгое напрáктике, я ввёл нéкоторые улучшéния...

— Это сáмое глáвное,—отозвáлся Изю́мов таки́м тóном, как бýдто хотéл тóлько подáть рéплику,—практи́ческие знáния для нас всегó нужнéе.

— А между́ тем,—продолжа́л Рубано́вский,—мой конкуре́нт, мо́жет быть, не облада́ет доста́точным на́выком... Таки́м о́бразом, вы, мо́жет быть, риску́ете...

— Весьма́ возмо́жно: на́ши доморо́щенные те́хники ре́дко облада́ют практи́ческой сноро́вкой. Но—что де́лать? Обстоя́тельства заставля́ют. Впрочем, е́сли э́тот господи́н ока́жется неудо́бным для нас, мы постара́емся устрани́ть его́, и тогда́ бу́дем име́ть в виду́ вас.

— Степа́н Миха́йлович, да ведь до тех пор семья́ моя́ с го́лоду умрёт!

Изю́мов заторомоши́лся на кре́сле, забормота́л что́-то и приня́лся ско́ро-ско́ро перели́стывать бума́ги. На лице́ его́ вдру́г закамене́ло са́мое делово́е выраже́ние. Рубано́вский встал.

— Проща́йте...—едва́ вы́говорил он.

— Бу́дем, бу́дем име́ть в виду́,—засуети́лся Изю́мов.— От себя́ отворя́йте,—вот так!—произнёс он обяза́тельным то́ном, помога́я Рубано́вскому отвори́ть дверь.—До свида́ния! Не отча́ивайтесь.

Рубано́вский очути́лся в пере́дней, где при его́ вхо́де со сту́ла торопли́во подняла́сь бле́дная фигу́ра в золоты́х очка́х, вы́тянула дли́нную ше́ю и пугли́во посмотре́ла на Рубано́вского ма́ленькими подслепова́тыми глаза́ми. „Уж не э́то ли мой конкуре́нт?“ спроси́л себя́ Рубано́вский и с не́навистью отверну́лся от счастли́вого сопе́рника...

II.

Опусти́в го́лову и шлёпая по грязи разно́шенными рези́новыми кало́шами, кото́рые сва́ливались у него́ с ног, Руба́но́вский шёл домо́й, и се́рдце кипе́ло зло́стью на всех: на Изю́мова, на Пафну́тьева, на неизве́стную да́му и бо́льше всего́ на неизве́стного конкуре́нта, кото́рый забежа́л вперёд и вы́рвал у его́ семьи́ кусо́к хле́ба.

„И ско́лько униже́ний из-за того́ то́лько, что́бы проглоти́ть отка́з!“ —шепта́л Рубано́вский, су́дорожно сти́скивая

кулакѝ.—Не пойдý домóй: невозмóжно, невыносѝмо! Кáждый раз прихóдишь с однѝм и тем же и встречáешь однó и то же. Хоть бы чтó-нибýдь отрáдное!.. Дáвит судьбá, не даёт вздохнýть... Грязь, хóлод, нищетá... Ах, éсли бы мóжно бы́ло уби́ть себя́!“

Он останови́лся, охвáченный э́той мы́слью. Но тóтчас пéред ним встáли, как живы́е, исхудáлые ли́ца жены́ и детéй. Он ещё ни́же понýрил гóлову и уны́ло побрёл вперёд, обдувáемый сыры́м октя́брьским вéтром.

„Нет, лéгче мóкнуть на ýлице, чем итти́ домóй! Опя́ть Кáтя посмóтрит свои́м уби́тым взгля́дом; опя́ть срáзу, по одномý моемý ви́ду догадáется. . А я, бы́ло, её обнадёжил... Прокля́тие э́тим нахáлам, котóрые перебегáют дорóгу“!..

— Чтó же, мáло вам мéста, что вы на человéка лéзете?—раздáлся рéзкий гóлос, котóрый вслед за тем срáзу измени́лся и изумлённо воскли́кнул: „Рубанóвский! Каки́ми судьбáми? И чтó э́то за свирéпый вид у тебя́“?

— Сергéев!—с удивлéнием произнёс Рубанóвский, пожимáя рýку товáрищу тéхнику.—Я тебя́ не срáзу узнáл.

На Сергéеве бы́ло потёртое лéтнее пальтó и стáренький картýз, ни́зко нахлобýченный; из-под козырькá сверкáли бы́стрые сéрые глазá, в котóрых виднéлось чтó-то сурóвое, но привлекáтельное, сквози́л рéзкий, незави́симый ум. Вся широкая костля́вая фигýра Сергéева, с размáшистыми движéниями, дышáла стреми́тельностью.

— Ещё бы! С окончáния кýрса не видáлись...

Он всмотрéлся в лицó товáрища лáсковым, проницáтельным взгля́дом.

— Постарéл, брат, ты, постарéл!.. Ну, как делá?

— Плóхи! Сейчáс однó мéсто лóпнуло... Переби́л какóй-то подлéц.

— А ты куй желéзо, покá горячó. Тут, брат, зевáть нельзя́: борьбá за существовáние... Вот и у меня́ чуть-чуть не перехвати́ли мéсто: не успéло освободи́ться, а ужé ктó-

что пронюхал (ведь есть же этакий нюх у людей!), явился с рекомендальным письмом. Ан, нет, брат,—дуля! За него просят, а за меня убедительно просят. Вот мерзавец и с носом! Я, ведь, теперь действую по-собачьему: собакой стал. Прямо бросаюсь, рву — и дело с концом. Однако, чего же мы тут стоим? Ты меня проводи: я зайду только к одному толстопузому насчёт места. Отсюда недалеко. Тебе некуда спешить?

— Мне некуда... Мне всё равно.

— Ну, так пойдём: ты меня подождёшь на бульваре.

Товарищи пошли. Рубановский рассказывал о своём положении; Сергеев шёл мелкими, быстрыми шагами и молча, внимательно слушал.

— Ну, вот я сюда,—сказал он, останавливаясь.

Рубановский попятился от изумления: они стояли перед под‘ездом изюмовского дома.

— Так это ты?!.

Рука Сергеева, протянувшаяся уже к звонку, опустилась. Он взглянул на товарища и понял.

— Что же ты? Звони.—усмехнулся с горечью Рубановский.

— Нет, ну его к чорту! Успеется... Пойдём.

— Куда?

— Да всё равно, куда-нибудь. Пойдём, пожалуй, ко мне, хоть у меня и очень пасквильно.

— Ну, а всё-таки лучше к тебе...—сказал Рубановский, и Сергеев в этих немногих словах прочитал многое.

Они пошли назад по той же дороге, по которой шли, но были уже не те, что за минуту до этого: что-то встало между ними и отравляло дружескую встречу. Довольно долго длилось молчание. Сергеев первый заговорил:

— Вот нелепое стечение обстоятельств!—заметил он, решительно шлёпая по лужам.—Главное: оба мы находимся в тисках.

— Ты давно́ без ме́ста? — спроси́л Рубано́вский то́лько потому́, что ему́ нело́вко ста́ло молча́ть.

— Тре́тий ме́сяц. Я, брат, мно́го мест перемени́л: ника́к не могу́ ужи́ться с э́тими заво́дчиками. Все они́ хотя́т за свои́ де́ньги е́здить на тебе́ верхо́м. Не смей ни рассужда́ть, ни протестова́ть, — отправля́й то́лько свои́ маши́нные фу́нкции — и ба́ста: „Тубо́“, „пи́ль“ — и никаки́х бо́льше! Ну, а маши́ной быть живо́му челове́ку, пожа́луй, и невтерпёж. До поры́, до вре́мени перено́сишь, а пото́м вдруг и прорвёшься: натура́льно, отста́вка. Так и скита́ешься по све́ту... Ещё я на места́ сча́стлив: мне, что называ́ется, ба́бушка воро́жит. У меня́ тут, в Москве́, да и в Пи́тере то́же, есть э́такие ро́дственнички, кото́рых я не выношу́, и кото́рые меня́ не выно́сят, но счита́ют свои́м до́лгом хлопота́ть обо мне ра́ди каки́х-то фами́льных воспомина́ний.

— А у меня́ да́же и таки́х ро́дственников нет, — проворча́л Рубано́вский с я́вным раздраже́нием.

— Ну, брат, не жале́й... Пра́вда, они́ меня́ воспита́ли и, что называ́ется, вы́вели в лю́ди, но как бу́дто то́лько зате́м, что́бы дать мне возмо́жность бежа́ть от них без огля́дки. Я тебе́ во́т что скажу́, — приба́вил он, и глаза́ его́ сверкну́ли из-под козырька́, — э́ти ро́дственнички так меня́ с де́тства облагоде́тельствовали, что и до́ сих по́р при одно́м воспомина́нии со мно́й ко́рчи де́лаются.

— Одна́ко, ты обраща́ешься к ним с про́сьбами о ме́сте? — су́хо возрази́л Рубано́вский. В нём броди́ло глухо́е недово́льство про́тив Серге́ева, потому́ что тот всё-таки, в конце́-концо́в, был с ме́стом, а он — без ме́ста...

Серге́ева ка́к-то всего́ передёрнуло.

— Да, моё поведе́ние стра́нно... да́же, е́сли хо́чешь, возму́тительно, и у меня́ всегда́ на це́лую неде́лю разлива́ется желчь по́сле того́, как я о чём-нибу́дь попрошу́ мои́х благоде́телей. Но, ви́дишь ли, у меня́ есть иде́я, ра́ди ко-

тóрой я готóв претерпéть всевозмóжные измывáтельства, а мóжет быть дáже способен и нúзость сдéлать: я постáвил себé задáчей скопúть дéнег, поселúться где-нибýдь в провúнции и там. . ну, хоть нотариáльную контóру открыть.— Слóвом, найтú такóе дéло, при котóром я был бы независúмым человéком. Я не мечтáю ни о рóскоши, ни о влáсти, ни о любвú: я мечтáю тóлько о незавúсимости. Мнé нýжно быть незавúсимым: без этого я не понимáю жúзни. Если я живý тепéрь, то живý úменно тóлько э́той одной идéей. Знáю, что для осуществлéния её нáдо стáть собáкой, но я соглáсен быть хоть собáкой, тóлько незавúсимой.

— Что ж, удалóсь тебé скопúть дéнег?—спросúл Рубанóвский не стóлько из учáстия к товáрищу, скóлько потомý, что однó уж представлéние о деньгáх имéло для негó тепéрь óстрый интерéс.

— Как же, чóрта с два, скопúл! Кáждый раз даю себé слóво удержáться как мóжно дóльше на мéсте, готóвлюсь к экзáмену на нотáриуса, коплю дéньги,—и вдруг срáзу всё лóпается. Благодéтели выхлопáтывают мне мéста, но я не уживáюсь на них, потомý что эти же сáмые благодéтели изурóдовали меня ещё в дéтстве: онú прогонялu меня сквóзь стрóй унижéний, и я тепéрь невóльно при пéрвом намёке на что-нибýдь обúдное выпускáю кóгти... Однáко, мы пришлú. Вот где я пребывáю: двóрик небольшóй, но отвратúтельный.

III.

Онú пересéкли мáленький грязный двóр, в углублéнии котóрого виднéлось вéтхое почернéвшее крыльцó.

— Смотрú, не упадú,—говорúл Сергéев, идя впередú Рубанóвского по облúтой помóями лéстнице.—Каковы чертóги, а? Впрóчем, я утешáюсь поговóркой, что лýчше жить в мáленьком деревянном дóме, чем в большóм камéнном острóге... Ну, тепéрь сюдá.

Това́рищи очути́лись в кро́шечной полутёмной ко́мнатке, окно́ кото́рой упира́лось в соба́чью конуру́. Из-за то́нкой перегоро́дки, отделя́вшей ко́мнату Серге́ева от ку́хни, слы́шалось шипе́ние горя́щего ма́сла и беспреры́вная дробь, кото́рую выкола́чивала куха́рка ку́хонным ножо́м. Па́хло ры́бой и жа́реным лу́ком.

— Самова́р!—кри́кнул Серге́ев, приотвори́в дверь.

В ку́хне послы́шалось ворча́нье.

— Жи́во!—крикну́л ещё раз Серге́ев.—Вот, брат, то́лько зве́рством пока́ и живу́,—заме́тил он, садя́сь про́тив Рубано́вского на изо́дранный клеёнчатый сту́л.—Задолжа́л ту́т в ожида́нии ме́ста; ну, разу́меется, все на дыбы́: хозя́йка кричи́т, куха́рка ворчи́т. То́лько тем и спаса́юсь, что лю́тость на себя́ напуска́ю.

Он поста́вил на стол буты́лку с оста́тками во́дки и вы́нул из столо́вого я́щика кусо́к сы́ру. Това́рищи вы́пили по рю́мке, по́сле чего́ Рубано́вский, ещё не закуси́в, на́лил по второ́й. Серге́ев покоси́лся на таку́ю поспе́шность.

Че́рез не́сколько вре́мени куха́рка с лицо́м, вы́пачканным в са́же, внесла́ покриви́вшийся самова́р и необходи́мые ча́йные принадле́жности; все с из‘я́нцем. Вслед за куха́ркой просу́нулась в дверь кака́я-то голова в чепце́ и запа́льчиво начала́:

— Ежели вы к за́втрашнему...

Но голове́ не удало́сь ко́нчить: Серге́ев вскочи́л и бы́стро захло́пнул дверь, при чём едва́ не пострада́л ко́нчик хозя́йского но́са. Ку́хня момента́льно напо́лнилась бра́нью, так что стра́нно бы́ло предста́вить, как така́я ма́ленькая ко́мната мо́жет вмести́ть в себе́ сто́лько бра́нных слов...

— Так-то, брат, я и грызу́сь,—сказа́л Серге́ев.—Да что ты всё молчи́шь? Мо́жет быть, нездоро́вится?

Рубано́вский до́лго не отвеча́л и, отверну́вшись, потира́л ладо́нью лоб.

— Скве́рно жить на све́те...—сказа́л Рубано́вский, наконе́ц, че́рез си́лу, и Серге́ев почу́вствовал, что э́то не фра́за, а скоре́е стон,

— Да,—отозвался́ он, оперши́сь подборо́дком на ру́ку,— жизнь ока́зывается дово́льно зло́й шу́ткой. Вот ты да́веча на́звал меня́ подлецо́м, т.-е. не меня́ ли́чно, а того́, кото́рый переби́л у тебя́ ме́сто. И, пожа́луйста, не ду́май, что я обижа́юсь: ведь мы то́лько и де́лаем, что рвём друг у дру́га добы́чу. Коне́чно, мы не представля́ли себе́ э́того, когда́ пра́здновали оконча́ние ку́рса и говори́ли проща́льные ре́чи; там бы́ло и наро́дное бла́го, и нау́чный прогре́сс, и това́рищеские свя́зи, и поэ́зия...

Ны́нче животы́ да за́втра животы́,—поду́маешь, поду́маешь, да, наконе́ц, и стошни́т, и жи́ть не захо́чется...

— А я так да́же и э́того пра́ва лишён: я не сме́ю отка́зываться от жи́зни. До́лжен вся́чески извора́чиваться и жить, потому́ что семья́ хо́чет жить.

— Да, да...

Серге́ев заду́мался. Он облада́л спосо́бностью сра́зу заду́маться до забве́нья окружа́ющего и пото́м так же сра́зу вы́йти из заду́мчивости: встряхнёт голово́й и схва́тится за како́е-нибу́дь де́ло, и́ли вдру́г разреши́тся каки́м-нибу́дь неожи́данным замеча́нием; заду́мавшись, он обыкнове́нно шевели́л ноздря́ми, поднима́л и опуска́л бро́ви, и́ли тереби́л свою́ ма́ленькую косма́тую боро́дку: во всём ска́зывалась подвижна́я, не́рвая нату́ра.

— Вот что,—вдруг вы́шел он из заду́мчивости,—ты меня́ всё-таки познако́мь с свое́й семьёй.

Рубано́вского покоро́било.

— Семья́ моя́ в о́чень невесёлом положе́нии—возрази́л он с неуда́вшейся улы́бкой.

— Ну, а ты всё-таки познако́мь,—насто́йчиво повтори́л Серге́ев.

Уже́ сме́рклось, когда́ Рубано́вский повёл Серге́ева к

себе́. Итти́ пришло́сь чу́ть не че́рез всю́ Москву́, но э́тот дли́нный пу́ть това́рищи соверши́ли мо́лча. Рубано́вский переноси́лся мы́слью в промо́зглые номера́, и зара́нее охва́тывало тосли́вое отвраще́ние. Серге́ев ча́ще обыкнове́нного сдвига́л бро́ви и плева́л во все сто́роны. У обо́их гвоздём засе́л вопро́с о ме́сте на заво́де Изю́мова. Этот вопро́с ста́л попере́к го́рла Рубано́вскому и меша́л ему́ говори́ть; в свою́ о́чередь Серге́ев понима́л, что нельзя́ разгова́ривать с Рубано́вским о посторо́нних веща́х, пока́ не бу́дет решён так и́ли ина́че са́мый больно́й для обо́их вопро́с; кро́ме того́, он чу́вствовал себя́ винова́тым пе́ред това́рищем и ника́к не мог отде́латься от э́того чу́вства.

Мо́лча вошли́ они́ в номера́, и на ни́х сра́зу пахну́ло мно́жеством разли́чные за́пахов. Растрёпанная же́нщина, в туфля́х на босу́ но́гу, перeру́гивалась с прислу́гой; из одного́ но́мера доноси́лся хо́хот, из друго́го вылета́ли ди́кие звуки: „В бу-рю во-о грозу́-й...“

— Ты подожди́ немно́го: на́до предупреди́ть жену́,— сказа́л Рубано́вский и скры́лся за две́рью, на кото́рой стоя́ла ци́фра 18.

Серге́ев жда́л дово́льно до́лго. Наконе́ц его́ по́звали, и он очути́лся в небольшо́м но́мере; повсю́ду нава́лен был ра́зный хла́м, кото́рого, очеви́дно, не́куда бы́ло спря́тать; впечатле́ние получи́лось тако́е, как бу́дто жильцы́ собира́ются с'езжа́ть и уже́ на́чали укла́дываться. Нале́во от две́ри бы́ло кро́хотное отделе́ние, за́ве́шенное ста́рым ковро́м; там помеща́лись де́ти. Обо́дранные обо́и, ту́склое зе́ркало в просте́нке и два́ микроскопи́ческих окна́ без занаве́сок,—вот что бро́силось в глаза́ Серге́еву, когда́ он вошёл и осмотре́лся. От кру́глой желе́зной пе́чки несло́ ча́дом. В но́мере бы́ло неую́тно, как в ваго́не 3-го кла́сса.

На дива́не, оби́том полиня́лым си́тцем, сиде́ла жена́ Рубано́вского. Сквозь бле́дную ко́жу лица́ просве́чивали си́ние жи́лки; тёмные глаза́ впа́ли и от э́того каза́лись ещё

темнée; всё укáзывало на сíльное малокрóвие. Онá шíла, блíзко придвíнувшись к лáмпе и мéдленно двигая тóнкими, блéдными пáльцами. При вхóде Сергéева с трудóм привстáла, протянýла рýку и, слáбо улыбнýвшись крáем губ, попросíла сесть.

Всé молчáли. Рубанóвский сидéл в сторонé с такíм вíдом, как бýдто говорíл Сергéеву: „К чемý трáтить словá? Сáм вíдишь бéз объяснéний“. По лицý хозяйки Сергéев прочёл, чтó ей ужé всё извéстно: в её взгляде он уловíл невóльное выражéние затаённой врáжды к немý, и óто бóльно кольнýло егó.

— Ну, вот онá,—кивнýл Рубанóвский на женý,—вíдишь, каковá?

— Я тебé всегдá говорíла, что лýчше было бы не женíться на мне,—отозвалáсь Рубанóвская, не отрывáя глáз от шитья,—и без тогó трýдно жíть, а тут ещё больнáя женá. Если уж женíться, так на здорóвой, сíльной, чтóбы онá моглá и детéй вы́кормить, и всякую рабóту сдéлать. А такáя, кáк я,—тóлько лíшняя обýза.

— Дá, Сергéев, óто тебé нагля́дный примéр нáшего воспитáния,—подхватíл жéлчно Рубанóвский,—учíли, учíли её в гимнáзии всевозмóжным наýкам, подорвáли здорóвье, расшатáли нéрвы, медáль вы́дали... Вóт онá тепéрь... с медáлью-то!..

— Ты, брат, уж чересчýр нападáешь на образовáние,—возразíл Сергéев для тогó тóлько, чтóбы что-нибýдь сказáть.

— Мне необходíм прéжде всегó кусóк хлéба!—почтí крíкнул в отвéт Рубанóвский:—Всякие знáния и манéры и рáзные языкí,—всё óто вздóр пéред кускóм хлéба. Всякая истóрия—и дрéвняя, и срéдняя, и нóвая—станóвится нулём, жáлкой чепухóй, éсли меня поедóм ест болéзнь и нуждá. Я лíчно завíдую любóму безгрáмотному водовóзу,—а онá?.. онá в тысячу рáз несчáстнее какой-

нибу́дь здоро́вой подёнщицы... Мы́ с не́й тепе́рь са́мые жа́лкие, са́мые беспо́мощные лю́ди, каки́х то́лько мо́жно себе́ предста́вить... О, да за одно́ её здоро́вье я с ра́достью отда́л бы всё образова́ние: и её и своё,—все́ дипло́мы и меда́ли!

— Послу́шай, одна́ко...—возрази́л Серге́ев, но Руба́новский крикли́во переби́л его:

— Е́сли бы она́ была́ здоро́ва, так я, во-пе́рвых остава́лся бы при ме́сте, а во-вторы́х... Да что́, говори́ть то́шно!.. Тут ско́лько на одни́ лека́рства, да на во́ды, да на докторо́в де́нег ушло́... Да с корми́лицами, да с ня́ньками ра́зными... А гла́вное—само́й-то ей каково́? Сиде́ть и чу́вствовать своё бесси́лие, когда́ и́менно си́лы-то и нужны́: и нра́вственные и физи́ческие!..

Рубано́вская ещё ни́же нагну́лась над рабо́той. Серге́еву показа́лось, что́ у неё на глаза́х слёзы.

— А что́, де́ти ва́ши здоро́вы?—спроси́л он, что́бы перемени́ть разгово́р.

— У Ма́ни что́-то го́рло боли́т,—отве́тила Рубано́вская, обраща́ясь к му́жу.

— Во́т ещё но́вое го́ре!—проскрежета́л Рубоно́вский, между́ те́м как жена́ выводи́ла из-за занаве́ски Ма́ню, трехле́тнюю де́вочку, о́чень похо́жую на мать. На Серге́ева бы́стро взгляну́ли больши́е чёрные глаза́ и то́тчас спря́тались за пла́тьем ма́тери. Слы́шно было, как де́вочка ка́шляет, да видне́лась то́ненькая, как спи́чка, сму́глая рука́, вцепи́вшаяся в ма́мино пла́тье.

— Во́т с ма́ленькими беда́, — сказа́ла Рубано́вская, обраща́ясь, очеви́дно, к го́стю, но не гля́дя на него́,— тепе́рь он на рожке́, а молоко́ зде́сь ужа́сное; где́ ни про́бовали бра́ть, везде́ изве́стку подме́шивают.

Хо́ть бы он у́мер, что́ ли: ле́гче бы́ло бы и для него́, и для нас,—глу́хо заме́тил Рубано́вский.

Она́ возрази́ла надо́рванным го́лосом:

— Нет, уж лу́чше пусть я умру́!

Рубано́вский закры́л глаза́ руко́й; по лицу́ пробежа́ла су́дорога.

— Ах, е́сли бы мы все че́тверо могли́ сра́зу уничто́житься!—со сто́ном произнёс о́н.—Если бы у на́с хвати́ло ду́ху ра́зом поко́нчить с э́той ка́торгой! Но нет, мы сли́шком трусли́вы для э́того: са́ми умрём с го́лоду и дете́й умори́м, а не осме́лимся поко́нчить с прокля́той ля́мкой!

Он тяжело́ опусти́лся на ло́кти, му́тным взо́ром обвёл убо́гую обстано́вку Серге́ев чу́вствовал, что его́ прису́тствие то́лько тяготи́т хозя́ев; действи́тельно, когда́ он взялся́ за карту́з, Рубано́вский поспе́шно вста́л, то́чно с нетерпе́нием дожида́лся ухо́да това́рища. Проща́ясь, хозя́ин и го́сть посмотре́ли дру́г на дру́га стра́нным взгля́дом: ка́ждый хоте́л прочита́ть что́-то в глаза́х друго́го, и в то́ же вре́мя боя́лся прочита́ть.

— Пока́ до свида́ния,—сказа́л Серге́ев, подава́я ру́ку хозя́йке,— я за́втра, мо́жет быть, зайду́.

Рубано́вская с недоуме́нием протяну́ла ему́ ру́ку, то́чно спра́шивала: „Заче́м вы и сего́дня пришли́?“

— Ну, спаси́бо, спаси́бо...—бормота́л Рубано́вский, провожа́я Серге́ева, и о́ба при э́том чу́вствовали мучи́тельную нело́вкость.—Иди́ всё нале́во по коридо́ру,—об'ясни́л хозя́ин, что́бы замаскирова́ть своё смуще́ние,— как уви́дишь № 1-й, так и свора́чивай...

IV.

Шёл до́ждь. Серге́ев машина́льно запахну́лся, надви́нул на глаза́ карту́з. Обры́вки проти́вных назо́йливых мы́слей ви́хрем проноси́лись в голове́. Он так был взволно́ван и расстро́ен, что уже́ не замеча́л дождя́, пробира́ющегося за воротни́к. Бы́ло го́рько сознава́ть, что в его́ непро́шенном и беспло́дном уча́стии бы́ло что́-то оскорби́тельное для́ Рубано́вских, по́все и соверше́нно нену́жное

униже́ние. Уча́стие его́ вполне́ и́скренне—и всё-таки оно́ должно́ бы́ло оби́деть Рубано́вских. Он жи́во предста́вил себе́ их ли́ца, костю́м, мане́ры, жа́лкую обстано́вку, вспо́мнил, как жа́дно набро́сился Рубано́вский на во́дку, как ёжился от ве́тра, и как у него́ всё сва́ливались с ног кало́ши, нарисова́л себе́ всю карти́ну жи́зни Рубано́вских...

— Как они́ полиня́ли!

Это нево́льно вы́рвавшееся восклица́ние порази́ло его́ самого́ свое́й печа́льной и гру́бой пра́вдой. Га́дко ста́ло на душе́. Он вспо́мнил вре́мя, когда́ жена́ Рубано́вского была́ ещё ба́рышней. Серге́ев встре́чался с ней в одно́м до́ме и всегда́ находи́л в ней что́-то грацио́зное, поэти́ческое: так про́сто и ми́ло она́ себя́ держа́ла, с таки́м воодушевле́нием разы́грывала ва́льсы и мазу́рки Шопе́на, сто́лько бы́ло в ней жи́зни и серде́чности! И во́т что́ вы́шло тепе́рь изо всей э́той поэ́зии! В два́дцать три го́да лиши́ться красоты́, мо́лодости, эне́ргии, ви́деть круго́м себя́ грязь, нищету́, чу́вствовать, ка́к ухо́дят после́дние си́лы,—того́ ли ждала́ она́ от жи́зни, когда́ выходи́ла за Рубано́вского?

— Да, ра́но, сли́шком ра́но жизнь обре́зала им кры́лья!—рассужда́л сам с собо́й Серге́ев.—Сидя́т де́ньденьско́й в скве́рном номери́шке без де́ла, без наде́жды, сидя́т и чита́ют в глаза́х друг дру́га отча́яние... А там, в коридо́ре, бра́нь, хо́хот... А ребёнок пла́чет... И так и́зо дня в день!.. Оба уста́ли ве́рить во что-нибу́дь лу́чшее, измучи́лись в борьбе́ за жизнь... Надо́рваны си́лы, и ниотку́да не ви́дно подде́ржки... Эх!

Он не заме́тил, как очути́лся в свое́й ко́мнате. Зажёг свечу́ и до́лго ходи́л из угла́ в у́гол, обду́мывая что́-то. За перегоро́дкой храпе́ла куха́рка, под окно́м, звеня́ це́пью, ворча́ла соба́ка, а осе́нний до́ждик неумо́лчно бараба́нил по стёклам. Све́чка заплыла́ и догора́ла, трево́жно вспы́хивая.

Серге́ев разде́лся, лёг, потуши́л ого́нь, но не спал, а лежа́л с откры́тыми глаза́ми. В нём зре́ла мысль. Она́ яви́-

лась пе́ред ним, как в тума́не, когда́ он сиде́л в э́той ко́мнате с Рубано́вским, она́ с но́вой си́лой предста́ла пе́ред ни́м, когда́ он разгова́ривал с жено́й Рубано́вского, си́дя в за́тхлом и мра́чном но́мере. Она́ дава́ла себя́ чу́вствовать, когда́ он шёл отту́да домо́й; тепе́рь она́ же не дава́ла ему́ спа́ть. Про́тив неё он выставля́л дли́нную цепь оскорбле́ний, на кото́рые придётся ему́ обре́чь себя́, выстра́ивал це́лые баррика́ды из голо́дных дней, подстерега́ющих его́. Ясно слы́шался смех „благоде́телей“. Во́т ту́по-самодово́льное лицо́ баро́на Кно́геля, протя́гивающего ему́ два́ па́льца с дли́нными но́гтями. „Вы опя́ть, мой любе́знейший, с про́сьбами?“ — слы́шится гнуса́вый го́лос баро́на; а из-за него́ прогля́дывает бароне́сса, пряма́я, как па́лка, с надме́нным лицо́м, презри́тельной усме́шкой на губа́х. А вот бога́ч Серебря́ков, кото́рый наро́чно заставля́ет ждать себя́ по́ два, по́ три часа́; э́тот уже́ совсе́м не подаёт руки́, а так и прёт на тебя́ пря́мо живото́м... „Скоти́на“! ше́пчет Серге́ев и с раздраже́нием перевора́чивается на друго́й бок... Но тут пе́ред ним, как жива́я, выраста́ет фигу́ра в генера́льском мунди́ре и с са́мым злове́щим выраже́нием лица́. „Так нельзя́-с,—слы́шится Серге́еву громово́й го́лос.—Вы злоупотребля́ете на́шей доброто́й! Вы никуда́ него́дный челове́к“! Во́зле генера́ла появля́ется прили́занный старичо́к,—осо́ба о́чень ва́жная и вла́сть име́ющая. Старичо́к на все об‘ясне́ния Серге́ева то́лько ирони́чески кива́ет головó да жуёт губа́ми, а под коне́ц, шепеля́вя, произно́сит: „Что де́лать, ми́лый мой? Должно́ быть, судьба́ вас пресле́дует“... и ухо́дит с каки́м-то скве́рным хихи́каньем... „О, чтоб чорт вас побра́л!—со зло́стью ше́пчет Серге́ев.—Неужéли я никогда́ не освобожу́сь от ва́с“? Поры́висто вска́кивает и сади́тся на посте́ли, чу́вствуя, что у него́ разлива́ется желчь. „Они́ меня́ в мазь разотру́т, гря́зью всего́ обле́пят, мерза́вцы! Одни́ их ро́жи чего́ сто́ят, да подхихи́киванья, да брезгли́вые ми́ны... Фу“!..

Он вста́л, жа́дно вы́пил полграфи́на воды́ и лёг. И во́т сно́ва настойчиво и неотсту́пно начина́ет пресле́довать его́ мы́сль, от кото́рой он тщетно обороня́ется. В э́той мысли кака́я-то осо́бенная, непоня́тная си́ла: она́ разруша́ет все баррика́ды, пробива́ется сквозь все препятствия, заслоня́ет пе́ред Серге́евым ли́ца благоде́телей, их оскорби́тельные усме́шки и всё, что́ наполня́ет его́ же́лчью...

Пото́м вновь выступа́ет пе́ред ним гро́зный, уро́дливый при́зрак нищеты́, с её запла́тами, я́звами, униже́ниями. Он до бо́ли сти́скивает зу́бы. „Опя́ть пови́сну между́ не́бом и землёй! Опя́ть кла́няться, ждать, врать, пресмыка́ться?. Кака́я ме́рзость“!..

Заверну́лся с головой в одея́ло и си́лился ни о чём не ду́мать; но ему́ неотвя́зно мере́щилось, что Рубано́вский все ещё сиди́т у него́ в ко́мнате и повторя́ет: „Скве́рно жи́ть на све́те“...

Про́било двена́дцать. „Каки́е ху́денькие ру́ки у э́той Ма́ни“...—вспомина́ется почему́-то Серге́еву...

Про́било час, про́било два.. Серге́ев воро́чается с бо́ку на́ бок и не мо́жет усну́ть. „Этакие подлецы́: изве́стку в молоко́ подме́шивают“... проно́сится у него́ в голове́.. Он вперя́ет глаза́ во мрак и в э́том мра́ке ему́ чу́дятся изму́ченные глаза́ молодо́й же́нщины...

V.

Наступи́ло се́ренькое у́тро, бо́льше похо́жее на су́мерки. Рубано́вские то́лько что вста́ли. Жена́ вози́лась с ребёнком, кото́рый надрыва́лся от пла́ча, а муж тоскли́во смотре́л в окно́ на му́тное октя́брьское не́бо. Разда́лся стук в дверь, и в ко́мнату стреми́тельно вошёл Серге́ев.

— Я то́лько что бы́л у Изю́мова,—сказа́л он, да́же не поздоро́вавшись.—Отказа́лся от ме́ста. Тепе́рь оно́ за тобо́й. Иди́ сейча́с, не теря́й вре́мени... Мерзе́йшая пого́да!

Он сел и на́чал отира́ть платко́м мо́крое от дождя́

лицо́. Рубано́вский стоя́л пе́ред ним ошеломлённый: до э́той мину́ты он был твёрдо уве́рен, что Серге́ев не придёт.

— Послу́шай...—едва́ вы́говорил он, задыха́ясь от волне́ния.—Ты сам в кра́йности... Я зна́ю, как тебе́ ту́го прихо́дится... Име́ю ли я пра́во приня́ть от тебя́ таку́ю же́ртву?

— Не зна́ю я э́того,—возрази́л Серге́ев, смотря́ в сто́рону.—Я то́лько чу́вствую, что е́сли бы поступи́л на э́то ме́сто, то мысль о том, что де́лается вот здесь, в э́том но́мере, отрави́ла бы мне жизнь. А я дорожу́ свои́м споко́йствием... Ита́к, не спорь о права́х, а ступа́й к Изю́мову. Смотри́, вон Екатери́на Серге́евна сра́зу пореши́ла э́тот вопро́с: по лицу́ ви́жу.

Рубано́вская была́ бледне́е обыкнове́нного, но в глаза́х свети́лась внеза́пно вспы́хнувшая жизнь. Пе́ред Серге́вым стоя́ла друга́я же́нщина, непохо́жая на вчера́шнюю: она́ вдру́г ста́ла моло́же, краси́вее, живе́е, то́чно скрыва́ла где́-то в глубине́ своего́ существа́ бога́тый запа́с жи́зни и тепе́рь вдру́г обнару́жила его́. Ей не́когда бы́ло колеба́ться и размышля́ть о права́х: она́ ду́мала в э́ту мину́ту о де́тях. Рубано́вская подошла́ к Серге́еву и мо́лча, взволно́ванная и счастли́вая, изо всех свои́х сла́бых сил сжа́ла ему́ ру́ку.

Че́рез не́сколько дне́й Серге́ев провожа́л Руба́новских: они́ е́хали на но́вое ме́сто. До отхо́да по́езда остава́лось 5 мину́т. Одно́й руко́й Серге́ев вёл Ма́ню, уку́танную с ног до головы́, а друго́ю нёс чемода́н Рубано́вских. Те́ сле́довали за ни́м, сгиба́ясь под тя́жестью коро́бок и узло́в: они́ е́хали на экономи́ческих нача́лах и обходи́лись без носи́льщика.

Прозвене́л второ́й звоно́к. Серге́ев подхвати́л на́ руки Ма́ню, кото́рая едва́ дви́галась в своём то́лстом ва́тном пальто́, и ры́сью пусти́лся по платфо́рме. В ваго́нах была́ да́вка. Серге́ев едва́ отыска́л ме́ста для Рубано́вских...

Разда́лся тре́тий звоно́к. Серге́ев о́бнял това́рища, пожа́л ру́ку Екатери́не Серге́евне, поцелова́л Ма́ню и вы́ско-

чил из вагóна. Он ви́дел, как Рубанóвская протирáла запотéвшее стеклó и лáсково кивáла емý головóй; на глазáх её дрожáли слёзы. Мáня тóже стучáла емý кулачкóм в окнó и, улыбáясь, покáзывала я́блоко...

Раздали́сь свистки́. Пóезд трóнулся. В послéдний раз мелькнýли пéред Сергéевым растрóганные, нéжные ли́ца, в послéдний раз махнýл емý платкóм Рубанóвский. Потóм срáзу всё исчéзло.

Дóлго смотрéл Сергéев вслéд уходя́щему пóезду, охвáченный томи́тельным желáнием унести́сь вслéд за ни́м; дóлго ещё стоя́л он неподви́жный пóсле тогó, как пóезд скры́лся из глаз. Наконéц повернýлся и пошёл. На сéрдце ны́ла тоскá, но под э́той тоскóй би́лось ещё чтó-то, чтó давáло емý си́лу борóться с нéй.

Н. Тимкóвский.

Ками́н=печь с ширóким отвéрстием; согревáет кóмнату плáменем.

Сутýлый—کەکنُرى - بۇكنُرى، چالش گەودەلى

Близорýкий= ناچار كوروچەن

Кропотли́вый—واقچل، ماتاوقلى

Вы́травить пятнó=уничтóжить пятнó на матéрии, на плáтье.

Заи́скивающий=ياحشى ئاتلى بولرعا ترنُسوچى، تەلينكە ،تۇتوچى

Малодýшный=боязли́вый; трус.

Надóрванность=болéзненность, нездорóвье.

Пани́ческий стрáх=внезáпный, безотчётный, безрассýдный страх, охвáтывающий срáзу мнóгих лиц.

Впорхнýл=вошёл бы́стро и легкó, как бýдто пти́ца.

Эласти́чный=ги́бкий, упрýгий.

Гастронóм=люби́тель и знатóк кýшаний.

Произнёс он с довольной обидной развязностью=сказал с обидной насмешкой.

Небрежно скользнул полной упругой ладонью по руке Рубановского=кое-как подал руку Рубановскому.

Виртуоз=человек, знающий какое-либо дело чрезвычайно хорошо.

Итог=сумма.

Солидно повернулся=с важностью повернулся.

Соперник=داولاوچى، كۆندەش

Смаковать=تەملەو

Рекомендательное письмо=ديملەو حاتى

Претендент=человек, заявляющий своё право на что-либо.

Состязаться=спорить.

Созерцание— فيكر بلەن قاراو

Бишь= ،سوڭ

Конкурент=كۆندەش، رەقيب

Персонаж=человек.

Лестный отзыв=похвала.

Безвыходное положение=тяжёлое положение, хоть умирай.

Затхлый номер= ئاور هاوالى، نومير

Смрад=ساسى ئيس

Машинально сел=не подумавши; не заметил и сам, как сел.

Апатия=скука.

Реплика=ответ.

Доморощенный=свой собственный; дома вырос.

Затормошился на кресле=задвигался на кресле.

Обязательный тон=ласковый голос.

Проглотить отказ=получить отказ.

Обнадёжил=пообещáл, но не испóлнил.

Ан, нет, брат, дýля=нет, меня́ не обмáнешь.

Пáсквильно=сквéрно, плóхо.

Нахóдимся в тискáх=нахóдимся в нуждé.

Протестовáть=возражáть, не соглашáться.

Машúнные фýнкции=рабóчие обя́занности, делá.

Тубó=охóтничье обращéние к собáке: стой! не тронь!

Пиль=охóтничье обращéние к собáке: принесú! тащú!

Натурáльно=конéчно.

Не выношý=не люблю.

Фамúльные воспоминáния=семéйные, рóдственные воспоминáния.

Сергéева передёрнуло=Сергéеву стáло нехорошó, сты́дно.

Желчь=злóба.

Измывáтельство=насмéшки, издевáтельство; рýгань.

Нúзость сдéлать=сделáть что-нибýдь нехорóшее.

Провúнция=уéздный гóрод; селó, дерéвня.

Выпускáю кóгти=говорю́ úли дéлаю неприя́тность.

Чертóг=дворéц, зáмок=سارای

Беспреры́вная дробь=чáстые удáры.

Звéрством живý=грýбо обращáюсь.

Все на дыбы́=все сéрдятся и ругáются.

Лю́тость на себя́ напускáю=сержýсь и бранЮсь.

Всё с из'я́нцем=все не крéпкое, а починённое.

Запáльчиво=сердúто, гнéвно.

Прогрéсс=تەرەققى، ئالغا بارو

Ны́нче животы́, да зáвтра животы́=сегóдня забóта о пúще и квартúре и зáвтра тóже.

Изворáчиваться=как нибýдь доставáть себé нýжное.

Промóзглые номерá=сырые и холóдные номерá, кóмнаты.

Чад=سۆرم، تۆتن

Обýза=يۆك، ئاورلق

Поедóм ест болéзнь и нуждá=нуждá и болéзнь преслéдуют.

Говорúть тóшно=говорúть неприятно.

Проскрежетáл=сказáл злóбно, так что зубáми заскрипéл.

Тепéрь он на рожкé= ئول ئيندى حذر ئيمزلك سوونرا،

Проклятая лямка=тяжёлая жизнь.

Замаскировáть смущéние=скрыть свою нелóвкость; показáть вид, что тебя дéло не касáется.

Назóйливый—неотвязчивый.

Как онú полинялли=как онú стáли бéдны.

Прёт на тебя=идёт прямо на тебя.

Брезглúвая мúна—جيرەنگچ يۈز

Прúзрак нищеты=примéты бéдности.

Пресмыкáться— جيردەن ئۆستىرەلب يۈرو، سۆرتلو

Мерéщилось=كوزگه كورندى، جملدادى

Вперяет глазá во мрак=старáется в темнотé разглядéть, увúдеть.

На заво́де.

Ста́нция Ю́зово, по́езд стои́т семь мину́т. Я выгля́дываю в окно́: ра́ннее у́тро. Беру́ свой сак и выхожу́ на платфо́рму. Станцио́нное зда́ние небольшо́е и некази́стое, по полотну́ тя́нется мно́жество путе́й, заста́вленных ма́ссой ваго́нов. Повсю́ду уго́льная пыль. всё черно́ от неё. Не́сколько поездо́в, гружённых у́глем, жду́т отпра́вки. Ви́дно. что э́то „чёрная“ ста́нция. Я прохожу́ че́рез зал тре́тьего кла́сса. У под'е́зда стои́т не́сколько изво́зчиков. Подхо́дит ещё кое-кто из пу́блики; нанима́ем одно́го из них, и мы тро́гаемся. Проезжа́ем небольшу́ю у́лицу, не́сколько до́миков остаю́тся позади́. Пе́ред на́ми степь, обнажённая и уны́лая, ни ку́стика, ни де́ревца, куда́ ни гля́нешь, всё то же бу́рое простра́нство, покры́тое се́рой полы́нью, сухо́й и го́рькой, да иссо́хшим чернобы́лем. Места́ми черне́ют па́шни, красне́ют гли́ной овра́ги, и до са́мого горизо́нта лени́во тя́нутся степны́е возвы́шенности, отло́гие и ску́чные. В ле́тний паля́щий зной здесь всё сгора́ет, скру́чивается, засыха́ет, уступа́я ме́сто го́рькой полы́ни; зимо́й земля́, чёрная и го́лая, то ско́вывается моро́зами, то размыва́ется дождя́ми, кото́рые ра́зом начина́ют лить по́сле сту́жи, что́бы та́кже, внеза́пно смени́ться опя́ть моро́зами. Ло́шади бегу́т ры́сью, ста́нция позади́ скры́лась, вокру́г бурья́н, иссо́хшая, потре́скавшаяся земля́. Впереди́ показа́лось грома́дное кирпи́чное стро́ение, чёрное, закопте́лое; над ни́м угрю́мо вы́силась така́я же почерне́вшая дымова́я труба́. Я поду́мал, что открыва́ется уже́ Ю́зовский заво́д, но до Ю́зова ещё вёрст пять. Э́то про́сто ша́хта. Их мно́го разбро́сано здесь среди́ сте́пи. Два, три деся́тка ка́менных, ни́зких, прида́вленных черепи́чною кро́влею, домо́в вы́тянулись в степи́; все, как оди́н, вы́строены по шабло́ну, напомина́я каза́рменный тип. Вокру́г ску́чно, неприю́тно. Нет да́же дво́риков. Те, кто

живёт здесь, выходя́ из двере́й, пря́мо попада́ют в степь. То́лько му́сор да гру́ды золы́ ука́зывают, что в э́тих каза́рмах живу́т лю́ди: никого́ не ви́дно

Всё населе́ние рабо́тает, быть мо́жет, тут же, у нас под нога́ми в глубине́ земли́. И я гляде́л на э́ту высо́кую дымову́ю трубу́, на э́то почерне́лое зда́ние, на э́ти ни́зкие прида́вленные дома́ без огоро́жи, без дворо́в, без при́знаков хозя́йственности, бро́шенные посреди́ сте́пи. По́сле упо́рного, изнури́тельного труда́ в густо́м тяжёлом мра́ке, в у́зкой дыре́ галлере́и, среди́ струя́щейся отовсю́ду холо́дной воды́, среди́ атмосфе́ры, пропи́танной га́зами, ядови́тыми, отравля́ющими дыха́ние, при мале́йшем удо́бном слу́чае гото́выми стра́шным взры́вом похорони́ть копа́ющихся в темноте́ люде́й,— вы́йти наконе́ц, на свет бо́жий и очути́ться в каза́рме, среди́ го́лой, уны́лой сте́пи, где нет ни домо́в, ни хра́ма бо́жия, нет возмо́жности переки́нуться сло́вом со све́жим челове́ком, за исключе́нием своего́ же бра́та шахтёра, тако́го же гря́зного, угрю́мого, озло́бленного. Но, ведь, челове́к не из желе́за: ему́ ну́жен о́тдых, во что бы то ни ста́ло необходи́мо так или ина́че хоть на оди́н день отвле́чься от подавля́ющей обстано́вки нечелове́ческого труда́...

И вот, эти се́рые, пропи́танные у́глем, лю́ди и́дут толпа́ми в ле́тний паля́щий зной, в осе́ннюю сля́коть, утопа́я по коле́на в раствори́вшемся чернозёме, в зи́мнюю выю́гу и мяте́ль, и́дут сте́пью в Ю́зово, пря́мо в кабаки́, где напива́ются до самозабве́ния; бо́льше, ведь, не́куда. Тепе́рь, пра́вда, введена́ казённая монопо́лия, и кабаки́ заменёны казёнными ла́вками, но это нисколько не изменя́ет де́ла: пьют в тракти́рах, в гости́нницах, валя́ются в кана́вах, по я́мам, по овра́гам, на у́лицах, под забо́рами. Те шахтёры, кото́рые рабо́тают на ша́хтах, забро́шенных в степи́, отку́да далеко́ до кабака́, по́льзуются во́дкой, кото́рой торгу́ет арте́льная стряпу́ха; само́ собо́ю, за риск она́ облага́ет това́р кру́пной надба́вкой.

— Что, как у вас тут, свобо́ден до́ступ на заво́д?— спра́шиваю я номерно́го в гости́нице, где остано́вился.

— Да не дю́же они́ лю́бят, как кто чужо́й прихо́дит. Ежели бы у вас знако́мые би́ли в конто́ре, так ещё мо́жно бы про́пуск взять, а так ничего́ не уви́дите, не пу́стят, где са́мая рабо́та идёт. Очень они не лю́бят чужо́й глаз. Студе́нты, зна́чит, из заведе́ниев кото́рые сюда́ на пра́ктику приезжа́ют, так им по́лное запреще́ние с рабо́чими разгова́ривать-то, что́бы, зна́чит, поря́дки зде́шние нару́жу не выплыва́ли.—А рабо́та ви́дно там тяжела́?—Куды́ же чижеле. То́лько наро́ду наби́лось ви́димо-неви́димо, всё из голода́ющих; ну, зна́чит, пла́ту ни к чему́ сби́ли, потому́ заво́д то́лько и ждёт: как наро́д ста́нет итти́, сейча́с пла́ту и понижа́ют.

Я отпра́вился. Прошёл огро́мную пло́щадь, ла́вки, магази́ны, шко́лу и с горы, где ока́нчивается Ю́зово, откры́лся внизу́ заво́д. Грома́дные почерне́лые заво́дские корпуса́, дымовы́е тру́бы, гига́нтские усечённые конусообра́зные до́менные пе́чи, вы́шки над ша́хтами, паралле́льные ряды́ коксова́льных пече́й с гру́дами раскалённого ко́кса между́ ни́ми, на́сыпь, по кото́рой то и де́ло бе́гали поезда́ с рудо́й, с у́глем, с пла́внем; всё э́то чёрное, закопте́лое, пропи́танное уго́льным налётом, то́чно по́сле грома́дного пожа́ра, видне́лось у меня́ под нога́ми в у́зкой доли́не, между двумя́ возвы́шенностями. Стра́нные, ре́зкие, поража́ющие у́хо зву́ки, то́чно там вали́лись гру́ды желе́за, и́ли би́ли для чего́-то в огро́мные чугу́нные до́ски, несли́сь отту́да вме́сте со свистка́ми парово́зов, вме́сте с тяжёлыми вздо́хами парови́ков. Ды́мная чёрная мгла, коле́блясь, кури́лась над всем э́тим ме́стом. Я спусти́лся и прошёл в воро́та. Хаоти́ческий вне́шний беспоря́док поража́ет с пе́рвого ра́за: гру́ды желе́за, ста́рый лом, полуразру́шенные паровы́е котлы́, чёрные сте́ны зда́ний, грома́дные чугу́нные пли́ты, стальны́е валы́, ре́льсы, го́ры у́гля, гру́ды сы́панной руды́, шла́ки, перегоре́вшее желе́зо,

всюду, где есть то́лько кусо́чек свобо́дного простра́нства, его́ испещря́ют, изре́зывают у́зенькие, вда́вленные в зе́млю ре́льсы, по кото́рым сустли́во бе́гают в этой тесноте́, ежеминутно угрожа́я кого́-нибу́дь раздави́ть, перере́зать ма́ленькие игру́шечные паровозики, совсе́м не похо́жие на обыкнове́нные. Всё черно́, грязно́, запылёно. То́нкая, е́дкая, всюду проника́ющая у́гольная и металли́ческая пыль покрыва́ет зе́млю, ре́льсы, сте́ны, кры́ши, тру́бы, парово́зы, пла́тье, ли́ца люде́й, но́сится в во́здухе, придаёт не́бу ды́мный отте́нок и вме́сте с уга́ром отравля́ет и жжёт лёгкие.

В конто́ре, ку́да я прошёл, мне разреши́ли осмотре́ть заво́д и предложи́ли проводника́. Высо́кий с голубы́ми глаза́ми и дли́нными, как у на́ших хохло́в, соверше́нно бе́лыми, седы́ми уса́ми, англича́нин, инжене́р на заво́де, как и́стый джентльме́н, чрезвыча́йно предупреди́тельный и делика́тный, с пе́рвого же сло́ва, как то́лько мы отпра́вились, заяви́л, что это—колосса́льное предприя́тие, что оно́ оце́нивается в два́дцать миллио́нов рубле́й, что ежего́дно маши́ны, постро́йки, все приспособле́ния и проч. возобновля́ются на 12%, что рабо́чие здесь благоде́нствуют, что они́ нанима́ют прекра́сные заво́дские до́мики, что жёны рабо́чих—фешене́бельные да́мы, что за́работная пла́та здесь так высока́, как нигде́ в Росси́и, что в техни́ческом отноше́нии Ю́зовский заво́д—чу́до иску́сства и зна́ния, что... Он вдруг приостанови́лся.—Позво́льте узна́ть, вы не специали́ст?—О, нет, нет!—потороп́ился я его́ успоко́ить,—в этом отноше́нии я соверше́нный диллета́нт. Он оста́лся о́чень дово́лен, и мы пошли́ да́льше.

Круго́м шла беспреры́вная, неуста́нная рабо́та: мужики́, неща́дно дёргая заморённых лошаде́й, торопли́во вози́ли руду́, кокс, пла́мень, вывози́ли вон зе́млю; с железнодоро́жной на́сыпи, из ваго́нов сы́палась руда́; то и де́ло с не́ю подходи́ли поезда́, рабо́чие внизу́ торопли́во отгреба́ли её лопа́тами. Гига́нтские масси́вы до́менных пече́й, то́чно циклопи́ческие ба́шни, подыма́лись свои́ми желе́зными бока́ми

почти́ к са́мому не́бу; от подно́жия до верши́ны они́ обши́ты листовы́м желе́зом. Верху́шки их слегка́ ку́рятся, то́чно жерла вулка́нов... Лю́ди, ло́шади, теле́ги, парово́зы, ваго́ны, железнодоро́жная на́сыпь,—всё принима́ет игру́шечный хара́ктер у подно́жия этих велика́нов. Стра́нно бы́ло представля́ть себе́, что всю эту ма́ссу, грома́дную и подавля́ющую, ка́ждый кирпи́ч, ка́ждую заклёпку, ка́ждый желе́зный лист и перекла́дину,—все это вы́вели эти муравьи́—лю́ди, таки́е ничто́жные и жа́лкие пе́ред созда́нием рук свои́х. И эти муравьи́ торопли́во броса́ли на платфо́рму руду́, кокс пла́вень, и пото́м всё это парова́я машина ми́гом доставля́ла наве́рх и сы́пала в пасть раскалённого внутри́ чудо́вища. И оно́ неуста́нно пожира́ло деся́тки, со́тни, тысяч пудо́в, а рабо́чие, изнемога́я от жары́, от напряже́ния и уста́лости, всё продолжа́ли заполня́ть ненасы́тную утро́бу, не ви́дя э́тому конца́. Бле́дные, истомлённые, они́ бы́ли черны́ и закопчёны, то́чно в пороховом дыму́; и пот, стека́я ручья́ми, разрисо́вывал по их ли́цам причу́дливые узо́ры. Ни на мину́ту нельзя́ бы́ло отойти́ от э́того прожо́рливого чудо́вища: оно́ тре́бовало, чтоб во́зле него́ всегда́ бы́ли лю́ди, ни на мину́ту не дава́я им передохну́ть; е́сли его́ хоть на мгнове́ние забыва́ли, мсти́ло тем, что вну́тренность его́ затвердева́ла, спека́лся „козёл“, как говоря́т рабо́чие, э́то зна́чит, наступа́ла смерть до́мны, и её ну́жно бы́ло тогда́ гаси́ть, всю разбира́ть до после́днего кирпича́ и вновь скла́дывать. До́мна живёт до тех пор, пока́ гори́т её раскалённая вну́тренность; а э́тот а́дский ого́нь гори́т днём и но́чью, зимо́ю и ле́том, неде́ли, ме́сяцы, го́ды. Вы́плавка чугуна́ идёт непреры́вно; доме́нная печь никогда́ не охлажда́ется, пока́ она́ не придёт в ве́тхость. Жар внутри́ до́мны так вели́к, что никако́й материа́л не вы́держит, и сте́ны её давно́ должны́ бы́ли-бы попл́ыть, как распла́вленный свинец, е́сли бы по проло́женным в их то́лще тру́бам не гна́ли бы неуста́нно холо́дную во́ду. С и́зу в доме́нные

печи вдувается сжатый нагретый воздух; заставляя кокс интенсивно сгорать, он подымает температуру в нижней части домны до чудовищной высоты в 1300°.

Мы идём осматривать машину, нагнетающую в домну воздух. Когда мы входим в большое новое, недавно выстроенное возле доменных печей здание, меня поражает удивительная чистота, в противоположность окружавшей нас до этого грязи и пыли: все вычищено, блестит как лак и полировка, нигде ни соринки; кажется, будто я попал в выставочный павильон машин. Гигантская паровая машина занимает всё здание; из громадных цилиндров, бесшумно выдвигаясь, по очереди показываются и прячутся блестящие стержни поршней, под страшным давлением нагнетающих воздух; все члены машины двигаются мерно, без суетливости, спокойно и уверенно в своей могучей силе.

— Это воздуходувная машина; она по трубам нагнетает в домну воздух, который предварительно нагревается уходящим теплом—у нас, видите ли, ничего не пропадает—смешивается с горючими газами внутри домны, по преимуществу с окисью углерода, давая необыкновенно высокую температуру. Но тут необходимо знание, опыт и бдительность; горючие газы, как известно, в некоторых пропорциях с воздухом дают взрывчатые смеси. В Германии был уже случай: целый завод взлетел на воздух. Впрочем, завод работает более двадцати пяти лет и шансы на такую роковую случайность незначительны. Машина эта новейшей конструкции и громадной силы; вот не угодно-ли взглянуть—проговорил мой чичероне,—давления такого вы не встретите нигде в России, не встретите даже в Англии,—он уставился на меня своими добродушными голубыми глазами и проговорил таинственно:—не встретите во всём свете!

Мы пошли смотреть, как выпускают из домны распла-

вленный чугу́н. На площа́дке, гу́сто усы́панной песко́м, у са́мого подно́жия до́мны, суети́лись рабо́чие. Они́ торопли́во ла́зали на коле́нях по песку́ и выда́вливали кру́глыми ска́лками продо́льные углубле́ния, в кото́рые до́лжен был стека́ть чугу́н. Со́лнце подыма́лось всё вы́ше и вы́ше; сквозь мглу оно́ каза́лось красноватым и неща́дно пали́ло. Жар от до́менных пече́й де́лал во́здух сухи́м и горя́чим; он струи́лся над на́ми; дыша́ть бы́ло не́чем. У меня́ кружи́лась голова́, в уша́х стоя́л звон. В э́той жаре́, в дыму́ и ко́поти, среди́ ля́зга желе́за, гро́хота, свистко́в схва́тывала кака́я-то стра́нная апа́тия, равноду́шие; ничто́ уже́ не поража́ло, не броса́лось в глаза́; каза́лось, бо́льше и ожида́ть не́чего, и я броди́л за свои́м чичеро́не, как автома́т; обесси́ленный, я не находи́л в себе́ во́ли да́же на то, что́бы отказа́ться от осмо́тра и отпра́виться домо́й. Осторо́жно пробира́ясь между́ гру́дами шла́ка, у́гля, желе́зных отбро́сов, мы пришли́ к дли́нному чёрному наве́су.

Он без конца́ тяну́лся в о́бе сто́роны. Гул, шум, нестерпи́мое шипе́ние оглуши́ли нас. Челове́ческий го́лос теря́лся соверше́нно; ви́дно то́лько бы́ло, как собесе́дник шевели́л губа́ми; рабо́чие передава́ли друг дру́гу, что ну́жно, ми́микой и свистка́ми. Под наве́сом выдава́лись из земли́ бу́рые неуклю́жие ма́ссы, то́чно спи́ны каки́х-то допото́пных, погребённых в земле́ живо́тных. Да́же среди́ зно́йной атмосфе́ры паля́щего дня чу́вствуется, как пы́шет от них жа́ром.

Э́то пе́чи, несомне́нно. У мои́х ног глубоко́ внизу́, в я́ме, кото́рую я в пе́рвый моме́нт не заме́тил, завизжа́ло желе́зо, раскры́лась чугу́нная две́рца, и нас о́бдало таки́м ослепи́тельным жа́ром, что я нево́льно попя́тился. В я́ме рабо́чий, весь чёрный, то́чно обу́глившийся, что-то торопли́во де́лал пе́ред э́тим жа́ром; су́дорожно ко́рчась, отвора́чивая лицо́, он помину́тно броса́лся в сто́рону, где его́ не так пали́л жар бушева́вшего в печи́ пла́мени. Щу́рясь от

э́того паля́щего бле́ска, я стал всма́триваться: рабо́чий, извива́ясь пе́ред раскры́тым у́стьем пе́чи, воро́чал там огро́мной кочерго́й, выгреба́я спла́вившуюся, спе́кшуюся ока́лину. Две́рцы с ви́згом захло́пнулись, и рабо́чий в изнеможе́нии опусти́лся на зе́млю; пот бежа́л с него́ ручья́ми. Сквозь стоя́вший вокру́г шум и шипе́ние послы́шались ре́зкие трево́жные зву́ки ручно́го свистка́; те́ни под наве́сом исчёзли; всё ра́зом освети́лось, и меня́ о́бдало сза́ди жа́ром. Англича́нин схвати́л меня́ за ру́ку, и мы отодви́нулись под наве́с. Что-то ослепи́тельно я́ркое, сы́павшее от себя́ блестя́щие звёзды, ти́хо и гро́зно подвига́лось, припо́днятое в во́здухе. Это был большо́й кусо́к раскалённой до́-бела ста́ли. Его́ держа́ла в во́здухе больша́я чёрная металли́ческая рука́ кро́хотного парово́зика, едва́ видне́вшегося над землёй; он ти́хо подвига́лся по у́зеньким ре́льсам. Машини́ст, озарённый кра́сным о́тблеском, стоя́л на площа́дке, держа́сь за регуля́тор. Рука́ пронесла́ раскалённый кусо́к мета́лла ми́мо нас, останови́лась про́тив пе́чи, поверну́лась, разжа́ла свои́ два желе́зные па́льца, и сталь погрузи́лась в пла́мя, а парово́зик торопли́во и бы́стро убежа́л наза́д. То́лько что он скры́лся, как на сме́ну ему́ показа́лся друго́й; он также торже́ственно нёс в во́здухе раскалённую сталь, кото́рая я́рко свети́ла вокру́г себя́. Прокова́нную и обрабо́танную сталь здесь нагрева́ют до вы́сшей температу́ры, и пото́м те же парово́зики забира́ют её и несу́т в рельсопрока́тную. Я не знал, куда́ дева́ться. Внизу́ опя́ть раскры́лась печь, и отту́да несло́ нестерпи́мым жа́ром; с друго́й стороны́ сы́пались и́скры горе́вшей ста́ли. У меня́ ста́ло стуча́ть в го́лову, как э́то быва́ет от уга́ра.

К нам подошли́ дво́е рабо́чих. Лицо́ моего́ собесе́дника сде́лалось сосредото́ченным, и он оста́вил меня́. Рабо́чие желе́зными крю́чьями ра́зом распахну́ли чугу́нные две́рцы одно́й из ка́мер коксова́льной пе́чи: отту́да пахну́ло нестерпи́мым зно́ем. Я отошёл в сто́рону. Парови́зик подошёл к

са́мой печи́; машини́ст с раскрасне́вшимся, пыла́вшим от жа́ра лицо́м поверну́л каку́ю-то рукоя́тку, и лежа́вший на паровóзике желе́зный брус весь вошёл в печь и вы́греб из ка́меры на противополо́жную сто́рону раскалённый кокс, кото́рый вы́валился нару́жу в раскры́тые с противополо́жной стороны́ две́рцы. Я прошёл туда́. То и де́ло из раскры́тых ка́мер выва́ливался горя́щий кокс; вдоль печи́ на деся́тки саже́ней громозди́лись огро́мные о́гненные гру́ды раскалённого ко́кса. Стоя́ть во́зле не́ было физи́ческой возмо́жности; волоса́ подыма́лись, треща́ли, скру́чивались; пла́тье коро́билось. Не́сколько челове́к рабо́чих в одни́х по́ртах и руба́хе подска́кивали и, отвора́чиваясь, плеска́ли из вёдер во́ду на горя́щий кокс и сейчас же стреми́тельно броса́лись прочь. Вода́ мгнове́нно с лёгким взры́вом вырыва́вась отту́да бе́лыми клуба́ми па́ра. Не́бо, облака́, верху́шки труб до́менных печей, да́льние постро́йки,—всё э́то дрожа́ло в струи́вшемся над о́гненной гру́дой во́здухе. Да́же на том расстоя́нии, на како́м я был, нельзя́ бы́ло стоя́ть; и я пошёл да́льше.

Не успе́л я сде́лать и десяти́ шаго́в, как наткну́лся на не́скольких рабо́чих, ко́торые, раски́нув ру́ки, неподви́жно. то́чно тру́пы, лежа́ли на го́лой земле́·Тот тяжёлый, мёртвый сон, кото́рый овладева́ет людьми́, когда́ они́ засыпа́ют на солнцепёке, ви́димо, охвати́л их. Они́ спа́ли, несмотря́ на ужаса́ющую духоту́ и жар, с побледне́вшими ли́цами, с раскры́тыми рта́ми. Это был ма́ленький, свобо́дный от рабо́ты, промежу́ток, и они́ валили́сь, где попа́ло, и засыпа́ли тяжёлым, расслабля́ющим сном.

Я вы́шел за заво́дскую огра́ду и стал подыма́ться на приго́рок. Внизу́, у ног, сно́ва откры́лся весь заво́д; э́то был це́лый го́род: черне́я, подыма́лись закопте́лые зда́ния, вы́шки, гига́нты-до́мны, змеи́лись перебега́вшим о́тблеском о́гненные гру́ды ко́кса; доноси́лся всё тот-же лязг желе́за, и мгла, чёрная и ды́мная, оку́тывала всё. Рабо́чих, оживля́вших

э́тот хао́с, не́ было ви́дно, они́ теря́лись среди́ постро́ек, среди́ маши́н и механи́змов. По приго́рку, на кото́рый я поднима́лся, раски́нулось не́сколько у́лиц рабо́чих до́миков. Небольши́е, кирпи́чные, они́ бы́ли дово́льно удо́бны и поместн́тельны. Но по расспро́сам оказа́лось, что, во-пе́рвых, за э́ти до́мики администра́ция заво́да взима́ет сли́шком высо́кую пла́ту, сравни́тельно с за́работной пла́той, и, во-вторы́х, э́тих постро́ек так ма́ло, что в них попада́ет са́мая незначи́тельная часть рабо́чих. Остальна́я же ма́сса юти́тся в посёлке у ча́стных лиц по клету́шкам, подва́лам, ма́занкам, где́ цари́т стра́шная теснота́, грязь, злово́ние, сы́рость, полутьма́; и за все э́ти удо́бства рабо́чие отдаю́т льви́ную до́лю своего́ за́работка, „потому́ бо́льше де́ться не́куда, не на у́лице же с семьёй жить“. Уезжа́я ве́чером на ста́нцию, я в после́дний раз взгляну́л на заво́д с приго́рка. Доли́на, где он помеща́лся, представля́ла демони́ческий вид: гро́хот, желе́зный лязг, сме́шанные хаоти́ческие звуки, огро́мное пла́мя, вспы́хивавшее над до́мнами и озаря́вшее кра́сным о́тблеском чёрные облака́ окре́стности, дома́ посёлка и угрю́мые, закопте́лые заво́дские гига́нты. Люде́й не́ было ви́дно и слы́шно.

А. Серафимо́вич.

Сак=ко́жаная и́ли брезе́нтовая су́мка.

Чернобы́ль=ئُولەن ئُيسمن

Вы́строены по шабло́ну=вы́строены по одному́ образцу́.

Огоро́жа=огра́да; плете́нь; забо́р.

Галлере́я=у́зкий ход, коридо́р в ша́хте, под землёй.

Шахтёр=челове́к, рабо́тающий в ша́хте.

Казённая монопо́лия=казённая торго́вля вино́м и пиво́м.

Дю́же=о́чень.

Чижéле—нарóдное выражéние=тяжелée.

Дóменная печь=печь, в котóрой выплавляéтся чугýн из руды́.

Кокс=осóбый материáл, котóрым тóпят дóменные пéчи.

Хаоти́ческий беспоря́док=стрáшно большóй беспоря́док.

Стáрый лом=стáрое лóманое железо.

Шлак=стеклови́дное веществó, получáющееся при выплавлéнии метáллов из руды́.

Йстый=настоя́щий.

Джентльмéн=ياعملى، تەملى سوزلى كشى

Деликáтный=ئەدەبلى، تەربيەلى كشى

Колоссáльное=громáдное.

Фешенéбельные дáмы=óчень хорошó одéтые дáмы.

Диллетáнт=не специали́ст, а прóсто люби́тель какóго-нибýдь дéла.

Гигáнтский=огрóмный,

Масси́в=громáда.

Циклопи́ческая бáшня = бáшня, пострóенная из неотёсанных камнéй, грýбо сдéланная.

Жерлó вулкáна=отвéрстие вулкáна.

Утрóба=здесь знáчит: внýтренность дóменной пéчи.

Интенси́вно сгорáет=сгорáет весь матери́ал так, что ни малéйшая часть егó не трáтится дáром; всё теплó расхóдуется с пóльзой.

Павильóн=дóмик.

Цили́ндр, пóршни=чáсти маши́н.

Бди́тельность=беспреры́вное наблюдéние; постоя́нный надзóр.

Перспекти́ва=то, что ожидáет в бýдущем.

Ша́нсы=коли́чество наде́жды на успе́х и́ли неуспе́х.

Маноме́тр=прибо́р для измере́ния упру́гости во́здуха, па́ра и́ли га́за.

Скептици́зм=сомне́ние.

Лязг желе́за=تیمر چاكْلاوی

Апа́тия= دەرتسزلك، حەرەكەتسزلك، روحسزلق

Чичеро́не=проводни́к.

Броди́л, как автома́т=ходи́я не по свое́й во́ле, а шёл туда́, куда́ вели́.

Ми́мика= فكرنی، ئم بلەن ئاڭلاتو

Регуля́тор=прибо́р у маши́ны, кото́рым мо́жно заставля́ть маши́ну рабо́тать ти́ше и́ли быстре́е.

Рельсопрока́тная=мастерска́я, где де́лаются ре́льсы.

Хабс=беспоря́док.

Ма́йна-Ви́ра.

Мико́ла Си́тников пришёл в Батум не́сколько ме́сяцев тому́ наза́д из Тамбо́вской губе́рнии, отку́да его́ вы́гнала зла́я голоду́ха и где, в дере́вне Заши́биной, у него́ была́ своя́ изба́ на ку́рьих ла́пках и свой кусо́к земли́, давно́ уже́ от истоще́ния переста́вшей роди́ть. Би́лись-би́лись с ней,— не роди́т, да и шаба́ш, да́же тоска́ всех взяла́. Собра́ли семе́йный сове́т и всем гурто́м реши́ли итти́ Мико́ле на за́работки. Мико́ла стал собира́ться. Был вы́правлен годово́й па́спорт; жена́ напекла́ Мико́ле из заёмной муки́ лепёшек, на́кали́ла яи́ц на доро́гу, вы́дернула на огоро́де пято́к лу́ковиц; стари́к-оте́ц отсчита́л дрожа́щими рука́ми полти́ну де́нег из заве́тного кошеля́—и Мико́ла отпра́вился в неве́домый путь. В го́роде ему́ сказа́ли, что на́до тяну́ть на Куба́нь, где, бу́дто бы, хле́ба роди́лось не „впроворо́т"; и, пристро́ившись к арте́ли таки́х бо́сых и голо́дных мужико́в, Мико́ла пошёл с ни́ми „на ли́нию". Шли они́ о́чень до́лго,

где пешко́м, где за́йцами на чугу́нке; одна́жды Мико́ле пришло́сь е́хать в това́рном ваго́не с се́ном, в кото́ром он чуть было не задо́хся, а в друго́ раз—да́же в трубе́ холо́дного паровоза; когда́ же он, по́сле всех э́тих мыта́рств, добра́лся, наконе́ц, до Куба́ни, растеря́в по доро́ге всех свои́х случа́йных спу́тников, оказа́лось, что наёмка давны́м-давно́ уже́ ко́нчилась, и толпы́ голо́дных горемы́к тяну́ли обра́тно. Но Мико́ле возвраща́ться домо́й было не́зачем, и, пошата́вшись туда́ и сюда́ по Кавка́зу, он, то́же по чьему́-то сове́ту, „пода́лся“ на Батум.

Когда́ у́тренний по́езд Закавка́зской желе́зной доро́ги вы́бросил Мико́лу на платфо́рму вокза́ла, он в пе́рвую мину́ту соверше́нно растеря́лся и не знал, что ему́ де́лать и куда́ итти́. Круго́м толка́лись черномáзые, уса́тые ро́жи; слы́шалась незнако́мая, стра́нная речь; како́й-то огро́мный ту́рок, блестя́ я́ркими белка́ми больши́х глаз, чуть не сшиб его́ с ног, и увлека́емый э́тим пёстрым, говорли́вым пото́ком челове́ческих тел, Мико́ла, сам не зна́я как, очути́лся на у́лице. Здесь он передохну́л немно́го и огляде́лся. Улица была́ широ́кая, гла́дкая, как пол; по тротуа́ру росли́ неви́данные дере́вья, покрытые то бе́лыми, то ро́зовыми цвета́ми; Мико́ла, рази́нув рот, полюбова́лся на них: дома́ были всё хоро́шие, с балко́нами и широ́кими о́кнами, кото́рые на́глухо закры́ты были зелёными решётчатыми ста́внями. Краси́вые па́рные фаэто́ны, бесшу́мно подпры́гивая на рези́новых шина́х, кати́лись по мостово́й; в фаэто́нах сиде́ли наря́дные господа́ и ба́рыни в бе́лых костю́мах, с ро́занами на груди́ и в рука́х, с весёлыми, беспе́чными и улыба́ющимися ли́цами. „Ишь ты“! поду́мал Мико́ла, то́же беспричи́нно чему́-то улыба́ясь. „Ничего́, хоро́ший го́род, хорошо́, знать, живу́т“... Но знако́мое, о́строе и боле́зненное ощуще́ние под ло́жечкой сби́ло его́ с э́той мысли, и мгнове́нный под‘ём ду́ха, вызванный в нём благоуха́нием дико́винных цвето́в, мя́гким тепло́м у́треннего со́лнца и зре́лищем

чужой сытости и нарядности, сменился озабоченностью и усталостью. „Да... хорошо живут... а жрать-то чего будешь? Жрать-то, ведь, небось, надо“... прозвучал в его душе чей-то грубый, насмешливый голос; и, повинуясь этому голосу, Микола покорно зашагал вперёд. Машинально прошагал он одну улицу, потом другую, потом какой-то переулок и, наконец, вышел на широкий бульвар. Перед ним открылось море, безгранично-огромное, тихо волнующееся, сладко нежащееся под лучами яркого солнца. Микола, вообще равнодушный к красотам природы, от неожиданности ахнул и остановился, как столб. Он раньше ещё, из окна вагона, видел это море, но там оно только просвечивало сквозь деревья узкою, бирюзовою полоской; теперь же оно раскинулось и вдаль и вширь и, казалось, уходило в самое небо. Микола даже испугался. Ему стало трудно дышать; мурашки поползли у него по спине к затылку и забегали в волосах. Он потрогал себя за нос, чтобы убедиться, не спит ли он и не видит ли всё это во сне. Но нет, не спит: и нос на месте, и море всё тут, перед глазами, колышется и течёт, как живое; и белые волны тихонько всползают на берег и убегают назад; а вон и лодка плывёт, и треугольный белый парус качается и трепещет, как большая птица.

— О, господи!—во всю грудь вздохнул Микола и перекрестился.—Господи боже мой, и чудеса же... Точно и не взаправду! Зашибино-то, Зашибино-то наше теперь где? И, господи милостивый, земля-то какая большущая...

И Миколе даже удивительно стало, что вот он,—тот самый Микола Ситников, который когда-то жил в деревне Зашибиной и, лёжа, бывало, в поле, под телегой, глядел в звёздное небо и думал: „вот теперича здесь Зашибино наше, а за Зашибиным—Керша, а за Кершей—Зелёные Гай, а там губерня, а там Москва, а за Москвой—Питер, да вот и вся Россия“... Ан, глядь, вон ещё какие места есть, и какая же она огромная Россия, до самого моря дошла; а за мо-

рем, небо́сь, то́же земля́ есть, и то́же, ведь, ра́зные наро́ды живу́т... Мико́ла вдруг показа́лся себе́ таки́м ма́леньким и ничто́жным в сравне́нии с грома́дною землёй, грома́дность кото́рой он впервы́е созна́л и почу́вствовал при ви́де мо́ря, что ему́ сно́ва ста́ло стра́шно.

А мо́ре всё шепта́ло и вздыха́ло, и моло́чно-бирюзо́вая грудь его́ тихо́нько вздра́гивала под горя́чими со́лнечными луча́ми.

Под ло́жечкой у Мико́лы сно́ва засоса́ло, и э́та ста́рая голо́дная боль заста́вила его́ опо́мниться. „Эх, закуси́ть бы!“ Он посмотре́л на мо́ре, на зе́лень бульва́ра и пото́м на себя́. Вид у него́ был неказистый: сби́тые, пропылённые насквво́зь ла́пти, гря́зные ону́чи, запла́танная холщёвая руба́ха и таки́е же штаны́. И стра́шно бы́ло ви́деть э́ту мра́чную фигу́ру с мешко́м за плеча́ми, ни к селу́—ни к го́роду торча́щую среди́ наря́дного бульва́ра, на фо́не ве́чно-прекра́сного мо́ря и пра́зднично-голубы́х небе́с. Мико́ла э́то по́нял, и опя́ть ему́ ста́ло стра́шно за своё со́бственное ничто́жество и убо́гость. А его́ заприме́тил городово́й и с стро́гим лицо́м, с стро́гими уса́ми, с стро́го нахму́ренными бровя́ми гро́зно надвига́лся на него́.

— Ты чего сюда́ зале́з? А?—внуши́тельно произнёс он, остана́вливаясь пе́ред Мико́лой.—Здесь не полага́ется! Слышь ты?

Мико́ла винова́то улыбну́лся.

— Да, ведь, ка́бы зна́мо бы́ло...—на́чал он.—А то, вишь ты, я впервой...—Ну и того́... заблуди́лся ка́быть.

— Ну и повора́чивай огло́бли. Шля́ются тут... че́рти оголте́лые!

Мико́ла вы́шел на при́стань—и сра́зу то́чно в мураве́йник ввали́лся. У при́стани разгружа́лась парова́я шку́на, пришёдшая из-за грани́цы. На па́лубе безостано́вно рабо́тал парово́й кран; колёса оглуши́тельно греме́ли, и дли́нная цепь (шке́нтель), ля́згая и содрога́ясь от нату́ги, то́чно

змея́, то вылеза́ла из трю́ма с огро́мными тюка́ми на га́ке (крюк), то сно́ва с рыча́нием уполза́ла обра́тно под однообра́зные кри́ки разгру́зчиков: „Ви́ра! Ма́йна! Ви́ра! Ма́йна“ *). По двойны́м схо́дням верени́цей тяну́лисьноси́льщики,—одни́ вниз, други́е вверх; у ка́ждого на спине́ был так называ́емый „курта́н“—утолща́вшаяся кни́зу поду́шка для перено́ски тя́жестей; и, согну́вшись под курта́ном в три поги́бели, опусти́в ру́ки к земле́, с хму́рыми от напряже́ния ли́цами, они́ осторо́жно передвига́ли трясу́щиеся но́ги, а освободи́вшись от но́ши, тя́жко вздыха́ли и руга́лись между́ собо́ю. Горта́нная туре́цкая речь слива́лась с карта́вым го́вором грузи́н; иногда́ в э́ту разноголо́сицу вре́зывалась непеча́тная росси́йская ру́гань; а на́до всем э́тим хао́сом зву́ков вла́стно грохота́ла лебёдка, и слы́шалось сда́вленное, серди́тое шипе́ние „до́нки“ **). Мико́ла совсе́м растеря́лся и не зна́л, куда́ ему́ де́ться с свои́м мешко́м и свое́ю неуклю́жею фигу́рой, всем меша́вшей и всем попада́вшейся на доро́ге. Вот пря́мо на него́ прёт здорове́нный ту́рок в кра́сной, полиня́вшей фе́ске с ото́рванной ки́стью, в дыря́вых, порыже́лых шарова́рах, до того́ у́зких у коле́на, что того́ и гляди́ ло́пнут по всем швам; он широко́ откры́л рот, как умира́ющая ры́ба, тя́жко ды́шит и зло́бно коси́т чёрным гла́зом на Мико́лу. А вот ста́тный аджа́рец в чёрном башлыке́, обмо́танном, на подо́бие чалмы́, вокру́г бри́той головы́; курта́н немно́го сдви́нулся у него́ на́ сто́рону, и оттого́ ему́ нело́вко нести́ свою́ но́шу; краси́вое лицо́ его́ искажёно мучи́тельной су́дорогой, и по лбу струи́тся пот. За аджа́рцем, легко́ и свобо́дно ступа́я мя́гкими чувя́ками, идёт то́щий грузи́н в бе́лой во́йлочной шля́пе, а сза́ди бегу́т зо́ркие армя́не в свои́х ни́зеньких ша́почках, в си́них ку́ртках, и то́лько дли́нные носы́ их

*) Слова́, употребля́емые при нагру́зке парохо́дов, при чем „ма́йна“ соотве́тствует опуска́нию, „ви́ра“—подыма́нию.

**) До́нка—ма́лая паровая́ маши́на.

смешно́ торча́т из-под тюков, нагромождё́нных на их выно́сливые спи́ны. Настоя́щие муравьи́, когда́ развороша́т их гнездо́, и они засуетя́тся, торопя́сь попря́тать в зе́млю свои́ драгоце́нные я́йца! И всех их, э́тих ту́рок, армя́н, грузи́н, аджа́рцев, бра́тски соедини́л здесь оди́н власти́тель ми́ра— Го́лод; и, ко́рчась от стра́шного напряже́ния, облива́ясь по́том, они́ по́лзали и пресмыка́лись по земле́, подбира́я жа́лкие кро́хи хле́ба, кото́рые снисходи́тельно броса́л им друго́й царь—Капита́л.

— Ишь ты! Ишь ты!—шепта́л про себя́ Мико́ла, гля́дя на э́ту сумато́ху и повора́чиваясь то впра́во, то вле́во, что́бы дать доро́гу носи́льщикам.—Го́споди ты, бо́же мой, ви́дно оно́ везде́ тру́дно жить, не то что на́шему мужичку́. Ишь ты, как воро́чают, гляди́-кось, каку́ю махи́нищу волоча́т! Чи́сто быки́, а не лю́ди, прости́ ты меня́, го́споди...

А лебё́дка все грохота́ла, оди́н за други́м выбра́сывала на при́стань тю́ки замо́рского това́ру, до́нка зли́лась и шипе́ла, матро́сы выкри́кивали: „Ви́ра по ма́лу! Ви́ра веселе́е! Ма́йна! Стоп!“ И раскалё́нное со́лнце беспоща́дно жгло зе́млю, и в горя́чем во́здухе и́зредка бу́хала пу́шка, и носи́льщики, задыха́ясь под тя́жкою но́шей, по́лзали взад и вперё́д, как жа́лкие че́рви.

Вдруг пря́мо на Мико́лу налете́л с ручно́й та́чкой како́й-то жи́денький челове́чек и, вы́ронив на́земь часть нагружё́нного на та́чку това́ру, разрази́лся кру́пной бра́нью на чисте́йшем ру́сском языке́.

— Эй ты, чу́чело лупогла́зое, чего́ еда́ло-то растя́пил? С доро́ги, тебе́ говоря́т, а ты тут раз‘е́хался, сло́вно пе́чка голла́ндская! Ма́ло тебе́ ме́ста, поле́но дубо́вое? Шё́л бы на чугу́нку да и стоя́л там заме́сто столба́ телегра́фного!

— Чего́ ты ла́ешься? доброду́шно сказа́л Мико́ла, подбира́я рассы́панные мешки́ и укла́дывая их обра́тно в та́чку.—Я тебе́, ведь, ненаро́ком по́д ноги подверну́лся, а ты бы и сам гляде́л хороше́нько, по сторона́м-то не зева́л! Ну, вот тебе́ и мешки́ твои́, волоки́, что-ль, с го́сподом!

Они́ погляде́ли друг на дру́га. Ни́зенький челове́к также, как и други́еноси́льщики, был оде́т в гря́зные лохмо́тья, в сто́птанные чувя́ки на босу́ю но́гу и с курта́ном за спино́ю, но его скула́стое, обожжённое со́лнцем, лицо́, покры́тое ры́жею, давно́ небри́тою щети́ной, его́ приплю́снутый нос и голу́бенькие гла́зки ре́зко выделя́лись среди́ всех э́тих горбоно́сых, бро́нзовых, черномá́зых ту́рок и аджа́рцев и ука́зывали на его́ несомне́нное росси́йское происхожде́ние. Мико́ла сейча́с же э́то сообрази́л, забы́в происше́дшую ра́спрю, с удово́льствием смотре́л на челове́чка; а тот, в свою́ о́чередь, уста́вился на Мико́лу и переста́л ворча́ть.

— Земляки́, что-ли?—отры́висто спроси́л он.

— Аль призна́л? Земля́к и есть. То-то и я гляжу́, бу́дто обли́чье-то у тебя́ рассе́йское ока́зывает. Ан оно́ и взапра́вду...

— То-то взапра́вду! А по́д но́ги-то заче́м суёшься? И отко́ле ты взялся́? Чего́ здесь де́лаешь-то?

— Да чего́? Ничего́! Глаза́ вот продаю́.

— Ну, брат, э́то де́ло плохо́е. Бу́ркал твои́х тут и зада́ром не возьму́т; тут, брат, хле́бушко-то горбо́м на́до выкола́чивать, на мане́р хоро́шего бу́йвола, а глаза́,—э́то ни к чему́. Хребёт здоро́вый есть? Иди́ сюда́. Не́ту? Вон пошёл. Вот как у нас!

— А что-ж, хребёт так хребёт,—я, землячо́к, и за хребто́м не постою́. Мне чего́ ни прода́ть, всё равно́, только ты хле́бом корми́ли. А хребта́ не жа́лко, небо́сь, не ку́пленный.

Челове́к ещё раз при́стально огляде́л Мико́лу.

— Хребёт, э́то то́чно, хребёт у тебя́ здоро́вый,—с за́вистью сказа́л он и изо всей си́лы вы́тянул Мико́лу по спине́ кулако́м.—Ишь, спини́ща-то,—чи́сто печь! Ну, ла́дно, заболта́лся я с тобо́й и про де́ло забы́л. Отойди́ пока́мест к сторо́нке, по́сле потолку́ем.

Он взялся́ бы́ло за свою́ та́чку, но в э́то вре́мя у лебёдки произошла́ кака́я-то зами́нка, и о́ба останови́лись.

Лебёдка то́лько что сбро́сила с га́ка огро́мнейший тюк, и носи́льщики озабо́ченно суети́лись о́коло него́, очеви́дно, не зна́я, что де́лать с тако́й грома́диной. Все неи́стово крича́ли, ле́зли друг на дру́га и так энерги́чно жестикули́ровали, как бу́дто бы собира́лись вы́шибить друг у дру́га зу́бы. Не́которые пыта́лись прила́живать тюк к со́бственной спине́, но ничего́ не выходи́ло, и тюк гру́зно шлёпался на́земь, подыма́я це́лый столб е́дкой пы́ли. Надсмо́трщик выходи́л из себя́ и сы́пал руга́тельствами напра́во и налёво; приёмщик това́ра, то́лстый армяни́н с бро́нзовой цепо́чкой на животе́ и с карандашо́м в рука́х, мета́лся по па́лубе и, сверка́я глаза́ми, визгли́во уверя́л всех, что ему́ ждать не́когда, и что ка́ждая мину́та ему́ сто́ит пяти́десяти рубле́й, а рабо́чие э́того не понима́ют и жале́ют свое́й спины́, кото́рая ничего́ не сто́ит.

— Ишь ты, жи́рная сатана́!—проворча́л но́вый Мико́лин знако́мый, серди́то погля́дывая на армяни́на.—Раз‘е́лся, в три дня не обойдёшь, а, небось, то́же муша *) был, сам на при́стани тюки́ воро́чал. Подыма́й сам, ко́ли хо́чешь!

— Где Верблю́д? Позови́те его́ сюда́! Эй, Верблю́д! Живе́е!—крича́ли на па́лубе.

К толпе́ носи́льщиков подошёл высо́кий и то́щий грузи́н с дли́нной кори́чневой ше́ей, на кото́рой вы́пукло обознача́лся большо́й кады́к, с дли́нным горба́тым но́сом, загиба́вшимся к са́мому подборо́дку, и больши́ми полузакры́тыми глаза́ми, над одни́м из кото́рых был ви́ден глубо́кий шрам. Это и был тот, кото́рого называ́ли „Верблю́дом“; и, действи́тельно, все́ю свое́й нескла́дной фигу́рой, дли́нною ше́ей с торча́щим нару́жу кадыко́м, запроки́нутою наза́д головой и ме́рной по́ступью он удиви́тельно напомина́л э́то терпели́вое, поко́рное живо́тное, как бы само́ю приро́дою обречённое на тя́жкий труд и ве́чное ра́бство. Улыба́ясь

*) Муша—носи́льщик

во весь свой широ́кий рот и блестя́ жемчу́жными зуба́ми, он подошёл к тю́ку и привы́чным движе́нием попра́вил согбённую спи́ну.

— Клади́! —отры́висто скома́ндовал надсмо́трщик.

Че́тверо здорове́нных муше́й с уси́лием взвали́ли тюк на Верблю́да и, сняв ша́пки, вы́терли струи́вшийся по ли́цам пот. Верблю́д сде́лал два ша́га, но пошатну́лся, останови́лся и сбро́сил тюк обра́тно.

— Нельзя́. Бо́льно тяжёл была́! —сказа́л он выпрямля́ясь.

С па́лубы сно́ва посы́пался град руга́тельств, и то́лстый армяни́н ещё отча́яннее забе́гал взад и вперёд.

— Эх ты, кацо *)! А ещё верблю́д называ́ешься. Како́й ты верблю́д? Ба́ба! Са́ло морско́е!

Верблю́д, кро́тко улыба́ясь, отошёл в сто́рону. Наблюда́вший всю э́ту сце́ну Мико́ла вдруг тряхну́л плеча́ми, поплева́л на́ ру́ки и вопроси́тельно взгляну́л на своего́ знако́мца. Всё те́ло его́ так и зуде́ло от жела́ния по-дереве́нски, по-мужи́цки показа́ть свою́ си́лу.

— А сём-ка я попро́бую, а?—нереши́тельно вы́молвил он.

— Ты? — проворча́л знако́мец неодве́рчиво. — А ну... постой́-кась...

Он подбежа́л к ку́чкеноси́льщиков и на́чал что-то об'-ясня́ть им, пуска́я в ход все изве́стные ему́ грузи́нские, туре́цкие и армя́нские слова́. Пото́м махну́л руко́й Мико́ле и торопли́во прошепта́л ему́ на ходу́:

— Иди́... На ча́й даду́т... Ты не сумлева́йся!

Мико́ла жи́во снял с себя́ мешо́к, прила́дил к спине́ чей-то курта́н и нагну́лся. Тюк взвали́ли на него́, и он, лего́нько кря́кнув, отнёс его́ на ме́сто, при одобри́тельных во́згласах носи́льщиков. Его́ окружи́ли, хло́пали по спине́, щу́пали ему́ ру́ки, а он то́лько улыба́лся во все сто́роны

---

*) Кацо—по-грузи́нски: челове́к.

и кря́кал. Он был рад, что дорвался́, наконе́ц, до како́й-нибу́дь рабо́ты, и тепе́рь, сгоряча́, ему́ каза́лось, что не то́лько како́й-то парши́вый тюк, а да́же и це́лый парохо́д он поды́мет на свои́х плеча́х.

— Ну, молодчи́на!—прохрипе́л его́ знако́мец.—Потому́—руса́к, а супроти́в русака́ ни одна́ сатана́ замо́рская не вы́стоит. А ты, брат Верблю́д, отставно́й козы́ бараба́нщик, вот что! Иди́ на ять, голубе́й гоня́ть, то́лько тебе́ и всего́. Мы тепе́рь с земляко́м всему́ отро́дью ва́шему нос утрём. Тебя как звать-то, земля́к?

— Микола́й.

— А меня́ Ива́н Рогу́ля. Знако́мы бу́дем. Ты не робь, землячо́к, не пропадём! С э́такой спино́й-то—да пропада́ть... Ни за мя́тный пря́ник! Поку́рим, что-ли, брат ты мой любо́зный?

Он ры́лся по всем проре́хам своего́ костю́ма, ша́рил за па́зухой, наконе́ц, вы́вернул карма́ны, но табаку́ нигде́ не́ было. В э́то вре́мя, воспо́льзовавшись коро́ткой передышкой, носи́льщики расположи́лись гру́ппами, кто пря́мо на земле́, кто приткну́вшись к тюка́м, и, выпрямля́я сго́рбленные под курта́нами спи́ны, на́скоро заку́сывали хле́бом, огурца́ми, помидо́рами, и́ли свёртывали папиро́сы и с наслажде́нием затя́гивались. Верблю́д, си́дя по-туре́цки на земле́, то́же поле́з к себе́ за па́зуху.

— Тютю́н есть?—спроси́л его́ Рогу́ля.

— Есть ма́ло.

— Дава́й сюда́, мы с землячко́м воску́рим. Эх, Верблю́д, Верблю́д, осрами́лся ты ны́нче, заши́б тебя́ Мико́ла!

Ве́чером, когда́ не́бо чёрным ба́рхатом обогну́ло зе́млю и сла́дкий за́пах цвету́щих бе́лых ака́ций заглуши́л да́же кероси́новую вонь, разли́тую над Батумом, Ива́н Рогу́ля сиде́л с Мико́лой у Осма́нки в духа́не, угоща́л его́ дешёвым вино́м и воню́чим сулуча́ном (ове́чий грузи́нский сыр) и рисова́л ему́ широ́кие перспекти́вы бу́дущего житья́.

— Что-ж, брат, здесь ничего́,—говори́л он.—Здесь жить мо́жно. Наймёшься в муши, горб у тебя́ здоро́вый, а в на́шем де́ле горб—пе́рвое де́ло. Ка́бы мне э́такий горб, да я бы...

Он так же, как и да́веча, потрепа́л Мико́лу по „горбу́", и Мико́ла скро́мно кря́кнул.

— Рабо́та, оно́, пра́вда, тяжёлая, мно́го на́шего бра́та на э́той рабо́те пропа́ло, да зато́ и деньга́ хоро́шая,—рупь два́дцать в день.

— Рупь-два́дцать! захлёбываясь повтори́л Мико́ла; и в уме́ его́ пронесли́сь сейча́с же са́мые ра́дужные соображе́ния. Два́дцать копе́ек за глаза́ прое́сть дово́льно, а рупь— в мошну́. В ме́сяц—э́то три́дцать рубле́й, а в два—и все шестьдеся́т... Попра́виться мо́жно. Коро́ва—два́дцать... ло́шадь... одёжа... семена́... Сча́стливо улыба́ясь, он подели́лся э́тими соображе́ниями с Рогу́лей.

Но Рогу́ля отнёсся к его́ мечта́м скепти́чески. Он давно́ уже́ потеря́л свою́ ро́дину и своё настоя́щее зва́ние, скита́ясь по широ́кой Руси́ и живя́ где день, где ночь—су́тки прочь. Если у него́ когда́-нибу́дь и бы́ло своё Заши́бино, то он уже́ так основа́тельно по́рвал с ним вся́кие свя́зи' что у него́ и воспомина́ния об э́том не сохрани́лось. И пла́ны Мико́лы, свя́занные с каки́м-то Заши́биным, затёрянным бог зна́ет где, чуть не за́ две ты́сячи вёрст отсю́да, показа́лись ему́ пусты́ми и неле́пыми. У него́ бы́ли свои́ пла́ны...

— Ну, брат, ты ещё с коро́вой подожди́!—насмешливо останови́л он Мико́лу.—Кака́я там коро́ва? Ты ещё снача́ла влезь в курта́н, а пото́м и ду́май о коро́ве. Пе́рвое де́ло— в курта́н на́до влезть, потому́—здесь все армя́шки заграба́стали, у них арте́ль; а на́шему бра́ту хо́ду не даю́т. Ну, да э́то наплева́ть, обла́дим как-нибу́дь, а гла́вная вещь— ты пустяки́ брось, тут не коро́вой де́ло па́хнет...

— А что?—спроси́л Мико́ла и нево́льно пощу́пал себя́ за гама́нок, висе́вший на кресте́, как бы уже чу́вствуя в нём тя́жесть зарабо́танных де́нег.

Рогу́ля таи́нственно огляну́лся. В духа́не было ма́ло посети́телей: то́лько два грузи́на с аза́ртом игра́ли в ко́сти, кида́я друг на дру́га горя́щие вражде́бным огнём взо́ры, да сам хозя́ин, представи́тельный ту́рок с окла́дистой чёрной бородо́й, си́дя на ко́врике, бесстра́стно тяну́л кальја́н. В отво́ренную дверь вме́сте с сла́дким за́пахом ака́ций доноси́лись не́жные зву́ки му́зыки, игра́вшей на бульва́ре, и могу́чие вздо́хи мо́ря.

— Что говори́ть?—прохрипе́л Рогу́ля.—А то, бра́тец ты мой, что со сноро́вкой здесь таки́х дело́в мо́жно наде́лать,—моё почте́ние! Потому́—круго́м деньга́, только подбира́й!

— Ну?

— Вот тебе́ и „ну“! Ви́дишь, вон Осма́нка сиди́т, кальја́н ку́рит? То́же муша был, а тепе́рь у него́ духа́н, а пото́м магази́н откро́ет, ли́бо гости́ницу, а пото́м бу́дет в каре́те е́здить,—вот тебе́ и муша!

— Каки́м ро́дом?

— А таки́м, что здесь земля́ така́я.

— Роди́т дю́же?—с благогове́нием спроси́л Мико́ла.

— Э, ду́ра!—рассерди́лся Рогу́ля.—Ничего́ не роди́т, ка́мень оди́н. Не в э́том си́ла, а в том, что де́ньги круго́м. Копну́л в одно́м ме́сте—чи́стая медь; копну́л в друго́м—це́лый фонта́н кероси́ну. Ведь это что? Ты́щи!

Това́рищи погляде́ли друг на дру́га разгоре́вшимися глаза́ми и умо́лкли. Не́жные зву́ки му́зыки продолжа́ли ли́ться в отво́ренную дверь, и всё также зага́дочно и мо́щно вздыха́ло мо́ре.

— Ну, пойдём!—тяжело́ подыма́ясь, сказа́л Рогу́ля.—Бог напита́л, никто́ не вида́л, а кто ви́дел, тот не оби́дел. За́втра на при́стань вы́дем пора́ньше... а на коро́ву—плюнь!

Сы́тый, отяжеле́вший вы́шел Мико́ла на у́лицу; голова́ у него́ кружи́лась, как пья́ная, но не от вина́, а от удиви́тельных рече́й Рогу́ли. В глаза́х у него́ стла́лся золоти́стый

тума́н, и сквозь э́тот тума́н наяву́ мере́щились гру́ды де́нег, фонта́ны кероси́ну, глы́бы сверка́ющей, как зо́лото, ме́ди. „Ты́щи!“ как в бреду́ прошепта́л он и, проходя́ ми́мо, с уваже́нием посмотре́л на Осма́нку, кото́рый в созерца́тельной дремо́те всё ещё сиде́л на ковре́ и кури́л кальа́н. Мо́жет быть и ему́ в си́зых волна́х ды́ма чу́дились гру́ды зо́лота, блестя́щий магази́н, каре́та и дом с зерка́льными о́кнами...

На у́лице он немно́го пришёл в себя́ и, взгляну́в на ба́рхатное не́бо, расши́тое золоты́ми и серебряными узо́рами, глубоко́ вздохну́л. Ему́ каза́лось, что он спит и ви́дит всё э́то во сне. Отдалённая му́зыка буди́ла в его́ душе́ каки́е-то но́вые, необы́чные ощуще́ния и жела́ния, вы́сказать кото́рых он и сам бы не мог. Но вот му́зыка смо́лкла; то́лько мо́ре немо́лчно пе́ло во мра́ке свою́ ве́чную пе́сню далёкому не́бу.

Мико́ла остано́вился.

— Посто́й-ка...—прошепта́л он.—Слы́шишь?

— А что?—спроси́л Рогу́ля то́же шо́потом и насторожи́лся, как тра́вленный волк, всегда́ гото́вый к встре́че с врага́ми.

Мо́ре-то... Шуми́т!

— А, чтоб тебя́!—проворча́л Рогу́ля плю́нув.—Я ду́мал, бо́знать что...

— Заши́бино-то! Заши́бино-то где тепе́рича? Спят, небо́сь, и не чу́ют ничего́. И во сне не ви́дят, где и́хний Мико́ла гуля́ет?

— А, ну тебя́ с Заши́биным! Нашёл о чём ду́мать! Спать пойдём,—сказа́л Рогу́ля и во весь рот аппети́тно зевну́л.

Мико́ла побрёл за ним, но душа́ его́ ны́ла, и ему́ до тоски́ жа́лко бы́ло Заши́бино, кото́рое спа́ло в э́ту мину́ту тяжёлым сном в тени́ свои́х то́щих лозняко́в.

Влез Мико́ла в курта́н и вме́сте с други́ми, под кома́нду „ма́йна-ви́ра“, стал воро́чать на при́стани тюки́ с

товáрами. Сначáла бы́ло трýдно, но потóм он приспосóбился и привы́к к своемý волóвьему трудý так, как бýдто и родúлся в куртáне. За своіó огрóмную сúлу и здорóвый „горб", способный поднимáть не одúн пятóк пудóв, он приобрёл средú товáрищей всеóбщее уважéние и клúчку „Большóго Дя́ди". Слáва Верблюда, как пéрвого силачá, помéркла, но добродýшный кацо безрóпотно уступúл Микóле своё пéрвенство.

К концý пéрвого мéсяца в гамáне у Микóлы ужé бы́ло 15 рублéй, котóрые он не без гóрдости и отослáл домóй, в Зашúбино. Почемý 15, а не 30, как рассчúтывал рáньше Микóла? Увы, у Микóлы явилúсь нóвые потрéбности, развилúсь осóбенные вкýсы, и двугрúвенного в день „на проéжу" оказáлось мáло. Во-пéрвых, пóсле тяжёлого рабóчего дня необходúмо бы́ло вы́пить и закусúть, как слéдует, а Ивáн Рогýля знал такúе соблазúтельные местá насчёт вы́пивки и закýски, что устоя́ть прóтив них нé было никакóй возмóжности. При э́том Рогýля всегдá так вразýмительно докáзывал закóнность и вы́пивки и закýски, что Микóле тóлько оставáлось с ним согласúться. Затéм Микóла полюбúл во врéмя досýга сыгрáть с хорóшими людьмú в кóсти и в дáмки, и не одúн целкóвый вы́скочял из егó гамáна на э́то удовóльствие. Наконéц, он привы́к курúть настоя́щий турéцкий табáк и пить в духáне настоя́щее кахетúнское винó; а э́то тóже чегó-нибýдь да стóило. Прáвда, армя́не и тýрки, рабóтавшие тут же, на прúстани, питáлись однúми помидóрами с хлéбом и ухитря́лись кáждый грош пря́тать в свой лохмóтья; но, по словáм Рогýли, на то онú и свúньи бы́ли, а правослáвный чековéк так жить не мог, потомý что он привы́к к пúще тяжёлой, и брю́хо у негó ужé так устрóено, что помидóр емý всё равнó, что наплевáть...

Микóла и с э́тим соглашáлся, и хотя́ на душé у негó немнóго скреблó, когдá он высчúтывал, скóлько у негó

оста́нется де́нег на посы́лку домо́й, но всё-таки и селя́нку зака́зывал, и кахети́нское пил, и таба́к кури́л, в 13 копе́ек четвёртка, вме́сто Зло́бинского, шестикопе́ечного.

На сле́дующий ме́сяц он уже́ совсе́м не посыла́л де́нег в Заши́бино, и на се́рдце у него́ не то́лько не скребло́, но бы́ло дово́льно легко́ и прия́тно. Он спра́вил себе́ прили́чную оде́жду и в свобо́дные часы́ ходи́л гуля́ть на бульва́р, где слу́шал му́зыку, щёлкал се́мячки и угоща́л и́ми ра́зных „мамо́шек", кото́рые, то́чно ба́бочки у огня́, постоя́нно толкли́сь в боковы́х алле́ях.

А из Заши́бина ему́ писа́ли: „Сын наш единоро́дный, Никола́й Саве́льевич! шлём тебе́ на́ше роди́тельское благослове́ние на ве́ки нерушн́мо и ни́зкий покло́н, и слёзно про́сим вас, утри́ ты на́ши го́рькие слёзы, пришли́ деньжо́нок хоть са́мую ма́лую-ма́лость"... Мико́ла получа́л э́ти пи́сьма и ничего́ не отвеча́л на них. „Пуща́й подожду́т"—ду́мал он.

Был жа́ркий по́лдень. Да́же не́бо побеле́ло от нестерпи́мого зно́я и тяжело́ висе́ло над роско́шным го́родом. На гора́х клуби́лись се́рые, пу́хлые ту́чи, и мо́ре, моло́чно-бирюзо́вое у берего́в, чуть-чуть темне́ло на горизо́нте под набега́вшим ветерко́м. Всё изнемога́ло от жары́, и муши, чёрные от пы́ли, мо́крые от по́ту, едва́ волочи́ли но́ги, таска́я тюк за тю́ком и непреме́нно ругая́сь. Наконе́ц и руга́ться переста́ли,—лень бы́ло воро́чать языко́м,—и, уста́лые, озло́бленные, мо́лча подставля́ли спи́ны под но́шу. Гора́ тю́ков на при́стани росла́; разгру́зка подходи́ла к концу́. „Ах, скоре́е бы уж!" шевели́лось в уста́лых мозга́х, и э́та мысль об'единя́ла всю разноплемённую толпу́ рабо́чих, жа́жда́вших о́тдыха и прохла́ды. Да́же неугомо́нная до́нка как бу́дто уста́ла и не так рети́во воро́чала колёса кра́на.

У Мико́лы давно́ уже́ во рту пересо́хло от жа́жды; колёнки трясли́сь, и глаза́ залива́л како́й-то кра́сный тума́н; но он не отстава́л от други́х. „Ну уж жара́"—ду́мал он,

медленно передвигая ноги по сходням.—„Никогда такой не бывало... В голове так и гудёт, словно на колокольне“...

— Вира! Вира веселей!..!—охрипшим голосом кричал на палубе надсмотрщик.—Вира, Вира... Майна! Стоп!

„Ну, и гудёт же“...—продолжал думать Микола, подставляя спину.—„Ну, и пущай гудёт... не пропадать же целковому“.

Ему взвалили на спину громадный тюк. Микола крякнул и подался вперёд; красный туман ещё гуще застлал ему глаза. „О, идол же, и здоровый только! Ишь, черти, какой навалили... Ну, да ладно, мне бы только до сотни доколотить“...

Вдруг ему показалось, что сходни уплывают куда-то у него из-под ног, красный туман залил и пристань, и тюки и шумную толпу; в ушах загудело, в груди что-то лопнуло, и он тяжело рухнул наземь со своей ношей.

На пристани поднялся страшный гвалт. Донка замолчала; крюк, беспомощно покачиваясь, так и повис над трюмом; и носильщики, побросав тюки, окружили Миколу.

Черти! Дьяволы!—кричал Рогуля, грозя кому-то кулаком,—Нешто можно на человека экую махину грузить? Буйвол он, что-ль? Анафемы треклятые!

Прибежал Верблюд и, увидев распростёртого и придавленного тюком Миколу, взвыл и принялся стаскивать тюк.

Когда беднягу извлекли из-под тюка, он был без памяти. Из-под полузакрытых век видны были только налитые кровью белки; на губах пенилась сукровица, в горле что-то скрипело и хлябало, точно развинтившаяся гайка. Один из носильщиков принёс воды, и Рогуля, ругаясь и плача, мочил товарищу голову; а Верблюд сидел около на корточках, смотрел на небо и выл что-то по-своему.

На мостике показался капитан.

— Эй, вы, чего побросали работу? Что там такое?—закричал он.

— Челове́к упа́л, ва́ше благоро́дие!—отвеча́ли ему́ из толпы́.

— В больни́цу! Носи́лки тащи́! Где носи́лки, че́рти?

— Есть!

— Ишь ты, сейча́с и носи́лки! Уби́ли челове́ка, да и носи́лки!—ора́л Рогу́ля.—Ты сам, жи́рный дья́вол, ложи́сь на них, на носи́лки-то! Разло́пался на на́шей кро́вушке.

— Эй, кто э́то там орёт? Да́йте ему́ в зу́бы, тако́му-сяко́му! На рабо́ту, на рабо́ту жи́во! Убери́те те́ло!

— Есть, ва́ше благоро́дие!

Лебёдка опя́ть загрохота́ла, но никто́ и не ду́мал возвраща́ться к рабо́те. Муши волнова́лись и шуме́ли, с тупы́м стра́хом загля́дывая в искажённое лицо́ Мико́лы. Ведь не сего́дня, так за́втра ка́ждого из них подстерега́ла така́я же неожи́данная и жесто́кая смерть.

Яви́лись носи́лки, и матро́сы пригото́вились поднима́ть Мико́лу.

— Не трожь, дья́вол!—закрича́л Рогу́ля.—Посто́й, говорю́, он отлежи́тся!

— Где уж отлежи́тся!—сказа́л матро́с равноду́шно.—Небо́сь, давно́ все пу́льцы останови́лись.

— Говорю́, не трожь, че́рти! Верблю́д, скача́й, брат, за во́дкой живы́м мане́ром! От во́дки он у нас сейча́с очу́хается.

Верблю́д вскочи́л и свое́ю обы́чною и́ноходью, вытя́нув ше́ю и заки́нув го́лову наза́д, понёсся за во́дкой.

Вдруг полузакры́тые ве́ки Мико́лы дро́гнули и подняли́сь; по лицу́ промча́лась су́дорога. И взгляд помути́вшихся глаз проясни́лся. Он пришёл в себя и с удивле́нием смотре́л на склонённые над ним испу́ганные ли́ца, на пла́чущего Рогу́лю, на све́тлое, горя́чее не́бо вверху́.

— Бра́тцы... что э́то?—хоте́л было он сказа́ть, но язы́к не воро́чался, и то́лько хри́плый стон вы́летел из разби́той груди́.

— Очну́лся, очну́лся! — ра́достно закрича́л Рогу́ля.— Мико́лушка, подле́ц ты э́такий, жив? Ах, ты ана́фема! Бра́тцы, ещё води́цы! Лей, лей, вот так... Тепе́рь бы ещё во́дочки,—пе́рвое де́ло! Ну что, Мико́ла, как?

Лицо́ Мико́лы опя́ть задёргалось.

— Ни-че-го́...—прошепта́л он с мучи́тельным уси́лием.— О-ши́бся мане́нько... ничего́...

Он попро́бовал подня́ться, но ни ру́ки, ни но́ги не дви́гались. „Чудно́!.. Легко́ так и нигде́ не бо́льно, а влада́ния ни в чём не́ту..."

— Рогу́ля...—коснéющим языко́м проговори́л он.—Гама́н... гама́н-то... возьми́ тут... 40 целко́вых... в Заши́бино... я тебе́ ска́зывал...

Он заикну́лся, подави́вшись со́бственной кро́вью, кото́рая густы́м, чёрным клу́бом хлы́нула у него́ изо-рта́...

Не́бо ста́ло ещё ши́ре и светле́е. Мико́ла все смотре́л на него́ и, с улы́бкой, без вся́кой бо́ли, чу́вствовал, что ухо́дит в э́то огро́мное, откры́тое не́бо; наконе́ц, ушёл совсе́м...

На при́стань мча́лся Верблю́д с буты́лкой во́дки, а за ним торопли́во шага́л городово́й, уже́ осведомлённый о „происше́ствии".

— Ко́нчился!..—мра́чно сказа́л Рогу́ля, держа́ в рука́х Мико́лин коше́ль и оби́льно ороша́я его́ слеза́ми.

Между́ тем разда́вленное те́ло положи́ли на носи́лки и унесли́. До́нка зашипе́ла, и муши, пону́рив го́ловы и ещё ни́же согну́в спи́ны, мо́лча поползли́ по схо́дням. Всё пришло́ в свой обы́чный поря́док, то́лько Рогу́ли не́ было. Рогу́ля исчёз.

Он пропада́л це́лую неде́лю. На при́стани расска́зывали, что ви́дели его́ в ра́зных зла́чных ме́стах и ме́ртвецки пья́ного. Он води́л за собо́ю це́лую толпу́ пья́ного сбро́да, пил сам и други́х заставля́л пить за упоко́й души́ како́го-то ра́ба бо́жия Никола́я, и то рыда́л и ди́ким го́лосом пел

„ве́чная па́мять“, то раз'яря́лся и крича́л на весь Батум, что дово́льно уже́ им, лохмо́тникам, гнуть свои́ горбы́ для миллио́нщиков, что он ско́ро сам бу́дет бога́че всех богаче́й, и что тогда́ пусть са́мый после́дний муша посмо́трит, како́в-тако́в есть челове́к он, Ива́н Рогу́ля... И в отве́т ему́ жужжа́ла зурна́, греме́ли бу́бны, и боса́я, пья́ная, бу́йная толпа́ крича́ла: „Ура́, Ива́н Рогу́ля!“

Но че́рез неде́лю опу́хший, жё́лтый, как ты́ква, и ещё бо́лее обноси́вшийся и обтрепа́вшийся, Ива́н Рогу́ля появи́лся на при́стани, наде́л курта́н и, как ни в чём не быва́ло, сно́ва пошё́л таска́ть тюки́. К нему́ подошё́л было Верблю́д. „А Мико́ла-то!“—сказа́л он с чу́вством. Но Ива́н Рогу́ля так погляде́л на него́ свои́ми оплы́вшими глаза́ми, что Верблю́д уже́ не продолжа́л и торопли́во зашага́л от него́ в сто́рону.

Рабо́та на при́стани кипе́ла. Тюк громозди́лся на тюк, ля́згали шкентели́, до́нка хрипе́ла и задыха́лась от напряже́ния. И среди́ всей э́той а́дской му́зыки моното́нно повторя́лись одни́ и те же кри́ки: „Ви́ра! Ма́йна!“

В. Дми́триева.

Зла́я голоду́ха—си́льный го́лод.

Изба́ на ку́рьих ла́пках—о́чень ма́ленькая изба́.

Би́лись-би́лись—о́чень мно́го и до́лго труди́лись.

Всем гу́ртом—все вме́сте, сообща́.

На́до тяну́ть на Куба́нь—на́до итти́ на Куба́нь.

Хлеба́ роди́лись „невпроворо́т“—хлеба́ роди́лись о́чень хоро́шие.

Е́хали... за́йцами на чугу́нке—е́хали без биле́та.

Платфо́рма у вокза́ла—насти́лка, помо́ст, площа́дка у вокза́ла.

Черномáзые ро́жи—чё́рного цве́та ли́ца люде́й.

Фаэто́н—лё́гкая коля́ска с откидны́м ве́рхом.

Машинально прошагал... улицу—сам не замечая, прошёл улицу.

Бирюзовый—синеватый.

Зашибино—деревня, в которой Микола жил.

Губерня—губернский город.

Керша, Зелёные Гаи—название деревень.

Под ложечкой засосало—захотелось кушать.

Кабы знамо было—если бы я знал.

Заблудился кабыть—я, верно, потерял свою дорогу.

Поворачивай оглобли—уходи отсюда.

Оголтелый—обезумевший.

Шкуна—морское судно, пароход.

Паровой кран—машина для поднимания тяжестей.

Картавый—ساقاو

Хаос звуков—множество разных звуков.

Лебёдка—машина для под'ёма грузов.

Какую махинищу волочат—какую большую тяжесть тащат.

Чего едало растяпил—что рот раскрыл.

Обличье—лицо.

Глаза вот продаю—так хожу и смотрю, без дела.

Буркалы—глаза.

Хребёт—спина.

Энергично жестикулировали—сильно махали руками

Сатана=чорт, шайтан.

Кадык=بۇعاز كيمرچەگى

Шрам=جەراحەت ئزى

А сём-ка я попробую=а дай-ка вот я сам попробую.

Не сумневайся—народное выражение=не сомневайся; верь.

Дорвался́ до рабо́ты=наконе́ц нашёл рабо́ту.

Отставно́й козы́ бараба́нщик Иди́ на ять голубе́й гоня́ть	{	шутли́вые выраже́ния; зна́чат=ты тепе́рь никуда́ не го́ден.

Всему́ ва́шему отро́дью нос утрём=надо все́ми ва́ми верх возьмём, лу́чше вас бу́дем рабо́тать.

Помидо́ры = پۆمیدور

Тютю́н - таба́к.

Duха́н—тракти́р.

Рисова́л ему́ широ́кие перспекти́вы бу́дущего житья́—говори́л ему́ о хоро́шей жи́зни в бу́дущем.

Деньга́ хоро́шая—наро́дное выраже́ние=за́работная пла́та хоро́шая, больша́я.

Ра́дужные соображе́ния—весёлые мы́сли.

Мошна́ |
Гама́нок | = ئاقچا یانچۇغى

Отнёсся к его́ мечта́м скепти́чески=не пове́рил ему́.

Заграба́стали—наро́дное выраже́ние=взя́ли в свои́ ру́ки.

С аза́ртом игра́ли в ка́рты—с увлече́нием, с задо́ром игра́ли в ка́рты.

Кальян—(ئەمەكى تارتو ئۆچۈن) قورقور

Сноро́вка—уме́нье; зна́ние.

Дю́же—хорошо́, мно́го.

Ты́щи—наро́дное выраже́ние=ты́сячи.

Наяву́ мере́щились гру́ды де́нег—

ئۆڭنده ئۆیم ئاقچا كورنگه نشیكللی بولدی

Бред—ساتاشو حالەتی

Я ду́мал бо́знать что—наро́дное выраже́ние=я ду́мал бог зна́ет что.

Проéжа—едá; дневнóе содержáние.

На душé у негó немнóго скребло́—на душé было грýстно.

Селя́нка—ئيت توراب پشرگەن ئاش

Мамóшки—продáжные жéнщины—

ناچار (ساتنلا تۇرعان) حاتن - قزلار

В головé гудёт—в головé шуми́т.

Гвалт—шум, крик.

Нéшто—нарóдное выражéние=рáзве.

Анáфема—чорт.

Сýкровица—جەراحەتلەن ئاعا تۇرعان قانسئمان سيبق نەرسە

Орáл—кричáл.

Разлóпался на нáшей крóвушке—разжирéл на нáши труды́.

Не трожь—нарóдное выражéние=не тронь.

Скачáй... за вóдкой живы́м манéром=сбéгай за вóдкой скорéе.

От вóдки он... очýхается=от вóдки очýвствуется, придёт в себя́ и вы́здровеет.

Йноходью—يورعالاب

Владáния ни в чём нéту—нарóдное выражéние=ни рýки нóги не дéйствуют.

Коснéющим языкóм проговори́л он=умирáющим языкóм сказáл он.

Заикнýлся— سۇيلەشكەندە تۇتلئعب، تۇردى

Злáчные местá—домá, где пьют винó, развратничают.

Зурнá—музыкáльный инструмéнт.

Бýбны—قڭعئراولى باراباں

Мытáрство=мучéние.

Пýльцы=пульс.

Зами́нка=останóвка, переры́в в рабóте.

Мавру́ша-Новото́рка.

Она́ была́ новото́ржская меща́нка и доброво́льно закрепости́лась. Живопи́сец Па́вел, скита́ясь по обро́ку, между́ про́чим, рабо́тал в Торжке́, где и заме́тил Мавру́шу. Они́ полюби́ли друг дру́га, и ма́тушка, почти́ никогда́ не допуска́вшая бра́ков между́ дворо́выми, на э́тот раз охо́тно дала́ разреше́ние, потому́ что Па́вел приводи́л в дом ли́шнюю рабу́.

Го́да че́рез два по́сле э́того Па́вла вы́звали в Мали́новец для дома́шних рабо́т. Очеви́дно, он не предви́дел э́той случа́йности, и она́ насто́лько его́ порази́ла, что хотя́ он и не ослу́шался ба́рского прика́за, но яви́лся оди́н, без жены́. Жаль ему́ бы́ло молоду́ю жену́ с во́льной во́ли навсегда́ заточи́ть в крепостно́й ад; ду́малось: поде́ржат господа́ ме́сяц—друго́й, и опя́ть по обро́ку отпу́стят.

Но ма́тушка рассуди́ла ина́че. Рабо́ты нашло́сь мно́го: весь иконоста́с в мали́новецкой це́ркви предстоя́ло возобнови́ть, так что и срок определи́ть бы́ло нельзя́. Поэ́тому Па́влу бы́ло прика́зано вы́требовать жену́ к себе́. Тще́тно моли́л он отпусти́ть его́, предлага̀я двойно́й обро́к и да́же обя́зываясь поста́вить за себя́ друго́го живопи́сца; тще́тно уверя́л, что жена́ у него́ хво́рая, к рабо́те непривы́чная—ма́тушка слы́шать ничего́ не хоте́ла.

— И для хво́рой здесь рабо́та найдётся,—говори́ла она́:—а е́жели, ты говори́шь, она́ непривы́чна к рабо́те, так за э́то я возьму́сь: у меня́ скорёхонько привы́кнет.

Мавру́ша, одна́кож, не́которое вре́мя упо́рствовала и не явля́лась. Тогда́ её привели́ в Мали́новец по эта́пу.

При пе́рвом же взгля́де на но́вую рабу́ ма́тушка убеди́лась, что Па́вел был прав. Действи́тельно, э́то бы́ло сла́бое и малокро́вное существо́, делика́тное сложе́ние кото́рого совсе́м не мири́лось с представле́нием о крепостно́й ка́торге.

— Да ведь что же нибу́дь ты, голу́бушка, до́ма де́лала?—спроси́ла она́ Мавру́шу.

— Что де́лала! Хле́бы на прода́жу пекла́.

— Ну, и здесь бу́дешь хле́бы печь.

И приста́вили Мавру́шу для ба́рского стола́ си́тные и бе́лые хле́бы печь, да, кста́ти, и пече́нье просви́р для церко́вных служб не неё же возложи́ли.

Мавру́ша повинова́лась; но пови́димому, она́ с пе́рвого же ра́за поняла́ значе́ние ша́га, кото́рый сде́лала, вы́шедши за́муж за крепостно́го челове́ка...

Посели́ли их дово́льно удо́бно, особняко́м. В ни́жнем этаже́ госпо́дского до́ма отвели́ для Па́вла просто́рную и све́тлую ко́мнату, в кото́рой помеща́лась его́ мастерска́я, а ря́дом с не́ю, в камо́рке, он жил с жено́й. Да́же ме́сячину им назна́чили, несмотря́ на то, это она́ уже́ была́ уничто́жена. И рабо́той не отягоща́ли, потому́ что труд Па́вла был незауря́дный и ускольза́л от контро́ля, а что каса́ется до Мавру́ши, то ма́тушка, по кра́йней ме́ре, на пе́рвых пора́х махну́ла на неё руко́й, сло́вно поняла́, что существу́ет на све́те го́ре, растравля́ть кото́рое со́весть за́зрит.

Па́вел был кро́ткий и послу́шливый челове́к. В ка́честве иконопи́сца, он твёрдо знал церко́вный круг и отлича́лся серьёзною на́божностью. По пра́здникам пел на кли́росе и чита́л за обе́дней апо́стола. Дворо́вые люби́ли его́ насто́лько, что не зави́довали сравни́тельно льго́тному житью́, кото́рым он по́льзовался. С таки́м же сочу́вствием отнесли́сь они́ и к Мавру́ше, но она́ дичи́лась и избега́ла сближе́ний. Па́вел, с свое́й стороны́, не наста́ивал на э́тих сближе́ниях и и́сподволь свёл её то́лько с Аннушкой, так как после́дняя, по его́ мне́нию, могла́ си́лою убеждённого сло́ва уте́шить го́ре доброво́льной рабы́ и примири́ть её с вы́павшим на её до́лю жре́бием.

Я, впро́чем, дово́льно сму́тно представля́ю себе́ Мавру́шу, потому что она́ явля́лась наве́рх всего́ два ра́за в

неде́лю, да и то в су́мерки. В пе́рвый, по пя́тницам, приходи́ла за муко́й, а во второ́й, по суббо́там. Па́вел приноси́л грома́дный лото́к, уста́вленный сто́пками бе́лого хле́ба и просви́р, а она́ сле́довала за ним и сдава́ла напечённое с ве́са клю́чнице. Но за семе́йными на́шими обе́дами разгово́р о ней возника́л нере́дко.

— Не́чего сказа́ть, нещечко взял за себя́ Павлу́шка!— негодова́ла ма́тушка, постепе́нно забыва́я кратковре́менную симпа́тию, кото́рую она́ вы́казала к но́вой рабе́:—сидя́т с утра́ до ве́чера, друг дру́гом любу́ются; он образа́ малю́ет, она́ чуло́к вя́жет. И чуло́к-то не ба́рский, а свой! Не зна́ю, что от неё да́льше бу́дет, а то́лько е́жели... ну, уж не зна́ю! не зна́ю! не зна́ю!

— Во́льная, ведь, она́ была́, ещё не привы́кла,—ко́свенно заступа́лся за Мавру́шу оте́ц.

— А ра́зве чёрт её за рога́ тяну́л за крепостно́го выходи́ть! Нет, нет, нет! По-мо́ему, е́жели за крепостно́го за́муж пошла́, так должна́ понима́ть, что и сама́ крепостно́ю сде́лалась. И хоть бы раз она́ догадала́сь! хоть бы раз пришла́: позво́льте, мол, ба́рыня, мне госпо́дскую рабо́ту порабо́тать! У меня́ то́же, ведь, ра́зум есть: понима́ю, каку́ю ей мо́жно рабо́ту дать, а каку́ю нельзя́. Молоти́ть бы не заста́вила!

— Хле́бы она́ печёт, просвиры́...

— Это в неде́лю-то на три часа́ и де́ла всего́; и то пе́чку-то, чай, муженёк зато́пит... Да ещё что, прокура́ты, де́лают! Запру́тся, да никого́ и не пуска́ют к себе́. То́лько Аню́тка долгоязы́чная и бе́гает к ним.

— Не тро́гай их ра́ди Христа́! Пуска́й он иконоста́с ко́нчит.

— Иконоста́с сам по себе́, а и она́ рабо́тать должна́. На́-тко! Яви́лась госпо́дский хлеб есть, па́льцем о па́лец уда́рить не хо́чет! Да́ром-то вся́кий уме́ет хлеб есть! И самова́р с собо́й привезли́—чай да сахары́... дворя́не нашли́сь! Вот я возьму́ да самова́р-то отниму́...

Иногда́ ма́тушка подсыла́ла ключницу посмотре́ть, что де́лают „дворя́не“. Акули́на исполня́ла ба́рское приказа́ние, но не заси́живалась и че́рез не́сколько мину́т уже явля́лась с докла́дом.

— Ну, что?

— Ничего́. Сидя́т сми́рно, промежду́ себя́ разгова́ривают.

— Вот я им дам „разгова́ривают“! Да ты бы подо́льше у них побыла́, хороше́нько бы вы́смотрела.

— Не́чего смотре́ть. Сидя́т ти́хо; он о́браз пи́шет, она́ кра́ску трёт.

— Небо́сь, ча́ем по́тчивали?

— Не пива́ла и́хнего ча́ю; не зна́ю.

— И ты с ни́ми за-одно́... пота́тчица!

Но, как я уже́ сказа́л, осо́бенных мер относи́тельно Мавру́ши ма́тушка всё-таки не принима́ла и ограни́чивалась воркотнёй. По времена́м она́, впро́чем, призыва́ла самого́ Па́вла.

— До́лго ли твоя́ дворя́нка бу́дет сложа́ ру́чки сиде́ть? — приступа́ла она́ к нему́.

— Прости́те её, суда́рыня!—умоля́л Па́вел, становя́сь на коле́ни.

— Нет, ты мне отвеча́й: до́лго ли дворя́нка твоя́ бу́дет пра́здновать?

— Не уме́ет она́ рабо́ту рабо́тать. Хле́бы вот печёт.

— Это в неде́лю-то три—четы́ре часа́... А ты зна́ешь ли, как други́е рабо́тают!

— Зна́ю, суда́рыня, да хво́рая она́ у меня́.

— Вот я э́ту хворь из неё вы́бью! Ла́дно! подожду́ ещё немно́жко, посмотрю́, что от неё бу́дет. Да и ты хоро́ш, гусь! Чем бы жену́ уму́-ра́зуму учи́ть, а он целу́ется да милу́ется... Пошёл с мои́х глаз... тихо́ня!

Натура́льно, э́ти разгово́ры и сце́ны в вы́сшей сте́пени удруча́ли Па́вла. Хотя́ до сих пор он не мог пожа́ловаться,

что господа́ его́ притесня́ют, но опасе́ние, что его́ ти́хое житьё мо́жет быть вся́кую мину́ту нару́шено, бы́ло невыноси́мо. Он упа́л ду́хом и прити́х бо́льше пре́жнего.

Шли ме́сяцы; ма́тушка всё бо́льше и бо́льше входи́ла в роль вла́стной госпожи́, а Мавру́ша продолжа́ла „пра́здновать" и да́же хле́бы нача́ла печь спустя́ рукава́.

Па́вел не раз пыта́лся си́лою убежде́ния примири́ть жену́ с но́вым положе́нием (расска́зывали, что он про́бовал и „учи́ть" её), но все уси́лия его́ в э́том смы́сле ока́зывались напра́сными. Пови́димому, она́ ещё люби́ла му́жа. но над э́той привя́занностью уже́ госпо́дствовало представле́ние о доброво́льном закрепоще́нии, си́лу кото́рого она́ то́лько тепе́рь поняла́, и мысль, что заму́жество ничего́ не́ дало ей, кро́ме ра́бского ярма́, до тако́й сте́пени дави́ла её, что са́мая и́скренняя любо́вь легко́ могла́ уступи́ть ме́сто равноду́шию и да́же не́нависти. Пока́мест ещё до э́того не дошло́, но очеви́дно бы́ло, что наси́льственное водворе́ние в Мали́новце откры́ло ей глаза́.

Са́мым есте́ственным вы́ходом представля́лся сле́дующий: нести́ ра́бское и́го лишь насто́лько, что́бы уступа́ть исключи́тельно наси́лию. Отча́сти она́ уже́ вы́полнила э́ту зада́чу, отказа́вшись яви́ться к господа́м доброво́льно; тепе́рь то́чно так же предстои́т ей поступи́ть, е́жели господа́ взду́мают её заставля́ть госпо́дскую рабо́ту рабо́тать Не ста́нет она́ рабо́тать, не ста́нет. Да́же е́сли её истяза́ть бу́дут, она́ и истяза́нья при́мет, ра́ди изведе́нья души́ свое́й из тьмы́, в кото́рую погрузи́ла её „кля́тва"...

Но е́жели и э́того бу́дет недоста́точно, то она́ и друго́й вы́ход найдёт. Покуда она́ ещё не зага́дывала вперёд, но решимости у неё хва́тит...

Была́ ли вполне́ открове́нна Мавру́ша с му́жем—неизве́стно, но во вся́ком слу́чае Па́вел подозрева́л, что в уме́ её зре́ет како́е-то реше́ние, кото́рое ни для неё, ни для него́ не предвеща́ет ничего́ до́брого; есте́ственно, что по э́тому по́воду между́ ни́ми возника́ли да́же ссо́ры.

— Не ста́ну я госпо́дскую рабо́ту рабо́тать, не поклоню́сь господа́м!—тверди́ла Мавру́ша:—я во́льная!

— Кака́я же ты во́льная, коли́ за крепостны́м за́мужем. Така́я же крепостна́я, как и про́чие!—убежда́л её муж.

— Нет, я приро́дная во́льная; во́льною роди́лась, во́льною и умру́! Не ста́ну на госпо́д рабо́тать!

— Да, ведь печёшь же ты хлёбы! хоть и лёгкая э́то рабо́та, а всё-таки госпо́дская.

— И хлёбы печь не ста́ну. Ты меня́ в ту по́ру смути́л; попеки́ да попеки́! а я тебя́, ду́ра, послу́шалась.

— А е́жели ба́рыня отстега́ть тебя́ вели́т?

— И пуска́й. Пуска́й, как хотя́т тира́нят, пуска́й хоть ко́жу с живо́й сни́мут—я во́ли свое́й не отда́м!

И, действи́тельно, в одну́ из пя́тниц клю́чница доложи́ла ма́тушке, что Мавру́ша не пришла́ за муко́й.

— Это что ещё за мо́да така́я?—воскли́кнула ма́тушка.

— Не зна́ю. Говори́т: „не слуга́ я ва́шим господа́м, я во́льная“!

— А вот распишу я ей во́льную на спине́. Привести́ её да и обо́лтуса му́жа, кста́ти, позва́ть.

Предсказа́ние Па́вла сбыло́сь: Мавру́шу вы́секли. Но на пе́рвый раз поступи́ли по оте́чески: нака́зывали не на коню́шне, а в де́вичьей, и сечь заста́вили самого́ Па́вла. Когда́ экзеку́ция ко́нчилась, она́ вста́ла со скаме́йки, поклони́ла́сь му́жу в но́ги и ти́хо произнесла́:

— Спаси́бо за нау́ку!

Но хлёбов всё-таки бо́лее не пекла́.

С э́тих пор она́ затоскова́ла. К пре́жней сокруша́вшей её бо́ли приба́вилась ещё но́вая, кото́рую нанёс уже́ Па́вел, так легко́ реши́вшийся испо́лнить госпо́дское приказа́ние. По мне́нию её, он обя́зан был вся́кую му́ку приня́ть, но ни в како́м слу́чае не прикаса́ться лозо́й к её те́лу.

— Срамни́к ты!—сказа́ла она́, когда́ они́ вороти́лись в свой у́гол. И Па́вел по́нял, что с э́той мину́ты согла́сной

их жи́зни наступи́л бесповоро́тный коне́ц. Це́лые дни мо́лча проводи́ла Мавру́ша в камо́рке, и не только не сади́лась о́коло му́жа во вре́мя его́ рабо́ты, но на все его́ вопро́сы отвеча́ла не́хотя, лишь бы отвяза́ться. Никако́го просве́та в бу́дущем не предви́делось; да́же предста́вить себе́ Па́вел не мог. чем всё э́то ко́нчится. Попыта́лся бы́ло он попроси́ть „ба́рина“ вступи́ться за него́, но оте́ц, по обыкнове́нию, уклони́лся,

— Рабы́ вы,—отве́тил он,—и должны́, я́ко рабы́, господа́м повинова́ться.

— Это так то́чно,—попро́бовал возрази́ть Па́вел,—но е́жели тако́й слу́чай вы́шел...

— Никако́го слу́чая нет, про́сто с жи́ру бе́ситесь! А впро́чем, я, брат, в э́ти дела́ не вме́шиваюсь: ничего́ я не зна́ю, ступа́й, проси́ ба́рыню, ко́ли что...

Ма́тушка, между́ тем, каждодне́вно справля́лась, продолжа́ет-ли Мавру́ша стоя́ть на своём, и получа́ла в отве́т, что продолжа́ет. Тогда́ вы́шло круто́е реше́ние: ме́сячины непоко́рным раба́м не выдава́ть и продово́льствовать их, наряду́ с други́ми дворо́выми, в засто́льной. Но Мавру́ша и тут оказа́ла сопротивле́ние и отве́тила че́рез клю́чницу, что в засто́льную доброво́льно не пойдёт.

— Да, ведь, захо́чет же она́ жра́ть?—удивля́лась ма́тушка.

— Не зна́ю. Говори́т: „е́жели наси́льно меня́ в засто́льную сведу́т, так я всё-таки там есть не бу́ду!“

— Врёт, лиходе́йка! Го́лод не тётка. Бу́дет жрать! Веди́те в засто́льную!

Но Мавру́ша не лгала́. Два дня сряду сиде́ла она́ не е́вши и в засто́льную не шла, а на тре́тий день ма́тушка побеспоко́илась и призвала́ Па́вла.

— Да что она́ у тебя́ по́рченая, что-ли?—спроси́ла она́.

— Не зна́ю, суда́рыня. Хво́рая, ста́ло быть.

— Хвóрые-то смúрно сидя́т, не бунтýют; нет, она́ не хвóрая, а прóсто фардыба́ка... Дворя́нку разы́грывает из себя́.

— С чегó бы, ка́жется...

— Насквóзь её, мерза́вку, ви́жу! Да и тебя́, тихóня! Берегúсь! Не посмотрю́, что из лет вы́шел, так-то не в зачёт в солда́ты отда́м, что любо!

— Отпустúте нас, суда́рыня! Я и за себя́ и за неё обрóк заплачý.

— Ни за что! Да́же когда́ иконоста́с кóнчишь, и тогда не пущý! Сгною́ в Малúновце. Сидú здесь, любýйся на свою́ жёнушку мúлую!

Но всё это был тóлько разговóр, а нýжно бы́ло какóй-нибýдь практúческий вы́ход сыска́ть. Ничегó подóбного ма́тушка в помéщичьей своéй пра́ктике не встреча́ла, и потомý находúлась в велúком смущéнии. Иногда́ в её головé мелька́ла мысль, не оста́вить ли Маврýшу в покóе, как это уж и бы́ло допýщено на пéрвых пора́х по водворéнии послéдней в господ́ской уса́дьбе: но она́ зашла́ уж так далекó в своúх угрóзах, что отступúть бы́ло неудóбно. Этак и все, глядя на фардыба́ку, ска́жут: „и мы бýдем скла́вши рýчки сидéть!“ Нет! на́до во что бы то ни стало сокрушúть упóрную лиходéйку: надо, чтóбы все осяза́тельно пóняли, что господ́ская власть—не пра́здное слóво.

И, тем не мéнее, всё-таки пришлóсь, в концé-концóв, отступúть.

Распоряжéния са́мые сурóвые слéдовали однú за другúми, и однú же за другúми немéдленно же отменя́лись. В сýщности, ма́тушка была́ не злонра́вна, но бесконтрóльная помéщичья власть приучúла её сы́пать угрóзами и в то же врéмя притупúла в ней спосóбность предусма́тривать, какúе послéдствия мóгут имéть эти угрóзы. Поэтому, встрéтившись с такúм своеобра́зным сопротивлéнием, она́ совсéм растеря́лась.

— Ведите, ведите её на конюшню!—приказывала она, но через несколько минут одумывалась и говорила:—ни прах её бери! не троньте! подожду, что ещё будет!

Было даже отдано приказание отлучить жену от мужа и силком водворить Маврушу в застольную; но когда внизу, из Павловой каморки, послышался шум, свидетельствовавший о приступе к выполнению барского приказания, матушка испугалась... „А ну, как она, в самом деле, голодом себя уморит!"—мелькнуло в её голове.

Все домочадцы с удивлением и страхом следили за этой борьбой ничтожной рабы с всесильной госпожой. Матушка видела это, мучилась, но ничего поделать не могла.

— Ест?—беспрерывно осведомлялась она у ключницы.

— Отказывается покуда.

— Не иначе, как Павлушка потихоньку ей носит. Сказать ему, негодяю, что если он хоть корку хлеба ей передаст, то я—видит бог!—в Сибирь обоих упеку!

Но едва, вслед за тем, приносили в девичью завтрак или обед, матушка призывала которую-нибудь из девушек (даже перед ними она уже не скрывалась) и говорила:

— Снеси... ну, этой!.. щец, что-ли... Да не сказывай, что я велела, а будто бы от себя...

Повторяю, всесильная барыня вынуждена была сознаться, что если она поведёт эту борьбу дальше, то ей придётся все дела бросить и всю себя посвятить усмирению строптивой рабы.

Как ни горько было это сознание, но здравый смысл говорил, что надо во что бы то ни стало покончить с обступившей со всех сторон безалаберщиной. И надо отдать справедливость матушке: она решилась последовать советам здравого смысла. Призвала Павла и сказала:

— Который уж месяц я от вас муку-мученическую терплю! Надоело. Живите, как знаете. Только ежели дворянка твоя на глаза мне попадётся—уж не прогневайся! Прав ли ты, виноват ли... обоих в Сибирь законопачу!

И тут же сдéлала распоряжéние, чтóбы Маврýшу не трóгать, а Пáвла опять перевестú на мéсячину, но одногó без женú.

— А онá пускáй, как знáет, так и живёт. Задáром хлéбом кормúть не бýду.

Примирúвшись с э́той развя́зкой, мáтушка на нéсколько дней как-бýдто примóлкла. Гóлос её рéже раздавáлся пó дому, приказáния отдавáлись тúхо, без брáни. Онá понялá, что необходúмо, чтоб впечатлéние, произведённое стрáнным переполóхом на двóрню, улеглóсь.

С своéй стороны́ и Маврýша присмирéла úли, лýчше сказáть, совсéм как-бы перестáла существовáть. Сидéла, как ýзница, в своéй камóрке и молчáла, угнетáемая одинóчеством и гóрькими мы́слями о погýбленной мóлодости.

Во мне лúчно, тогдá ещё почти ребёнке, происшéствие э́то возбудúло сúльное любопы́тство. Неоднокрáтно я пытáлся спустúться вниз, в Пáвлову кóмнату, чтоб посмотрéть на Маврýшу, но едвá подходúл к двéри, как меня́ бралá óторопь, и я возвращáлся назáд, не вы́полнив своегó намéрения. Затó вся́кий раз, когдá мне случáлось быть в садý, я нарóчно ходúл взад и вперёд вдоль фасáда дóма, замедля́л шагú пéред окнóм заповéдной камóрки и вгля́дывался в зáтканные паутúной стёкла, скрывáвшие от меня́ её внýтренность. И мне слы́шалось, слóвно кто-то там тúхо стóнет.

Как бы то нú было, но жизнь Пáвла былá погýблена. Маврýша не тóлько отшатнýлась от негó, но дáже совсéм перестáла с ним говорúть. Побéда, котóрую онá одержáла над влáстной бáрыней, наводúвшей трéпет на всё окружáющее, далекó не удовлетворúла её. Сóбственно говоря́, тут и побéды нé было, а прóсто надоéло бáрыне возúться с бестолкóвой рабóй, котóрая упáла ей, как снег нá голову. Положéние вещéй от э́того ни мáло не изменúлось. И до побéды Маврýша былá рабá, и пóсле побéды остáлась рабóю-же—тóлько бунтýющеюся. Поэ́тому сомнéние её насчёт „бóжьей кля́твы“ остáлось в прéжней сúле.

Маврýша тосковáла всё бóльше и бóльше. Постепéнно ей предстáвился Пáвел, как глáвный винóвник сокруши́вшего её злосчáстья. Любóвь, постепéнно потухáя, прошлá чéрез все фáзисы равнодýшия и, наконéц, преврати́лась в положи́тельную нéнависть. Маврýша не выскáзывалась, но всéми постýпками, нарýжным ви́дом, телодвижéниями,—всем покáзывала, что в её сéрдце нет к мýжу никакóго другóго чýвства, крóме глубóкого и непримири́мого отвращéния.

Аннушка опасáлась, как бы онá не извелá мýжа отрá-вой или не „испóртила" его: но Пáвел отрицáл возмóж-ность подóбной развя́зки и не принимáл никаки́х мер к своемý ограждéнию. Жизнь с ненави́дящей жéнщиной, ко-тóрую он продолжáл люби́ть, до такой стéпени опосты́лела емý, что он и сам стрáстно желáл покóнчить с собóй.

— До э́того онá не дойдёт,—говори́л он,—а вот я сам рýки на себя́ наложý—э́то дéло стáточное.

Но и до э́того дéло не дошлó, а разреши́лось горáздо прóще.

Рáнним осéнним ýтром, бы́ло ещё темнó, как я был разбýжен подня́вшеюся в дóме беготнёю. Вскочи́в с постé-ли, полуодéтый, я сбежáл вниз и от пéрвой встрéтившейся дéвушки узнáл, что Маврýша повéсилась.

Дрáма кóнчилась. В ви́де эпилóга я могý, впрóчем, прибáвить, что за ýтренним чáем, на мой вопрóс: когдá бýдут хорони́ть Маврýшу?—мáтушка отвечáла:

— А вот зáвтра обернýт в рогóжу и свезýт в болóто.— И действи́тельно, на другóе ýтро приéхал из зéмского судá сéльский заседáтель, разреши́л похорони́ть самоуби́йцу; и я из окнá ви́дел, как Маврýшино тéло, обéрнутое в дыря́-вую рогóжу, взвали́ли на рóспуски и увезли́ в болóто.

М. Салтыкóв (Щедри́н).

Обрóк=плáта помéщику дéнег за освобождéние от рабóты.

Брак=жени́тьба.

Заточи́ть в крепостно́й ад=заста́вить жить под вла́стью поме́щика.

Иконоста́с=ико́ны в це́ркви.

Тще́тно=напра́сно; бесполе́зно.

Живопи́сец=челове́к, кото́рый пи́шет (рису́ет) карти́ны, ико́ны.

Упо́рствовала=отка́зывалась; не хоте́ла.

Делика́тное сложе́ние=то́нкое, не си́льное те́ло.

Просвира́=осо́бого ви́да хлеб, употребля́ющийся в це́ркви.

Особняко́м=отде́льно.

Камо́рка=ма́ленькая ко́мнатка.

Ме́сячина=проду́кты на содержа́ние в тече́ние ме́сяца.

Рабо́той не отягоща́ли=рабо́ты тру́дной не дава́ли.

Незауря́дный=ре́дко встреча́ющийся, не обыкнове́нный.

Контро́ль=прове́рка.

Со́весть за́зрит=ста́нет сты́дно.

Знал церко́вный круг=уме́л писа́ть вся́кие ико́ны.

На́божный=религио́зный.

Кли́рос=ме́сто, где чита́ют и пою́т в це́ркви.

Льго́тное житьё=свобо́дное житьё.

Она́ дичи́лась и избега́ла сближе́ний=она́ не хоте́ла знако́миться бли́зко.

Жре́бий=судьба́—يازمش، تەقدير

Клю́чница=эконо́мка.

Нещечко= (ئاققول) ئش سۇيمى تۇرعان حاتن - قز

Негодова́ла=серди́лась.

Симпа́тия—ياراتو، مۇحەببەت

Малю́ет=рису́ет кра́сками.

Прокура́ты=безде́льники; озорники́.

Долгоязы́чная=болтли́вая.

На́-тко=вот ещё.

Пота́тчица= قوترنوچی ـ ئوساللقنی یافلاوچی حاتن ـ قز

Образ=ико́на, религио́зная карти́на.

Ограни́чивалась воркотнёю=то́лько руга́лась. но не нака́зывала.

Нату́ра́льно=коне́чно.

Сце́ны=неприя́тные разгово́ры.

Удруча́ли=огорча́ли.

Спустя́ рукава́=ко́е-как.

Про́бовал и „учи́ть её“=про́бовал бить её.

Ра́бское ярмо́ | =крепостно́е положе́ние; зави́си-
Ра́бское и́го | мость от поме́щика.

Истяза́ть=му́чить; бить о́чень си́льно и ча́сто.

Не зага́дывала вперёд=не ду́мала о бу́дущем.

Тира́нят=му́чат.

Обо́лтус=дура́к.

Экзеку́ция=наказа́ние.

Просве́та в бу́дущем не предви́делось=сча́стья в бу́дущем не ожида́лось.

Яко рабы́=как рабы́.

Засто́льная=о́бщая столо́вая для слуг; одина́ковая еда́, пи́ща.

Жрать=ку́шать; есть пи́щу.

Лиходе́йка=злоде́йка; де́лающая зло же́нщина.

Го́лод не тётка=го́лод заста́вит.

По́рченая بوزق حاتن ـ قز

Фардыба́ка=озорни́ца—شایان، ئارعن

Не в зачёт в солда́ты отда́м=без о́череди в солда́ты отда́м.

Чтобы все осязательно поняли=чтобы все хорошо поняли, почувствовали.

Не праздное слово=не пустое слово.

Была не злонравна=была не злая.

Ин прах её бери=ну, чорт с ней!

Строптивый=непослушный

В Сибирь упеку
В Сибирь законопачу } =в Сибирь сошлю.

Безалаберщина=беспорядок.

Переполох=испуг; тревога; беспокойство.

Оторопь=испуг.

Фасад=передняя сторона дома.

Заповедный=запрещённый.

Драма кончилась=страшное событие совершилось

Эпилог=то, что случилось потом; окончание.

Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил.

Жили да были два генерала, и так как оба были легкомысленны, то в скором времени, по щучьему велению—по моему хотению, очутились на необитаемом острове. Служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре; там родились, воспитались и состарелись, следовательно—ничего не понимали. Даже слов никаких не знали, кроме—„примите уверение в совершенном моём почтении и преданности". Упразднили регистратуру за ненадобностью и выпустили генералов на волю. Оставшись за штатом, поселились они в Петербурге, в Подъяческой улице, на разных квартирах и получали пенсию. Только вдруг очутились на необитаемом острове, проснулись и видят: оба под одним одеялом.

лежáт. Разумéется, сначáла ничегó не пóняли и стáли разговáривать, как бýдто с ними ничегó не случи́лось.

— Стрáнный, вáше превосходи́тельство, мне нынче сон сни́лся, – сказáл оди́н генерáл:—ви́жу, бýдто живý я на необитáемом óстрове... Сказáл э́то, да вдруг как вскóчит! Вскочи́л и другóй генерáл.—Гóсподи! да что-ж э́то такóе? где мы?—вскри́кнули óба не свои́м гóлосом. И стáли друг дрýга ощýпывать, тóчно ли не во сне, а на явý с ни́ми случи́лась такáя окáзия. Однáко, как ни старáлись увéрить себя́, что всё э́то не бóльше, как не сновидéние,—пришлóсь убеди́ться в печáльной действи́тельности. Пéред ни́ми с одно́й стороны́ лежáл небольшóй клочёк земли́, с другóй стороны́ расстилáлось мóре. Заплáкали генерáлы в пéрвый раз пóсле тогó, как закры́ли регистратýру. Стáли они́ друг дрýга рассмáтривáть и уви́дели, что они́ в ночны́х рубáшках, а на шéях у них виси́т по óрдену.

— Тепéрь бы кофейкý попи́ть хорошó"—мóлвил оди́н генерáл, но вспóмнил, какáя с ним неслы́ханная штýка случи́лась, и во вторóй раз заплáкал.—Что же мы бýдем, однáко, дéлать?—продолжáл он сквозь слёзы:—éжели тепéрича... доклáд написáть—кáкая пóльза из э́того вы́йдет.—Вот что́,—отвечáл другóй генерáл:—пойди́те вы, вáше превосходи́тельство, на востóк, а я на зáпад; а к вéчеру опя́ть на э́том мéсте сойдёмся: мóжет-быть, что-нибýдь найдём. Стáли искáть, где востóк и где зáпад. Вспóмнили, как начáльник однáжды говори́л: „éсли хóчешь сыскáть востóк, то встáнь глазáми на сéвер, и в прáвой рукé получи́шь искóмое". Нáчали искáть сéвер: станови́лись так и сяк, перепрóбовали все стрáны свéта, но так как всю жизнь служи́ли в регистратýре, то ничегó не нашли́.

— Вот что́, вáше превосходи́тельство: вы пойдёте напрáво, а я налéво: э́так то лýчше бýдет! сказáл оди́н генерáл, котóрый, крóме регистратýры, служи́л ещё в шкóле воéнных кантони́стов учи́телем каллигрáфии и, слéдовательно, был

поумнее. Ска́зано—сде́лано. Пошёл оди́н генера́л напра́во и ви́дит—расту́т дере́вья, а на дере́вьях вся́кие плоды. Хо́чет генера́л доста́ть хоть одно́ я́блоко, да всё так высоко́ вися́т, что на́добно лезть. Попро́бовал поле́зть—ничего́ не вы́шло, то́лько руба́шку изорва́л. Пришёл генера́л к ручью, ви́дит: ры́ба там, сло́вно в садке́ на Фонта́нке, так и кипи́т и киши́т. „Вот ка́бы э́такой-то ры́бки да на Подъя́ческую!"—поду́мал генера́л и да́же в лице́ измени́лся от аппети́та. Зашёл генера́л в лес, а там ря́бчики сви́щут, тетерева́ току́ют, за́йцы бе́гают.—Го́споди! еды́-то! еды́-то!—сказа́л генера́л, почу́вствовав, что его́ уже́ начина́ет тошни́ть. Де́лать не́чего, пришло́сь возвраща́ться на усло́вленное ме́сто с пусты́ми рука́ми.

— Ну, что, ва́ше превосходи́тельство, промы́слили что-нибу́дь?—Да вот нашёл ста́рый ну́мер „Моско́вских Ве́домостей", и бо́льше ничего́! Легли́ опя́ть спать генера́лы, да не спи́тся им натоща́к. То беспоко́ит их мысль, кто за них бу́дет пе́нсию получа́ть; то припомина́ются ви́денные днём плоды́, ры́бы, ря́бчики, тетерева́, за́йцы.—Кто бы мог ду́мать, ва́ше превосходи́тельство, что челове́ческая пи́ща, в первонача́льном ви́де лета́ет, пла́вает и на дере́вьях растёт?—сказа́л оди́н генера́л.—Да,—отве́тил друго́й генера́л:—призна́ться, и я до сих пор ду́мал, что бу́лки в том са́мом ви́де родя́тся, как и́х у́тром к ко́фею подаю́т.—Ста́л-быть, е́сли, наприме́р, кто хо́чет куропа́тку съе́сть, то до́лжен снача́ла её излови́ть, уби́ть, ощипа́ть, изжа́рить... То́лько как всё э́то сде́лать?—Как всё э́то сделать?—сло́вно э́хо повтори́л друго́й генера́л. Замолча́ли и ста́ли стара́ться засну́ть, но го́лод реши́тельно отгоня́л сон. Ря́бчики, инде́йки, порося́та так и мелька́ли пе́ред глаза́ми, со́чные, слегка́ подрумя́ненные, с огурца́ми, пику́лями и други́ми сала́тами. —Тепе́рь я бы, ка́жется, сво́й со́бственный сапо́г съе́л!—сказа́л оди́н генера́л.—Хороши́ то́же перча́тки быва́ют, когда́ до́лго поно́шены!—вздохну́л друго́й генера́л.

Вдруг о́ба генера́ла взгляну́ли друг на дру́га: в глаза́х их светился злове́щий огонёк, зу́бы стуча́ли, из груди́ вылета́ло глухо́е рыча́ние. Они́ на́чали ме́дленно подполза́ть друг к дру́гу, и в одно́ мгнове́ние о́ка о́ба остервени́лись. Полете́ли кло́чья, разда́лся визг и о́ханье; генера́л, кото́рый был учи́телем каллигра́фии, откуси́л у своего́ това́рища о́рден и неме́дленно проглоти́л. Но вид теку́щей кро́ви как бу́дто обра́зу́мил их.—С на́ми кре́стная си́ла!—сказа́ли они́ ра́зом:—ведь этак мы друг дру́га съеди́м.—И как мы попа́ли сюда́? кто тот злоде́й, кото́рый над на́ми таку́ю шту́ку сыгра́л?

—На́до, ва́ше превосходи́тельство, каки́м-нибу́дь разгово́ром развле́чься, а то у нас тут уби́йство бу́дет!—проговори́л оди́н генера́л.—Начина́йте!—отвеча́л друго́й генера́л.—Как, наприме́р, ду́маете вы, отчего́ со́лнце пре́жде восхо́дит, а пото́м захо́дит, а не наоборо́т?—Стра́нный вы челове́к, ва́ше превосходи́тельство! но, ведь, вы пре́жде встаёте, идёте в департа́мент, там пи́шете, а пото́м ложи́тесь спать?—Но отчего́ же не допусти́ть таку́ю перестано́вку: сперва́ ложу́сь спать, ви́жу разли́чные сновиде́ния, а пото́м—встаю?—Гм!.. да... А я, призна́ться, как служи́л в департа́менте, всегда́ так ду́мал: вот тепе́рь у́тро, а пото́м бу́дет день, а пото́м подаду́т у́жинать - и спать пора́! Но упомина́ние об у́жине обо́их пове́ргло в уны́ние и пресе́кло разгово́р в са́мом нача́ле.—Слы́шал я от одного́ до́ктора, что челове́к мо́жет до́лгое вре́мя свои́ми со́бственными со́ками пита́ться—начал опя́ть оди́н генера́л.—Как так?—Да так-с! Со́бственные свои́ со́ки, бу́дто бы, произво́дят други́е со́ки; э́ти в свою́ о́чередь ещё произво́дят со́ки; и так да́лее, поку́да, наконе́ц, со́ки совсе́м не прекратя́тся...—Тогда́ что́ ж?—Тогда́ на́добно пи́щу каку́ю-нибу́дь приня́ть...—Тьфу! Одни́м сло́вом о чём ни начина́ли генера́лы разгово́р, он постоя́нно своди́лся на воспомина́ние об еде́, и э́то ещё бо́лее раздража́ло аппети́т. Положи́ли: разгово́ры прекрати́ть и, вспо́мнив о на́йденном ну́мере „Моско́вских Ве́домостей“, жа́дно приняли́сь чита́ть

его.—Вчера́—чита́л взволно́ванным го́лосом оди́н генера́л—у почтённого нача́льника на́шей дре́вней столи́цы был пара́дный обе́д. Стол сервиро́ван был на́ сто персо́н с ро́скошью изуми́тельною. Дары́ всех стран назна́чили себе́ как бы рандé-ву́ на э́том волше́бном пра́зднике. Тут была́ и „шекси́нская сте́рлядь золота́я“, и пито́мец лесо́в кавка́зских—фаза́н, и столь ре́дкая на на́шем се́вере в феврале́ ме́сяце земляни́ка...“ Генера́лы пони́кли голова́ми. Всё, на что бы они́ не обрати́ли взо́ры, всё свиде́тельствовало об еде́. Со́бственные мы́сли злоумышля́ли про́тив них, и́бо как они́ ни стара́лись отгоня́ть представле́ние о бифште́ксах, но представле́ния э́ти пробива́ли себе́ путь наси́льственным о́бразом.

И вдруг генера́ла, кото́рый был учи́телем каллигра́фии, озари́ло вдохнове́ние...—А что, ва́ше превосходи́тельство,—сказа́л он ра́достно:—е́сли бы нам найти́ мужика?—То-есть как же.. мужика́?—Ну, да, просто́го мужика́... каки́е обыкнове́нно быва́ют мужики́! Он бы нам сейча́с и бу́лок бы по́дал, и ря́бчиков бы налови́л, и ры́бы!—Гм!.. мужика́... но где же его́ взя́ть, э́того мужика́, когда́ его́ нет! Наве́рное он где-нибу́дь спря́тался, от рабо́ты отлы́нивает! Мысль э́та до того́ обо́дрила генера́лов, что они́ вскочи́ли, как встрёпанные, и пусти́лись отыскивать мужика́. До́лго они́ броди́ли по о́строву без вся́кого успе́ха, но, наконе́ц, о́стрый за́пах мяки́нного хле́ба и ки́слой овчи́ны навёл их на след.

Под де́ревом, брю́хом кве́рху и подложи́в под го́лову кула́к, спал грома́днейший мужчи́на и са́мым наха́льным о́бразом уклоня́лся от рабо́ты. Негодова́нию генера́лов преде́ла не́ было.—Спи́шь, лежебо́ка!—наки́нулись они́ на него́:—небо́сь и у́хом не ведёшь, что тут два генера́ла вторы́е су́тки с го́лода умира́ют! Сейча́с марш рабо́тать!—Встал мужчи́на; ви́дит, что генера́лы стро́ги. Хоте́л-было дать от них стрекача́, но они́ так и закочене́ли, вцепи́вшись в него́. И за́чал он пе́ред ни́ми де́йствовать. Поле́з сперва-на́-перво на

де́рево, и нарва́л по деся́тку са́мых спе́лых я́блоков, а себе́ взял одно́ ки́слое. Пото́м покопа́лся в земле́ и до́был отту́да карто́фелю; пото́м взял два куска́ де́рева, потёр их друг о дру́жку и извлёк ого́нь. Пото́м из со́бственных воло́с сде́лал сило́к и пойма́л ря́бчика. Наконе́ц развёл ого́нь и напёк сто́лько ра́зной прови́зии, что генера́лам пришло́ да́же на мысль: не да́ть ли и тунея́дцу части́чку. Смотре́ли генера́лы на э́ти мужи́цкие стара́ния, и сердца́ у них ве́село игра́ли. Они́ уже́ забы́ли, что вчера́ чуть не у́мерли с го́лоду, а ду́мали: „вот как хорошо́ быть генера́лами—нигде́ не пропадёшь!“—Дово́льны ли вы, господа́ генера́лы?—спра́шива́л между́ тем мужичи́на-лежебо́к.—Дово́льны, любе́зный друг, ви́дим твоё усе́рдие!—отвеча́ли генера́лы.—Не позво́лите ли тепе́рь отдохну́ть?—Отдохни́, дружо́к, то́лько свей пре́жде верёвочку. На́брал сейча́с мужичи́на ди́кой конопли́, размочи́л в воде́, наколоти́л, помя́л—и к ве́черу верёвка была́ гото́ва. Э́тою верёвкою генера́лы привяза́ли мужичи́ну к де́реву, чтоб не убёг, а са́ми легли́ спать.

Прошёл день, прошёл друго́й; мужичи́на до того́ изловчи́лся, что стал да́же в приго́ршине суп вари́ть. Сде́лались на́ши генера́лы весёлые, ры́хлые, сы́тые, бе́лые. Ста́ли говори́ть, что вот они́ здесь на всём готово́м живу́т, а в Петербу́рге между́ тем пе́нсии и́хние всё нака́пливаются да нака́пливаются.—А как вы ду́маете, ва́ше превосходи́тельство, в са́мом ли де́ле бы́ло вавило́нское столпотворе́ние, или э́то то́лько так, одно́ иносказа́ние?—говори́т, быва́ло, оди́н генера́л друго́му, поза́втракавши.—Ду́маю, ва́ше превосходи́тельство, что бы́ло в са́мом де́ле, потому́ что ина́че как же объясни́ть, что на све́те существу́ют ра́зные языки́! – Ста́ло-быть и пото́п был?—И пото́п был, потому́ что в проти́вном слу́чае как же бы́ло бы объясни́ть существова́ние допото́пных звере́й? Тем бо́лее, что в „Моско́вских Ве́домостях“ повеству́ют...—А не почита́ть ли нам „Моско́вских Ве́домостей“. Сы́щут но́мер, craя́дутся под те́нью, прочту́т от доски́ до доски, как е́ли в

Москве́, е́ли в Ту́ле, е́ли в Пе́нзе, е́ли в Рязани́, и ничего́—не тошни́т.

До́лго ли, коротко́ ли, однако генера́лы соску́чились. Ча́ще и ча́ще ста́ли они́ припомина́ть об оста́вленных и́ми в Петербу́рге и втихомо́лку да́же попла́кивали.—Что-то тепе́рь де́лается в Подъя́ческой, ва́ше превосходи́тельство?—спра́шивал оди́н генера́л друго́го.—И не говори́те, ва́ше превосходи́тельство, всё се́рдце изны́ло!—отвеча́л друго́й генера́л. И на́чали они́ ну́дить мужика́: предста́вь да предста́вь их в Подъя́ческую! И что-ж! оказа́лось, что́ мужи́к зна́ет да́же Подъя́ческую, что он там был, мёд-пи́во пил, по уса́м текло́, да в рот не попа́ло!—А ведь мы в Подъя́ческой генера́лы!—обра́довались генера́лы.—А я, ко́ли ви́дели: виси́т челове́к снару́жи до́ма в я́щике на верёвке и стёну кра́ской ма́жет, и́ли по кры́ше сло́вно му́ха хо́дит—э́то он са́мый я и есть!—отвеча́л мужи́к.

И на́чал мужи́к на боба́х разводи́ть, как бы ему́ свои́х генера́лов пора́довать за то, что его́, тунея́дца, жа́ловали и мужи́цким его́ трудо́м не гнуша́лись. И вы́строил он кора́бль не кора́бль, а таку́ю посу́дину, чтоб мо́жно бы́ло океа́н-мо́ре переплы́ть вплоть до са́мой Подъя́ческой.—Ты смотри́, одна̀ко, кана́лья, не утопи́ нас!—сказа́ли генера́лы, уви́дев пока́чивавшуюся на волна́х ладью́.—Бу́дьте поко́йны, господа́ генера́лы, не впервой!—отвеча́л мужи́к, и стал гото́виться к отъе́зду. На́брал мужи́к пу́ху лебя́жьего, мя́гкого и устла́л им дно ло́дочки. Устла́вши, уложи́л на дно генера́лов и, перекрести́вшись, по́плыл. Ско́лько набрали́сь стра́ху генера́лы во вре́мя пути́ от бурь да от ве́тров ра́зных, ско́лько они́ руга́ли мужичи́ну за его́ тунея́дство—э́того ни перо́м описа́ть, ни в ска́зке сказа́ть. А мужи́к всё гребёт да гребёт, да ко́рмит генера́лов селёдками. Вот, наконе́ц, и Нева́-ма́тушка, и Екатери́нинский кана́л, вот и Больша́я Подъя́ческая! Всплесну́ли все рука́ми, уви́девши, каки́е генера́лы ста́ли сы́тые, бе́лые да весёлые. Напили́сь генера́лы ко́фею, нае́лись сдо́бных бу́лок

16

и надéли мундúры. Поéхали онп в казначéйство и скóлько тут дéнег загреблú—тогó ни в скáзке сказáть, ни перóм описáть! Однáко и о мужикé не забы́ли—вы́слали емý рю́мку вóдки да пятáк серебрóм: веселúсь, мужичúна!

М. Е. Салтыкóв (Щедрúн).

Необитáемый óстров=ненаселённый óстров.

Регистратýра=отделéние канцелярии, где запúсываются все входя́щие и исходя́щие бумáги.

Остаться за штáтом=остáться без дóлжности, без мéста.

Пéнсия=определённая сýмма дéнег, выплáчиваемая Сов. государством неспосóбному к трудý сов. рабóтнику.

Искóмое=то, что úщут.

Кантонúсты=до 1856 г. в Россúи солдáтские сыновья́, с дéтства считáвшиеся принадлежáщими к воéнному вéдомству, обучáвшиеся грáмоте, ремёслам и военным приёмам в кантонúстсих шкóлах. оснóванных Петрóм В. в 1721 годý.—

Ры́ба кишúт=ры́бы очень мнóго плáвает.

Садóк= بالقنی سودا تۇتار ئۇچن چبقدان یاسالغان ،زور ساوت

Токýют= كۈتو ،بولب هاوادا قچقرالار، ئاتالانرعا نلیلار

Промы́слил=достáл, дóбыл; зарабóтал.

Пикýли }
Салáты } =припрáвы к кýшаньям.

С нáми крéстная сúла=с нáми бог.

Парáдный обéд=торжéственный обéд для гостéй.

Стол сервирóван был нá сто персóн=приготóвлен был обéд на сто человéк.

Бифштéкс=кусóк бúтого, зажáреного в мáсле, мя́са.

От рабóты отлы́нивает=рабóтать не хóчет; бéгает от рабóты.

Озари́ло вдохнове́ние=вдруг пришла́ в го́лову мысль.
Хоте́л было дать стрекача́=хоте́л было убежа́ть.
Тунея́дец=безде́льник; кто ничего́ не рабо́тает.
На́чали ву́дить мужика́=на́чали принужда́ть, заставля́ть мужика́.
На́чал на боба́х разводи́ть=стал ду́мать.
Жа́ловать=ла́сково обраща́ться.
Не гнуша́лись=не пренебрега́ли, не избега́ли.
Приго́ршина= اُوچ
Пото́п= توفان
Вавило́нское столпотворе́ние= بابيل ماناراسى

Девя́тое января́.

I.

„Госуда́рь! Мы, рабо́чие, де́ти на́ши, жёны и беспо́мощные ста́рцы-роди́тели, пришли к тебе́, госуда́рь, иска́ть пра́вды и защи́ты. Мы обнища́ли, нас угнета́ют, обременя́ют непоси́льными труда́ми, над на́ми надруга́ются, в нас не признаю́т люде́й,—к нам отно́сятся, как к раба́м, кото́рые должны́ терпе́ть свою́ у́часть и молча́ть. Мы и терпе́ли, но нас толка́ют всё да́льше в о́мут нищеты́, беспра́вия и неве́жества. Нас ду́шит деспоти́зм и произво́л, и мы задыха́емся. Нет бо́льше сил, госуда́рь! Наста́л преде́л терпе́нию; для нас пришёл тот стра́шный моме́нт, когда́ лу́чше смерть, чем продолже́ние невыноси́мых мук“.

Таки́ми торже́ственными но́тами, в кото́рых угро́за пролета́риев заглуша́ет про́сьбу по́дданных, начинала́сь знамени́тая пети́ция петербу́ргских рабо́чих. Она́ рисова́ла все притесне́ния и оскорбле́ния, кото́рым подверга́ется наро́д. Она́ перечисля́ла всё: от сквозняко́в на фа́бриках и до полити́ческого беспра́вия в стране́. Она́ тре́бовала амни́стии, публи́чных свобо́д, отделе́ния це́ркви от госуда́рства, вось-

мичасового рабо́чего дня, норма́льной за́работной пла́ты и постепе́нной переда́чи земли́ наро́ду. Но в пе́рвую го́лову она́ ста́вила со́зыв учреди́тельного собра́ния путём всео́б-щего и ра́вного голосова́ния.

„Вот, госуда́рь,—так зака́нчивала пети́ция,—гла́вные на́ши ну́жды, с кото́рыми мы пришли́ к тебе́. Повели́ и покляни́сь испо́лнить их—и ты́ сде́лаешь Росси́ю си́льной и сла́вной, запечатле́ешь и́мя твоё в сердца́х на́ших и на́-ших пото́мков на ве́чные времена́. А не повели́шь, не отзовёшься на на́шу мольбу́,—мы умрём здесь, на э́той пло́щади, пе́ред твои́м дворцо́м. Нам не́куда бо́льше итти́ и не́ за чем. У нас то́лько два пути́: и́ли к свобо́де и сча́-стью, и́ли в моги́лу. Укажи́, госуда́рь, любо́й из них,—мы пойдём по нему́ беспрекосло́вно, хотя́ бы то и был путь к сме́рти. Пусть на́ша жизнь бу́дет же́ртвой для исстра-да́вшейся Росси́и. Нам не жа́лко э́той же́ртвы—мы охо́тно принесём её“.

И они́ принесли́ её...

Согла́сно угово́ру, шли ко дворцу́ ми́рно, без пе́сен и без знамён, без рече́й. Наряди́лись в пра́здничные пла́тья. В не́которых частя́х го́рода несли́ ико́ны и хору́гви.

II.

С утра́ на у́лицах уже́ чу́вствовалось оживле́ние, и росла́ атмосфе́ра напряжённого ожида́ния.

Дворцо́вая пло́щадь была́ занята́ войска́ми. Туда́ никого́ не пропуска́ли. У Алекса́ндровского са́да стоя́л ку́чками наро́д. Всё в бо́льшем и бо́льшем числе́ ста́ли появля́ться гру́ппами и водино́чку рабо́чие. Они́ бы́ли оде́ты по-пра́зд-ничному. Направля́ясь по Не́вскому и с Адмиралте́йской у́лицы к Алекса́ндровскому са́ду, они́ ната́лкивались на вое́нные патру́ли, не пропуска́вшие на пло́щадь, и остана́в-ливались в ожида́нии. Вско́ре появи́лись ко́нные разъе́зды жанда́рмов и каза́ков. Попы́тки рассе́ять толпу́, одна́ко, ни

к чему́ не приводи́ли: она́ без вся́кого сопротивле́ния переходи́ла на друго́е ме́сто, а пото́м вновь проса́чивалась к Алекса́ндровскому са́ду.

Вско́ре во́зле са́да набрало́сь большо́е коли́чество наро́да. Все чего́-то жда́ли. Бы́ло ми́рное настрое́ние. На поли́цию смотре́ли с доброду́шием.

— Для поря́дку вы́ехали! Чего́ беспоко́ятся? Са́ми тако́й поря́док де́ржим, како́го они́ и не ви́дывали.

Все ми́рно разгова́ривали друг с дру́гом. Шути́ли, смея́лись.

Я был во́зле Горо́ховой у́лицы, когда́ в моё созна́ние вползли́ и с мучи́тельною бо́лью засе́ли в мозгу́ слова́ отку́да-то прибежа́вшего мальчи́шки:

— А у На́рвской заста́вы стреля́ют!... Наро́ду перебили—и-и-и!

На него́ наки́нулись с ра́зных сторо́н.

— Пошёл вон, дура́к, я тебе́ дам наро́д смуща́ть...

Оторопе́лый ма́льчик бормота́л:—Я, дя́денька, ничего́... То́лько я са́м ви́дел...

— Кака́я-то огро́мная тя́жесть легла́ на созна́ние. Впереди́, на Дворцо́вой пло́щади, заигра́л рожо́к горни́ста. Пу́блика дви́нулась туда́ ещё тесне́е, жела́я посмотре́ть, в чём де́ло.

— Нашли́ вре́мя пара́ды устра́ивать!...—говори́л кто-то.

Мальчи́шки бро́сились к дере́вьям Алекса́ндровского са́да и бы́стро забрали́сь на са́мые верху́шки, что́бы посмотре́ть на манёвры во́йск.

Вдруг, впереди́, разрыва́я на клочки́ тишину́ я́сного во́здуха, гря́нул залп... За ним—второ́й. Пото́м тре́тий... Никто́ не понима́л, что это тако́е, и, лишь уви́дев уби́тых и сто́нущих ра́неных в свои́х ряда́х, толпа́ подала́сь наза́д и в у́жасе ста́ла разбега́ться по попере́чным у́лицам.

Тре́тий залп был напра́влен по мальчи́шкам, забра́вшимся на дере́вья Алекса́ндровского са́да. Многие из них

ко́мьями упа́ли вниз и, неесте́ственно ско́рчившись, оста́лись лежа́ть на снегу́. Каза́ки бро́сились на разбега́ющуюся толпу́.

У На́рвской заста́вы войска́ прегради́ли путь рабо́чим, ше́дшим во главе́ с Гапо́ном. Впереди́ рабо́чие несли́ ца́рские портре́ты, ико́ны и церко́вные хору́гви. По́сле безрезульта́тного приглаше́ния разойти́сь, кото́рого никто́ почти́ не слы́шал, в толпу́ бы́ло произведё̈но не́сколько за́лпов. Гапо́на прикры́ли свои́ми тела́ми ше́дшие о́коло него́ рабо́чие, перебро́сили его́ че́рез како́й-то забо́р; отту́да он пробра́лся к друзья́м, кото́рые его́ переоде́ли и остри́гли.

Така́я же бо́йня произошла́ у На́рвской заста́вы, за Моско́вской заста́вой, на Вы́боргской стороне́, у Тро́ицкого мо́ста. Повсю́ду шла стрельба́, везде́ каза́ки гоня́лись за убега́вшими и руби́ли их. На Васи́льевском о́строве изруби́ли студе́нта, вы́шедшего вперёд и приглаша́вшего войска́ не стреля́ть в наро́д... Там бы́ло к ве́черу пова́лено не́сколько телегра́фных столбо́в, у́лицы поперёк опу́таны прово́локой. Пыта́лись стро́ить баррика́ды.

Солда́ты озвере́ли. Стреля́ли и коло́ли вся́кого, кто попадётся на доро́ге. В Обухо́вскую больни́цу был доста́влен труп пятиле́тнего ребёнка с семью́ штыко́выми ра́нами... Осо́бенно отлича́лся Семёновский полк. Руково́дство распра́вой осуществля́ли полко́вники Мин и Ри́ман (произведённые пото́м в генера́лы).

Избива́емый наро́д дошёл до кра́йней сте́пени отча́яния. Войска́м и каза́кам крича́ли: „Опри́чники!“, „Палачи́!“, „Уби́йцы!“. В отве́т сле́довали за́лпы. По све́дениям, со́бранным организо́ванной пото́м специа́льной коми́ссией (в неё вошли́ передовы́е из петербу́ргской адвокату́ры), в больни́цы Петербу́рга бы́ло привезено́ за 9 января́ 1216 уби́тых и 5000 ра́неных. А ско́лько тру́пов избе́гло больни́ц, попа́ло в полице́йские уча́стки, а отту́да бы́ло вы́везено но́чью и зары́то в пе́рвой я́ме,—никто́ не зна́ет!

Л. Тро́цкий и Сверчко́в.

Деспоти́зм=جەبر ھەم ظۇلم قيلوچىلق

Преде́л=коне́ц.

Хору́гвь=церко́вное зна́мя.

Пети́ция=о́бщая, коллекти́вная про́сьба.

Сквозня́к=ئارقىلى يۇرى تۇرعان جيل

Амни́стия=проще́ние за полити́ческие преступле́ния.

Норма́льная за́работная пла́та=пла́та за труд, доста́точная на все жи́зненные расхо́ды.

Запечатле́ешь и́мя твоё в сердца́х на́ших=оста́вишь и́мя твоё у нас в сердца́х; мы бу́дем тебя́ по́мнить.

Беспрекосло́вно=послу́шно, без сло́ва.

Патру́ль=отря́д солда́т, посыла́емый для охра́ны го́рода но́чью.

Рассе́ять толпу́=разогна́ть наро́д.

Горни́ст=вое́нный музыка́нт.

Пара́д=смотр войска́м.

Манёвры=практи́ческие заня́тия войск в ми́рное время: приме́рные сраже́ния и пр.

Опри́чник=челове́к, пре́данно слу́жащий царю́.

Гапо́н=фами́лия свяще́нника, кото́рый вёл рабо́чих к царю́.

Двена́дцать.

1.

Чёрный ве́чер,
Бе́лый снег.
Ве́тер, ве́тер.
На нога́х не стои́т челове́к.
Ве́тер, ве́тер—
На всём бо́жьем све́те.
Завыва́ет ве́тер.
Бе́лый снежо́к.
Под снежко́м—ледо́к.

Ско́льзко, тя́жко —
Вся́кий ходо́к
Скользи́т—ах, бедня́жка!
От зда́ния к зда́нию
Протя́нут кана́т.
На кана́те—плака́т:
„Вся власть Учреди́тельному Собра́нию!“
Стару́шка убива́ется—пла́чет,
Ника́к не поймёт, что зна́чит.
На что тако́й плака́т,
Тако́й огро́мный ло́скут?
Ско́лько бы вышло портя́нок для ребя́т,
А вся́кий—раздёт, разу́т...
Стару́шка, как ку́рица,
Кой-как переметну́лась че́рез сугро́б.
— Ох, ма́тушка-засту́пница!
— Ох, большевики́ заго́нят в гроб!
Ве́тер хлёсткий!
Не отстаёт и моро́з!
И буржу́й на перекрёстке
В воротник упря́тал нос.
А это кто?—Дли́нные во́лосы
И говори́т вполго́лоса:
— Преда́тели!
Поги́бла Росси́я!
Должно́ быть, писа́тель —
Вити́я...
А вон и долгопо́лый—
Сторо́нкой за сугро́б...
Что нынче невесёлый,
Това́рищ поп?
По́мнишь, как быва́ло
Брю́хом шёл вперёд,
И кресто́м сия́ло
Брю́хо на наро́д?

Вон ба́рыня в кара́куле
К друго́й подверну́лась:
— Уж мы пла́кали, пла́кали...
Поскользну́лась
И бац! Растяну́лась!
Ай, ай!
Тяни́, подыма́й!
Ве́тер весёлый
И зол, и рад,
Прохо́жих ко́сит,
Рвёт, мнёт и но́сит
Большо́й плака́т:
„Вся власть Учреди́тельному Собра́нию"...
По́здний ве́чер.
Пусте́ет у́лица.
Оди́н бродя́га
Суту́лится,
Да сви́щет ве́тер...
Эй, бедня́га!
Подходи́—
Поцелу́емся...
Хле́ба!
Что впереди́?
Проходи́!
Чёрное, чёрное не́бо.
Зло́ба, гру́стная зло́ба...
Кипи́т в груди́...
Чёрная зло́ба, свята́я зло́ба...
Това́рищ! гляди́
В о́ба!

2.

Гуля́ет ве́тер, порха́ет снег,
Иду́т двена́дцать челове́к.

Винто́вок чёрные ремни́,
Круго́м огни́, огни́, огни́.
В зуба́х – цыга́рка, примя́т карту́з,
На спи́ну-б на́до бубно́вый туз!
Эх, эх, без креста́!
Свобо́да, свобо́да!
Тра́-та-та́!
Хо́лодно, това́рищи, хо́лодно!
Круго́м огни́, огни́, огни́...
Оплёчь руже́йные ремни́...
Революцио́нный держи́те шаг!
Неугомо́нный не дре́млет враг!

3.

Как прошли́ на́ши ребя́та
В кра́сной гва́рдии служи́ть,
В кра́сной гва́рдии служи́ть—
Бу́йну го́лову сложи́ть!
Эй, ты, го́ре—го́рькое,
Сла́дкое житьё!
Рва́ное пальти́шко,
Австри́йское ружьё!
Мы на го́ре всем буржу́ям
Мирово́й пожа́р разду́ем—
Мирово́й пожа́р в крови́—
Го́споди, благослови́!

4.

Не слы́шно шу́ма городско́го,
Над Не́вской ба́шней тишина́.
И бо́льше нет городово́го—
Гуля́й, ребя́та, без вина́.
Стои́т буржу́й на перекрёстке
И в воротни́к упря́тал нос,

А ря́дом жмётся шерстью жёсткой,
Поджа́вши хвост, парши́вый пёс.
Стои́т буржу́й, как пёс голо́дный,
Стои́т безмо́лвный, как вопро́с,
И ста́рый мир, как пёс безро́дный,
Стои́т за ним поджа́вши хвост.

5.

Разыгра́лась чтой-то вью́га.
Ой, вью́га, ой вью́га!
Не вида́ть совсе́м друг дру́га
За четы́ре за шага́!
Снег воро́нкой завился́,
Снег столбу́шкой поднялся́...
— Шаг держи́ революцио́нный,
— Бли́зок враг неугомо́нный!

6.

И иду́т без и́мени свято́го
Все двена́дцать вдаль.
Ко всему́ гото́вы,
Ничего́ не жаль...
Их винто́вочки стальны́е—
На незри́мого врага́
В переу́лочки глухи́е,
Где одна́ пыли́т пурга́,
Да в сугро́бы снеговы́е—
Не утя́нешь сапога́...
В очи бьётся
Кра́сный флаг.
Раздаётся
Ме́рный шаг.
Вот—проснётся
Лю́тый враг...

И вьюга́ пыли́т им в о́чи
    Дни и но́чи
    Напролёт...
Вперёд, вперёд,
Рабо́чий наро́д!

7.

...Вдаль иду́т держа́вным ша́гом...
— Кто ещё там? Выходи́!—
    Это ве́тер с кра́сным фла́гом
    Разыгра́лся впереди́.
Впереди́—сугро́б холо́дный.
— Кто в сугро́бе? Выходи́!—
То́лько ни́щий пёс голо́дный
Ковыля́ет позади́.
    Отвяжи́сь ты, шелуди́вый,
    Я штыко́м пощекочу́!
    Ста́рый мир, как пёс парши́вый,
    Провали́сь—поколочу́!
...Ска́лит зу́бы—волк голо́дный—
    Хвост поджа́л, не отстаёт
    Пёс голо́дный, пёс безро́дный.
    — Эй, откли́кнись, кто идёт?
— Кто там ма́шет кра́сным фла́гом?
— Пригляди́сь-ка, э́ка тьма!
— Кто там хо́дит бе́лым ша́гом,
Хороня́сь за все дома́?
    Всё равно́ тебя́ добу́ду,
    Лу́чше сда́йся мне живьём!
    — Эй, това́рищ! бу́дет ху́до,
    Выходи́,—стреля́ть начнём!
Тра́х-тах-та́х!—И то́лько э́хо
Отклика́ется в дома́х.—
То́лько вьюга до́лгим сме́хом
Залива́ется в снега́х.

Тра́х-тах-та́х!
Тра́х-тах-та́х...
...Так иду́т держа́вным ша́гом...
Позади́—голо́дный пёс,
Впереди́—с крова́вым фла́гом,
И за вьюгой невиди́м,
И от пу́ли невреди́м,
Не́жной по́ступью надвьюжной,
Сне́жной по́ступью жемчу́жной,
В бе́лом ве́нчике из роз—
Впереди́—Ису́с Христо́с.

А. Блок.

Ма́тушка — засту́пница=религио́зное выраже́ние: назва́ние ма́тери Христа́.

Ве́тер хлёсткий=ве́тер холо́дный, ре́зкий.

Вити́я=ора́тор.

Ба́рыня в кара́куле=ба́рыня в шу́бе из кара́куля.

Ве́тер крути́т подо́лы, прохо́жих ко́сит=ве́тер поднима́ет низ оде́жды, сва́ливает люде́й с ног.

Бродя́га суту́лится=бесприю́тный челове́к ёжится, го́рбится. سووقدان بوُرشه

Оплёчь руже́йные ремни́=на плеча́х руже́йные ремни́.

Неугомо́нный враг=не спя́щий враг.

Шелуди́вый=парши́вый. تاز

Я штыко́м пощекочу́=я штыко́м уда́рю; штыко́м уколю́.

Пурга́=бура́н.

Гляди́ в о́ба=будь внима́телен.

На спи́ну б на́до бубно́вый туз=е́сли б на спи́ну приши́ть ромб, на подо́бие бубно́вого туза́ (в игра́ль-

ных ка́ртах), как ра́ньше пришива́ли ареста́нтам, то был бы похо́ж на ареста́нта.

Ковыля́ет=идёт прихра́мывая=ئاقساقلاب كيله

Хорони́ться=пря́таться.

По́ступь=шаг, похо́дка=هەر كمنك ئوزنچه يۇروۋى

Ве́нчик= چەچەكلەردەن ياسالعان تاج

В стране́ бу́дущего.

Восьмидесятиле́тний Бонне́р был одни́м из после́дних рабо́чих, пережива́вших вели́кую борьбу́, одни́м из бойцо́в преобразова́ния труда́, кото́рое повлекло́ за собо́й справедли́вое распределе́ние бога́тств, облагоро́див рабо́чего и сде́лав из него́ свобо́дного челове́ка и граждани́на. Этот ста́рец покры́л себя́ сла́вой и горди́лся тем, что его многочи́сленные пото́мки спосо́бствовали уничтоже́нию деле́ния люде́й на кла́ссы. В э́тот ве́чер, пе́ред захо́дом со́лнца, Бонне́р гуля́л вблизи́ Бриа́сского уще́лья; опира́ясь на па́лку, он ча́сто соверша́л продолжи́тельные прогу́лки и люби́л осма́тривать ме́стность, кото́рая буди́ла в нём ста́рые воспомина́ния. Вдруг ста́рец с изумле́нием увида́л лежа́щего на скамье́ старика, истощённного нужде́й, одéтого в лохмо́тья, с измождённым лицо́м, обро́сшим щети́ной, дрожа́щим от лихора́дки. Несомне́нно, э́то был ни́щий, а он уже́ не́сколько лет не встреча́л ни одного́ ни́щего; поло́жим, что э́то, пови́димому, не зде́шний: его́ башмаки́ и пла́тье бы́ли покры́ты пы́лью, па́лка и пусто́й доро́жный мешо́к, вы́скользнувшие из уста́лых рук, валя́лись во́зле него́. Бонне́р подошёл к нему́ с чу́вством глубо́кого сострада́ния.

— Не могу́ ли я вам чем-нибу́дь помо́чь, бедня́га?

Ни́щий не отвеча́л и то́лько осма́тривался круго́м с испу́ганным ви́дом. Бонне́р продолжа́л.

— Не хóчется ли вам поéсть? Не нужнá ли вам покóйная постéль? Я сведý вас, кудá надó, и вам окáжут поддéржку и пóмсщь.

Наконéц несчáстный обезобрáженный старíк тíхо прóбормотáл:

— Боклéр, Боклéр. Неужéли э́то Боклéр?

— Разумéется, Боклéр. Вы в Боклéре,—заявíл с улы́бкой бы́вший глáвный пудлингóвщик.

Замéтя, однáко, что изумлéние, беспокóйство и недовéрие нíщего всё увелíчиваются, он, наконéц, пóнял, в чём дéло.

— Вы, должнó быть, знáли прéжний Боклéр и, вероя́тно, давнó здесь нé были.

— Да, бóлее пятíдесяти лет,—отвéтил глухíм гóлосом незнакóмец.

Боннéр разразíлся добродýшным смéхом.

— О, в такóм слýчае меня́ не удивля́ет, что вы егó не узнаёте. Мнóгое здесь переменíлось: вот, напримéр, на э́том сáмом мéсте стоя́л завóд Пучíна, котóрого тепéрь не существýет, а там, дáльше, снесён весь стáрый Боклéр; как вíдите, здесь вы́строен нóвый гóрод; он составля́ет продолжéние пáрка Кретерí, запóлнил зéленью старíнный гóрод и представля́ет собóю огрóмный сад, из котóрого выгля́дывают весёленькие, бéленькие дóмики. Чтóбы узнáть прéжнее, нáдо, разумéется, разобрáться во всём э́том.

Нíщий слýшал э́ти об'яснéния, слéдуя за указáниями добродýшного, весёлого старикá. Он опя́ть покачáл головóй, не вéря своíм ушáм.

— Нет, нет, э́то не то, э́то не Боклéр, эти сады́ и домá нахóдятся в другóй странé, волшéбной странé богáтства, котóрую я никогдá не видáл. Ну, поплетýсь дáльше; я, навéрное, не тудá попáл.

Он с усíлием подня́лся со скамьí, подобрáл пáлку, мешóк и заторопíлся бы́ло уходíть, когдá взглянýл на Бон-

не́ра и весь задрожа́л: не узна́вши го́рода, он узна́л ста́рца. Бонне́ра так порази́л внеза́пный огонёк, пробежа́вший по незнако́мому лицу́, обро́сшему щети́ной, что он на́чал при́стально вгля́дываться в него́. Где ви́дел он эти све́тлые глаза́? Вдруг он вспо́мнил—и всё про́шлое о́жило в кри́ке, сорва́вшемся с его́ губ:

— Рагю!

Уже́ пятьдеся́т лет, как его́ счита́ли уме́ршим.

— Разуме́ется, это я, старина́ Бонне́р. Если жив ты, кото́рый на де́сять лет меня́ ста́рше, то отчего́ же и мне не пожи́ть. Поло́жим, я си́льно пото́рчен и е́ле плету́сь.

— Ну, пойдём-ка к нам.

* * *

Преле́стен был пе́рвый за́втрак в све́тлой столо́вой, за́литой све́том восходя́щего со́лнца. На белосне́жной ска́терти—молоко́, я́йца, фру́кты и краси́вый золоти́стый хлеб, прекра́сно вы́печенный и изгото́вленный маши́нами. Оди́н вид этого хле́ба ука́зывал на то, что счастли́вое населе́ние име́ет всё, что ему́ ну́жно. Стари́к хозя́ин окружа́л своего́ жа́лкого го́стя внима́тельными забо́тами с таки́м прости́м, серде́чным раду́шием, что, каза́лось, са́мый во́здух ко́мнаты был пропи́тан не́жностью и доброто́й. За едо́й они́ сно́ва разговори́лись.

— А тепе́рь,—ве́село закрича́л Бонне́р,—раз мы поко́нчили с за́втраком, пойдём, взгля́нем на наш преобразо́ванный и просла́вленный Бокле́р в его́ пра́здничном бле́ске. Я тебя́ сведу́ в ка́ждый ма́ло-ма́льски интере́сный уголо́к.

Пе́ред дверя́ми стоя́ла ма́ленькая электри́ческая двухме́стная коля́ска; таки́е коля́ски име́лись у всех. Бы́вший гла́вный пудлинго́вщик, сохрани́вший, несмотря́ на преклонный во́зраст, зре́ние и си́лу в рука́х, подсади́л своего́ спу́тника и усе́лся управля́ть маши́ной.

— Ты, пожалуй, вконец искалечишь меня́ этой меха́никой.

— Нет, не бойся: электричество меня знает: мы уже много лет с ним живём в ладу. Ты везде увидишь великую могущественную силу электричества, без которой мы не достигли бы быстрых успехов. Теперь электричество—единственный двигатель наших машин; это слуга, находящийся в распоряжении каждого из нас, стоит только повернуть пуговицу. Поверните одну пуговицу—оно осветит вас; поверните другую—оно вас отопит. Оно молча работает за нас повсюду: на полях, в городе, на улицах; в самых скромных жилищах—побеждённый гром, способствующий нашему счастью.

В этот праздничный день солнце заливало всё ярким, победоносным светом; колясочка весело и гулко катилась по дорогам, встречая бесчисленное множество таких же колясочек, из которых доносились пение и хохот. Попадалось также и множество пешеходов, которые шли гурьбой из соседних деревень; разукрашенные лентами парни и девушки весело раскланивались со стариком-патриархом. По обеим сторонам дорог расстилались чудно обработанные поля, безбрежные моря тёмно-зелёного могучего хлеба. Прежние, скупо нарезанные полосами участки земли, чахоточной, плохого состава и плохо обработанной, заменились сплошной долиной унавоженной земли, полем, вспаханным и засеянным общими стараниями людей: и это единение вызвало могучее плодородие и колоссальный сбор злаков у справедливого и братского народа. Если земля была плоха, состав её изменяли и придавали недостающие ей свойства химическим путём. Её нагревали, укрывали и, благодаря интенсивной культуре, сбирали две жатвы, а овощи и фрукты имелись во все времена года. Машины избавили от работы руки людей, и целые мили вспаханной земли, как бы чудом, покрывались злаками. Поговаривали уже о том, чтоб подчинить власти людей облака, направлять их по желанию посредством широких электрических

то́ков и име́ть со́лнечные и дождли́вые дни, согла́сно тре́бованиям земледе́лия.

— Ви́дишь, голу́бчик,—продолжа́л Бонне́р, обводя́ горизо́нт широ́ким же́стом,—хле́ба у нас вдо́воль. Хлеб э́тот принадлежи́т всем.

— Ста́ло-быть, вы ко́рмите и тех, кто не рабо́тает,—спроси́л Рагю́.

— Разуме́ется, но не рабо́тают то́лько больны́е и кале́ки. Ску́чно ничего́ не де́лать, когда́ чу́вствуешь себя́ хорошо́.

Коля́сочка кати́лась тепе́рь вдоль фрукто́вых садо́в, и бесконе́чные алле́и вишнёвых дере́вьев, усе́янных кра́сными плода́ми, бы́ли восхити́тельны; они́ каза́лись волше́бными дере́вьями, гро́здья кото́рых и́скрились и рде́ли на со́лнце. Абрико́сы ещё не созре́ли; я́блоки и гру́ши клони́лись под тя́жестью зелёной но́ши.

Всё поража́ло необыча́йным изоби́лием; це́лый наро́д мог ла́комиться э́тим вплоть до весны́.

— Вы даёте всем оди́н то́лько хлеб; э́то малова́то,—ирони́чески заме́тил Рагю́.

— О,—шутли́во возрази́л Бонне́р,—мы даём и дессе́рт и ла́комства. Как ви́дишь, в фру́ктах недоста́тка нет.

Они́ прие́хали в Комбе́тт. Пре́жняя гря́зная дереву́шка исчёзла, и из-за зе́лени выгля́дывали бе́ленькие до́мики. Воню́чий руче́й превращён в кана́л с чи́стой водо́й, служи́вший одно́й из причи́н окружа́ющего плодоро́дия. Исчёзла забро́шенная, гря́зная, бе́дная дереву́шка, где в тече́ние до́лгих веко́в крестья́не прозяба́ли в ограни́ченной, упря́мой рути́не и не́нависти. Дух и́стины и свобо́ды пове́ял над ни́ми, и соверши́лся поворо́т к нау́ке и едине́нию, кото́рый просвети́л умы́, примири́л сердца́ и принёс здоро́вье, бога́тство и ра́дость.

— По́мнишь пре́жний Комбе́тт,—заговори́л Бонне́р,—лачу́ги в грязи́ и наво́зе, крестья́не с суро́вым выраже́нием

лица́, кото́рые постоя́нно жа́ловались, что умира́ют с го́лоду. Посмотри́, что сде́лала с ни́ми ассоциа́ция.

На э́тот раз Рагю́ рази́нул рот от удивле́ния: до чего́ преобрази́лся Бокле́р!

Бонне́р забавля́лся удивле́нием Рагю́ и ме́дленно ката́л его́ по но́вым у́лицам счастли́вого го́рода Труда́. Весёлый пра́здник переры́ва рабо́ты ещё бо́лее изукра́сил его́: все дома́ бы́ли разу́браны; лёгкий у́тренний ветеро́к шевели́л я́ркие фла́ги; две́ри и окна бы́ли задрапиро́ваны пёстрыми материа́лами; поро́ги домо́в бы́ли покры́ты ро́зами; и́ми бы́ли та́кже усе́яны все у́лицы; бы́ло тако́е изоби́лие роз, что весь го́род мог укра́ситься и́ми, как неве́ста в день сва́дьбы. Повсю́ду греме́ла му́зыка, зву́чными волна́ми перелива́лись голоса́ молоды́х де́вушек и молоды́х люде́й, пе́вших хо́ром; а чи́стые голоса́ дете́й высоко́ возноси́лись к не́бу.

Всё населе́ние вы́сыпало на у́лицу в све́тлых оде́ждах, в наря́дах из краси́вых мате́рий, кото́рые пре́жде сто́или до́рого, а тепе́рь бы́ли досту́пны всем. Но́вые мо́ды, просты́е в своём великоле́пии, придава́ли же́нщинам необыкнове́нную пре́лесть.

С тех пор, как постепе́нно исчеза́ли металли́ческие де́ньги, зо́лото ста́ло служи́ть то́лько для вы́делки украше́ний, и у ка́ждой де́вочки бы́ли ожере́лья, брасле́ты, ко́льца, как не́когда игру́шки. Зо́лото утра́тило вся́кую це́нность и служи́ло то́лько для украше́ния.

— Куда́ они́ все иду́т?—спроси́л Рагю́.

— Они́ хо́дят из до́ма в дом с приглаше́ниями на ве́черний обе́д, на кото́ром ты бу́дешь прису́тствовать. В су́щности, они́ да́же никуда́ не иду́т, а про́сто выхо́дят на со́лнце и прово́дят на во́здухе день переры́ва в рабо́те, потому́ что им ве́село, и они́ чу́вствуют себя́ как до́ма, на краси́вых, широ́ких бра́тских у́лицах. Поми́мо того́, сего́дня повсю́ду устро́ены развлече́ния и и́гры, само́ собо́й разуме́ется, даровы́е, так как вход во все обще́ственные зда́ния

свобóден. Вúдишь, э́ту толпу́ детéй веду́т в цúрки, а взрóслые отправля́ются на собрáния, в теáтры, концéрты... Теáтры содéйствуют образовáтельным и воспитáтельным цéлям óбщества.

* * *

Пóсле обéда онú опя́ть двúнулись в путь, но ужé пешкóм. Онú пошлú на завóд. Корпусá бы́ли зáлиты свéтом, а стальны́е и мéдные чáсти нóвых машúн блестéли, как драгоцéнности. Сегóдня рабóчие, толпá молоды́х людéй и дéвушек, пришлú обвúть машúны гирля́ндами зéлени и роз. Ведь и онú учáствуют в прáзднике. Кóли чéствуют труд, нáдо чéствовать и э́тих могу́чих, но покóрных и послу́шных рабóтниц, котóрые облегчáют труд лю́дям и живóтным. Рóзы, украшáвшие прéссы, огрóмные мóлоты, большúе токáрные станкú, гигáнтские строгáльные машúны, громáдные плю́щильные машúны,—свидéтельствовали о том, что рабóта стáла привлекáтельной и содéйствовала здорóвью тéла и весéлью ду́ха.

Рагю́ прогу́ливался, безучáстно глядя́ на стекля́нные свóды, на ослепúтельно-чúстые стéны и помóсты, не интересу́ясь машúнами, большинствó котóрых бы́ло ему́ незнакóмо: э́ти колóссы состоя́ли из слóжной системы колёс и исполня́ли как сáмые гру́бые, так и сáмые тóнкие рабóты, котóрые прéжде исполня́ли лю́ди. Электрúчество привóдило в дéйствие все э́ти поворóтные кругú, мóлоты-толкачú, строгáльные машúны: и производúмые рéльсы моглú покры́ть собóю весь мир. Электрúчество госпóдствовало всю́ду; онó бы́ло крóвью завóда, протекáвшею с одногó кра́я мастерскúх до другóго, едúнственным истóчником теплá, движéния, свéта и вызывáло отовсю́ду жизнь.

Затéм онú отпрáвились в общéственные магазúны.

То бы́ли огрóмные сарáи, огрóмные амбáры, огрóмные склáды, в котóрых сосредотóчивались все произвóдства, всё богáтство гóрода. Их ежеднéвно расширя́ли, не зная́,

куда́ дева́ть получа́емые проду́кты, и пришло́сь да́же заме́длить произво́дство, что́бы не вы́звать чрезме́рного накопле́ния. Нигде́ так си́льно не проявля́лась та несме́тность бога́тства, кото́рую мо́жет накопи́ть наро́д, когда́ исчеза́ют посре́дники, пра́здные лю́ди и во́ры, все те, кто пре́жде жи́ли рабо́той други́х, са́ми не производя́ ничего́. Всё населе́ние труди́лось, рабо́тая по четы́ре часа́ в день, и накопи́ло тако́е огро́мное бога́тство, что у ка́ждого граждани́на бы́ло грома́дное коли́чество вся́кого добра́, и он удовлетворя́л все свои́ потре́бности, не испы́тывая бо́лее ни за́висти, ни не́нависти, ни скло́нности к преступле́ниям.

— Вот и дохо́ды на́ши,—повтори́л Бонне́р.—Ка́ждый из нас мо́жет брать отсю́да ско́лько и чего́ уго́дно.

Что́бы зако́нчить обхо́д, Бонне́р повёл го́стя в обще́ственные мастерски́е.

Обши́рные за́лы-мастерски́е бы́ли за́литы волна́ми све́та и здоро́вого, чи́стого во́здуха. Всю́ду бы́ли располо́жены кра́ны с чи́стой, прозра́чной водо́й, постоя́нно обмыва́вшей все цеме́нтные полы́ и уноси́вшей мале́йшую пыль, так что э́тот дом труда́, не́когда чёрный, гря́зный и воню́чий, тепе́рь сия́л удиви́тельной чистото́й. Тепе́рь почти́ вся рабо́та исполня́лась маши́нами. При э́тих надёжных рабо́тницах-маши́нах тепе́рь находи́лись то́лько надсмо́трщики над ни́ми, вся обя́занность кото́рых заключа́лась в том, что́бы управля́ть рычага́ми, приводи́вшими маши́ны в движе́ние, и следи́ть за пра́вильностью их хо́да. Рабо́чий же день состоя́л всего́ из четырёх часо́в, и никогда́ никто́ не рабо́тал бо́лее 2-х часо́в сря́ду, потому́ что ка́ждые два часа́ оди́н рабо́чий сменя́л друго́го, предоставля́я ему́ перейти́ к како́му-нибу́дь друго́му заня́тию и́ли отправле́нию како́й-ли́бо обще́ственной обя́занности. Так как о́бщее употребле́ние электри́ческой си́лы ма́ло-по-ма́лу устрани́ло шум и гро́хот пре́жних маши́н, то тепе́рь в обши́рных помеще́ниях раздава́лись то́лько пе́сни рабо́чих, вноси́вших сюда́ то же жизнера́-

достное весе́лье, кото́рое процвета́ло в шко́лах, кото́рое украша́ло всю жизнь. И э́ти лю́ди, кото́рые пе́ли вокру́г э́тих ти́хих и си́льных в своём безмо́лвии маши́н, служи́ли я́рким выраже́нием ра́дости по по́воду труда́ справедли́вого, сла́вного, спаси́тельного.

Эми́ль Золя́.

Бое́ц преобразова́ния труда́=рабо́чий, боро́вшийся за улучше́ние бы́та рабо́чих.

Облагоро́дить=сде́лать культу́рным.

Пудлингова́ние=вы́делка из чугуна́ желе́за; пудлинго́вщик—ма́стер э́того де́ла.

Всё про́шлое о́жило=всё про́шлое вспо́мнилось.

Оно́ вас ото́пит=оно нагре́ет ва́шу ко́мнату.

Стари́к-патриа́рх=о́чень ста́рый мужчи́на.

Колосса́льный сбор зла́ков=о́чень большо́й сбор урожа́я хлебо́в и травы́.

Интенси́вная культу́ра=уси́ленная рабо́та над чем-нибу́дь, напр. над землёй, над просвеще́нием наро́да.

Жест=движе́ние руко́й.

Гро́здья=ки́сти плодо́в, напр. виногра́да, ряби́ны.

Рде́ли=красне́ли.

Изоби́лие=мно́жество.

Ла́комиться=ку́шать что-нибу́дь сла́дкое.

Вплоть=до; ря́дом; о́чень бли́зко к чему́-нибу́дь.

Ирони́чески=с насме́шкой.

Дессе́рт=сла́дкое ку́шанье; сла́дкие плоды́.

Крестья́не прозяба́ли в ограни́ченной, упря́мой рути́не=крестья́не жи́ли по ста́рому, не принима́ли нововведе́ний.

Ассоциа́ция=свобо́дное соедине́ние не́скольких лиц капита́лом и́ли трудо́м для достиже́ния о́бщей це́ли.

Задрапировáть=закры́ть что-ли́бо занавéской, матéрией.

Кóрпус=здáние, большóй дом.

Гирля́нда=лéнта из цветóв и зéлени.

Пресс=маши́на для тогó, чтóбы что-нибу́дь сжать, оказáть давлéние.

Гигáнтский=огрóмный, óчень большóй.

Плю́щить=ئُيزو يەنچو

Систèма колёс=мнóго колéс, располóженных в поря́дке.

СТИХОТВОРЕНИЯ и БАСНИ.

Пáмяти Кáрла Мáркса.

Прорóк гряду́щих рáдостных векóв,
Крылáтой мы́сли плáменный титáн,
Ты брóсил в мир мятéжно-страстный зов:
Восстáньте, угнетённые всех стран!
Чудóвищу, чьё имя—капитáл,
Ты, му́дрый, дал испи́ть смертéльный яд,
И стáрый мир от бóли застонáл,
Предчу́вствием мучи́тельным объя́т.
Как мóлнии сверкáющей излóм,
Как сóлнце, побеждáющее мрак,
В учéнии плени́тельном твоём
Откры́лся нам спаси́тельный мая́к.
Твои́ мечты́, как стáи áлых птиц,
Дыхáньем рáдости над ми́ром пронесли́сь.
Навстрéчу им, как зáрево зарни́ц,
Костры́ восстáний к нéбу подняли́сь.

Проро́к грядý́щих со́лнечных веко́в,
Могу́чей мы́сли пла́менный тита́н,
Ты бро́сил в мир вели́кий вла́стный зов:
Восста́ньте, пролета́рии всех стран!

В. Кири́ллов.

Тита́н=челове́к, необыкнове́нно си́льный у́мственно, духо́вно, физи́чески. بەھادیر، پەھلەوان

Пе́рвое Ма́я.

Да здра́вствует Пе́рвое Ма́я—
Све́тлый гимн мирово́го труда́!
Пусть со́лнце гряду́щего ра́я
Пыла́ет над на́ми всегда́!

Как во́льные го́рдые пти́цы,
Взовьёмся в лазу́рную даль,
Сотрём все черты́ и грани́цы
И до́лгого ра́бства печа́ль.

Пога́сим вражду́ веково́ю
И тёмную зло́бу племён,
Сольёмся в семью́ мирову́ю
Под се́нью побе́дных знамён.

Да вне́млют угрю́мые сво́ды,
Утра́тив свой гнёт навсегда́,
Могу́чую пе́сню свобо́ды,
Вели́кую пе́сню труда́...

Да здра́вствует Пе́рвое Ма́я—
Све́тлый пра́здник труда́ и маши́н!
Пусть бра́тство, как со́лнце, сверка́я,
Нам блёщет с безгра́нных верши́н!

Самобы́тник (Маши́ров).

В. И. Ле́нину.

Склони́м знамёна! И твёрдым ша́гом,
К ша́гу тесне́е шаг!
Имя живо́е а́лым стя́гом—
Со́лнцем вста́ло в века́х.
Ка́ждый отны́не горд и бесце́нен.
Ка́ждое се́рдце—клич.
Пе́рвое сло́во ребёнка: Ле́нин.
Вздох после́дний: Ильи́ч.
Го́ре—глу́бже. Стон—заду́шим.
Во́ли взведём куро́к.
Пла́мя круго́м—с мо́ря и с су́ши;
Ски́нул чадру́ Восто́к.
В по́лдне пусты́ни—чёрный ро́пот;
Ту́ндра вы́плеснет тост;
Не ны́нче—за́втра вста́нет Евро́па
Во весь челове́ческий рост.
Слы́шим го́лос, бли́зок и вла́стен
(Ве́тер улёгся в нём):
„На́ша ста́вка—всеми́рное сча́стье
До после́днего всем!
Скло́ним знамёна! И твёрдым ша́гом,
К ша́гу тесне́е шаг!
Имя живо́е зво́нким стя́гом—
Со́лнцем вста́ло в века́х.

Бутя́гина.

Во́ли взведём куро́к=бу́дем насто́йчивы, упо́рны, энерги́чны.

Чёрный ро́пот=недо́вольство си́льное про́тив ста́рых поря́дков.

Ту́ндра вы́плеснет тост=жи́тели тундр ско́ро восхва́лят В. И. Ле́нина.

На́ша ста́вка—всеми́рное сча́стье до после́днего всем=на́ше стремле́ние, жела́ние—дать сча́стье всему́ ми́ру.

Имя живо́е зво́нким стя́гом со́лнцем вста́ло в века́х=и́мя В. И. Ле́нина, как со́лнце, бу́дет сия́ть ве́чно.

Гимн рабо́чих.

Пролета́рии всех стран, соединя́йтесь!
На́ша си́ла, на́ша во́ля, на́ша власть.
В бой после́дний, как на пра́здник, снаряжа́йтесь!
Кто не с на́ми, тот наш враг, тот до́лжен пасть.

Ста́нем стра́жей вкруг всего́ земно́го ша́ра
И по зна́ку в час уро́чный все вперёд!
Враг смути́тся, враг не вы́держит уда́ра,
Враг падёт, и возвели́чится наро́д!

Мир возни́кнет из разва́лин, из пожа́рищ,
На́шей кро́вью искуплённый, но́вый мир!
Кто рабо́тник, к нам за стол! Сюда́ това́рищ!
Кто хозя́ин, с ме́ста прочь! Оста́вь наш пир.

Бра́тья-дру́ги! Сча́стьем жи́зни опьяня́йтесь!
На́ше всё, чем до́ сих пор владе́ет враг.
Пролета́рии всех стран, соединя́йтесь!
Со́лнце в не́бе, со́лнце кра́сное—наш стяг.

Ми́нский.

Октя́брь.

Октя́брь пронёсся
Над Ру́сью шква́лом,
С громо́вой си́лой
В сия́ньи а́лом.

В дымя́щем ви́хре
Истле́ли тро́ны,
Как пыль исчёзли
Царе́й коро́ны.
Мета́лись в стра́хе
Дворцы́, черто́ги,
И в прах вали́лись
Былы́е бо́ги.
Октя́брь сильне́е
Грозы́, вулка́нов
Взмути́л наро́ды
За океа́ном.
Октя́брь в плави́льне
Стари́нный го́род,
Спая́л могу́че
И серп и мо́лот.

Ф. Шку́лев.

Шквал=си́льный ве́тер, вихрь.

Истле́ли тро́ны=поги́бла ца́рская власть.

Октя́брь в плави́льне... спая́л серп и мо́лот=октя́брьская револю́ция соедини́ла крестья́н и рабо́чих.

Росси́я.

Страна́ родна́я! В гро́зный год
На гра́ни, кро́вью разогре́той,
И ты сверкну́ла в свой черёд
Новорождённою коме́той.

В твоём креще́нье огнево́м
Гремя́т серебря́ные тру́бы,
И разбуди́л маши́нный гром
В поля́х бреве́нчатые сру́бы...

Сове́тов ко́ваная власть
Гори́т, как со́лнце, горде́ли́во.
Страна́ громо́в, тебе́ ли пасть
Под гнётом зло́бного поры́ва?

О, нет! Твоё призва́нье—жить
И в гру́стных су́мерках Евро́пы
К любви́ и бра́тству проложи́ть
Неумира́ющие тро́пы.

Напра́сно бе́шенством враго́в
Куётся зло́бная стихи́я:
Гори́т средь се́верных снего́в
Воспламенённая Росси́я.

Самобы́тник (Маши́ров).

На гра́ни кро́вью разогрётой—قاينار قان ئاققان گرانيتسادا
В свой черёд—ئوز نەوبەتندە
Новорождённая коме́та—ياڭا توعان، يۇلدز
Огнево́е креще́нье—ئوتلى هۇجوم،
Бреве́нчатые сру́бы=и́збы крестья́нские.
Ко́ваная власть—چوكلگەن ۋلاست
Страна́ громо́в—كوك كوكرەولەر ياعى
Зло́бный поры́в—ئوسال، ئمتلو
Твоё призва́нье—سينڭ يازمشڭ
Су́мерки—قارانعلق (ئيكگر واقتى)
Тропа́—سوقماق - ئز
Зло́бная стихи́я—ئوسال كۈچ (تەبيعەت)
Воспламенённая Росси́я—يالقنلى (ريۋاليوتسيوننى) روسيە

Револю́ция.

Тебе́ б гига́нтским, тя́жким ло́мом
Дроби́ть уны́лой жи́зни льды́
И поднима́ть мятёжным гро́мом
Суро́вых па́харей труды́.

Тебе́ б дожде́й весёлых бу́сы
Рассы́пать на́ землю любя́...
Но ро́бкие душо́ю тру́сы
Позо́рно пре́дали тебя́.

Идя́ с опу́щенным забра́лом,
В борьбе́ кружа́сь, как муравьи́,
Они́ пред го́рдым капита́лом
Склоня́ли го́ловы свои́.

И лжи́вым, су́мрачным покро́вом
Тебя́ скова́ли на заре́,
Но ты рвану́лася, и сно́ва
Весно́й запа́хло в Октябре́.

Не ты ль на зло́бные утёсы
Взметну́ла гне́вные полки́?!
Как во́лны, дви́жутся матро́сы,
И ме́чут гром броневики́.

Дрожи́т земля́ побе́дным ги́мном,
Авро́ра го́рдый шлёт снаря́д,—
И па́дает надме́нный Зи́мний
К нога́м рабо́чих и солда́т.

А ты в лицо́ стальны́м декре́том
Броса́ешь ве́село врага́м:
— Я вновь жива́, вся власть Сове́там,
Вся власть мозо́листым рука́м!

Да бу́дет дух твой ве́чно мо́лод,
Как в мо́ре пе́нистый прибо́й,—
А в стя́ге кра́сном над тобо́й
Горя́т, как со́лнце, серп и мо́лот.

Самобы́тник (Маши́ров).

Гига́нтский лом—عادەتدەن تش، زور، لوم
Дроби́ть—واقلاو

Мятéжный=революциóнный.
Дождевы́е бýсы—ياڭغر تامچىلارى
Позóрно прéдали тебя́—سينى جور رەوشدە بيردىلەر
Забрáло—قالقان
Побéдный гимн—جيڭو جرى
Аврóра=назвáние корабля́.
Зи́мний=назвáние дворцá.
Стальнóй декрéт—ئىستال (كيسكن) ديكريت
Мозóлистые рýки—مازوللى قوللار
Да бýдет дух твой вéчно мóлод—
سينڭ روحڭ هەر واقتدا يەش بولسن.
Пéнистый прибóй—كوبكلى دولقن
Стяг—ئيكى ياقغا قويلغان فلاك

Нáши знамёна.

Как кры́лья разноцвéтные
Весёлых мотылькóв,
Колы́шутся несмéтные
Знамёна батракóв.

* * *

По вéтру развевáются
И рвýтся к сóлнцу, в высь...
А пéсни разливáются
Про рáдостную жизнь...

* * *

В отвéт на пéсни свéтлые
Звени́т весéнний звон...
Колы́шутся несмéтные
Полóтнища знемён.

А. Крáйский.

Мотылёк—کوبەلەك
Колы́шутся знамёна—فلاكلار تیبرەنەلەر
Батра́к—باتراق
Развева́ются—جیلفردیلەر
В высь—یوغارئ
Полóтнища знемён—فلاكلارنك كیندرالەرئ

Кра́сные зо́ри.

Кра́сные зо́ри... кра́сные зо́ри!
Зо́ри не там, не в слепы́х небеса́х,—
В на́шем пыла́ющем взо́ре,
В на́ших мятéжных сердца́х.

Со́лнцем мы, со́лнцем осве́тим
Тьму закосне́лых серде́ц...
Го́рдо гряду́щее встре́тим,
Про́шлому вы́рыв коне́ц.

Кто в неизбе́жное ве́рит,
Все за рабо́ту!.. Сюда́!
Не́стежь широ́кие две́ри
В во́льное ца́рство труда́!

А. Кра́йский.

Зо́ри—تاڭ
Пыла́ющий взор — یالقنلی قاراش
Мяте́жное се́рдце—ریۋالوتسییونلی یۆرەك
Закосне́лое се́рдце—یۆرەك (بیك ئیسکی) توگەان
Гряду́щее—کیلەچەك
Вы́рыть коне́ц про́шлому—ئوتکەننك ,ئۆچن کومو
Неизбе́жное — کورەچەك
На́стежь—شار ئاچق-تۆبێنە قەدەر بۆاچق

Рабо́чий.

Была́ врага́ми ско́вана свобо́да,
Души́л страну́ тысячеле́тний гнёт,
Но в не́драх мук недре́млющий рабо́чий
Кова́л свой меч на развращённый мир.
В его душе́ взошло́ ино́е со́лнце,
Сверкну́вшее сквозь ра́бство и позо́р.

Он ви́дел все: как вла́ствует позо́р,
Как в шу́ме то́рга про́дана свобо́да,
Как в ды́мных сво́дах га́снет жи́зни со́лнце,
И как нужды́ встреча́я чёрный гнёт,
Гляди́т с прокля́тьем тру́женик на мир.
И вот воззва́л он, пла́менный рабо́чий:

Дохни́ грозо́й, о гне́вный люд рабо́чий,
Мечо́м, мечо́м сверга́я свой позо́р!
Взгляни́: вокру́г слеза́ми за́лит мир.
Наш час пришёл, да здра́вствует свобо́да!
Сомне́нья прочь, с души́ спада́ет гнёт,
В дыха́нье бурь созре́ет наше со́лнце!

О гнев восста́нья, я́ростное со́лнце,
В како́м горне́ разду́л тебя́ рабо́чий?
Твои́ лучи́ пронза́ют ве́чный гнёт.
Вот кро́вью жертв смыва́ется позо́р,
Вот ма́шет кра́сным зна́менем свобо́да,
И потрясённый вздра́гивает мир.

И всё сверши́лось!.. Ру́хнул дре́вний мир!
Побе́дный труд сверка́ет, сло́вно со́лнце.
В стране́ биче́й рожда́ется свобо́да.
В после́дний бой зовёт друзе́й рабо́чий.
И в э́тот миг смотре́ть наза́д—позо́р.
Прокля́тье всем, кому́ так до́рог гнёт!

Ещё уда́р, и бу́дет сло́млен гнёт,
Взмахнёт крыла́ми светоза́рный мир,
Сотрётся сло́во тёмное—позо́р.
Взойдёт над ми́ром ра́достное со́лнце,
Кото́рого так жа́дно ждал рабо́чий,
Броса́ясь в би́тву с ло́зунгом: „Свобо́да!“

Самобы́тник (Маши́ров).

Ско́вана свобо́да—بوغاولانغان ئيرك
Гнёт—ئيزو ـ قسو
В не́драх мук—عازابلار چۇقرندا
Недре́млющий—يۇقلامى تۇرغان
Развращённый мир—بۇزلغان جەمعييەت
Позо́р—حورلق
Ды́мный свод—(گۇمبەز) تۇتنلى توشەم
Воззва́л—چاقردى
Пла́менный рабо́чий—يالقنلى (ريۋاليوتسييوننى) ئشچى
Дохни́ грозо́й—يەشن بلەن ئۇر
Сверга́ть—ئالب تاشلاو
Сомне́нья прочь—ئيككنلەنونى تاشلا
Гнев восста́нья—ئيحتيلال ئاچووى
Я́ростное со́лнце—ئاچق قۇياش
Горн—ميتاللار ئرتته تۇرغان ئۆزور ئوچاق
Пронза́ть—ئوته ئوتكەرو
Потрясённый вздра́гивает мир—
قالتىرانغان عالەمنى تتترەته

Ру́хнул—جيمرلدى
Бич—قامچى
Сетоза́рный мир—ياقتى تاگلى دۇنيا
Ло́зунг—شيعار

Дéтство.

Ребёнком беспредéльного простóра
Не знал я на сурóвой полосé...
Любúл я в своéй сýмрачной красé
И трéпетную трáвку у забóра,
И пы́льную канáвку у шоссé...

С отрёпанною книжкой „Дон-Кихóта"
В кустáрнике, как в сóлнечной норé,
Я прятался в забы́том пустырé,
А гýлкие фабрúчные ворóта
Меня́ подстерегáли на зарé...

И крáткие ребя́ческие гóды,
Как лáсковые взóры василькá,
Увя́ли в óстром óкрике гудкá,
Развéяли их кáменные свóды
Да рóкот беспокóйного станкá...

Но в бýрях своéй жúзненной тревóги
Не раз мне вспоминáлися черты́:
Печáльная канáвка и цветы́,
Кустáрник на забрóшенной дорóге
И дéтские угрю́мые мечты́...

Самобы́тник (Маши́ров).

Беспредéльный простóр – ئوچسز - قريسز ئيركنلك،
Сурóвая полосá—(قر) يامان ،بوى
Сýмрачная красá—تونق ماتورلق
Канáвка—كچكننه كانال
Шоссé --تاش ،يول
Пусты́рь—بوش جير،
Гýлкие ворóта—دوبردەولى قابقالار
Василёк—полевóй цветóк.

Острый о́крик гудка́—گودوکنڭ ئوتکن تاوشی
Ро́кот станка́—ئستانوکنڭ گورلدەوی
Угрю́мые мечты́—کوڭلسز حیاللار

Маши́нный ра́й.

Весь ове́янный цвета́ми, со́лнцем, во́здухом роси́стым,
Ты мне ше́пчешь умилённо про были́нный со́нный край,
Но в отве́т поёт мне вла́стно с го́рдым гро́хотом и свисто́м
Мой люби́мый, мой желе́зный, мой родно́й, маши́нный рай.

Лишь в мои́х гудя́щих сво́дах храм мечты́ безу́мно сме́лой:
Всё во мне живёт и ды́шет: тронь колду́ющий рыча́г—
И под вла́стною руко́ю загреми́т стально́е те́ло,
Гру́дью чёрною, голо́дной пе́снью тво́рчества рыча́...

Что мне дре́вние пове́рья, расписны́е небыли́цы,
В беспреры́вном достиже́нье я творю́ живо́й расска́з.
Захочу́—и к со́лнцу сме́ло воспаря́т стальны́е пти́цы,
Захочу́—и ком желе́за засверка́ет, как алма́з.

Захочу́—по дну морско́му загреми́т язы́к желе́зный,
Мир неве́домый встрево́жит се́тью зво́нких проводо́в.
И по ре́льсовым изви́вам прогреме́в над са́мой бе́здной,
Вас ожгу́ паля́щим зно́ем, перебро́шу в ца́рство льдов.

Не моёй ли си́лой в ба́шне бьют жемчу́жные фонта́ны,
И горя́т и блёщут зо́ри от зака́та до́ утра́,
И море́й седы́е во́лны взборозди́ли велика́ны,
Грудь разре́зана земна́я до вулка́нного нутра́.

Не на мне ль чело́ сия́ет ослепи́тельного ве́ка,
И на нём горя́т три со́лнца—три зако́на естества́:
Си́ла дре́вняя приро́ды, труд упо́рный челове́ка
И его́ горя́щий ра́зум, све́тлый ра́зум божества́.

Торжеству́й, греми́ побе́дно, возрождённая приро́да.
Славь желе́зного Месси́ю, но́вых дней богатыря́!
В э́тих су́мрачных ладо́нях—безграни́чная свобо́да,
В э́тих му́скулах желе́зных—челове́честву заря́.

Самобы́тник (Маши́ров).

Маши́нный рай—ماشينا جەننەتى
Ове́ять—جيللەندُرو
Умилённо—كوڭلنى نچكەرتب
Были́нный край—كوب ريوايەتلى ئيل
Вла̀стно— ئاميرانە
Мечта́ безу́мно сме́лая—ئاقلسز باتر حيال
Тронь колду́ющий рыча́г—سيحرلەوچى كوتەرگچنى قوزعات
Загреми́т стально́е те́ло—ئستالدان بولعان گەودە ياڭعُرار
Рыча́ть—ئرلداو
Дре́вние пове́рья—بوُرنعى ئوُشانولار
Расписны́е небыли́цы—هيچ بولماعان تاسويرلەر
В беспреры́вном достижёньи я творю́ живо́й рас-
сказ—ئوُزلكسز موۋەففەقييەت ئچندە مين جانلى حيكەيەلەر توُزيم
Воспаря́т стальны́е пти́цы—
ئستالدان بولعان قوشلار ئوُچالار
По дну мо́рско́му загреми́т язы́к желе́зный—
ديڭگز توُبندە تيمرتللەردە ياڭعُرى
Мир неве́домый—كورلمەگەن عالەم
Ре́льсовые изви́вы—ريسالنى بوُرمالار
Чело́ ослепи́тельного ве́ка—
عاسرنڭ چاعلدُرا توُرعان ماڭلايى
Три зако́на естества́—تابيعەتنڭ ئوُچ زاكونى
Месси́я—مەسيح

В борьбе́.

О, полюби́ сквозь гул трево́жный
Борьбы́ торже́ственные дни!
В сомне́нье злом и в ско́рби ло́жной
Живо́й души́ не схорони́!

Пойми́: сквозь о́блачность раска́та
Наш по́двиг я́сен, труд высо́к!
С было́го по́ля жа́тва сня́та,
Из по́чвы пре́жней выпит сок.

В преобразу́ющих дерза́ньях
Так мно́го сча́стья и любви́.
В горни́ле све́тлого страда́нья
И ты свой ра́зум обнови́...

Не ве́рь обма́нчивой наде́жде,
Слепо́й враждо́й не по́рти кровь!
Всё, что прошло́, дыша́ло пре́жде,
Тепе́рь не возврати́тся вновь.

Люби́ люби́ть ино́е по́ле,
Расти́ть ины́е семена́,
Чтоб но́вой жи́зни све́тлой во́ле
Твоя́ душа́ была́ верна́.

Но, е́сли в ра́достях зача́тья
Уга́сший дух не возроди́ть,
Суме́й без зло́бы и прокля́тья
Наш мир живо́й благосло́вить!

Самобы́тник (Маши́ров).

Гул трево́жный—تنچسز گۇرلدەو،
Сомне́нье—شۇبهە
О́блачность раска́та—يەشن، بۇلت كبك
По́двиг—يگتلكنى كورسەترلك ئش

Былóй—بۇرنغى
Преобразýющие дерзáнья—كەمالەتلى باتىرلىق
Горни́ло страдáния—مۇشەققەتنىڭ ئوچاغى
Рáдость зачáтья—يارالونىڭ شادلىغى
Угáсший дух не возроди́ть—
سونگەن روحنى جانلاندىرو مۇمكىن توگل

С ч á с т ь е.

Счáстье—в сéрдце расцветáющем,
Жáдно рвýщемся люби́ть,
Зла не знáющем, желáющем
Тóлько би́ться, тóлько жить!

Как цветóк веснóй румя́ною
Распускáется для всех,—
Так и сéрдце, жи́знью пья́ное,
Сéет мóлодость и смех.

Смех, как сóлнце, зажигáющий
Си́лу бýрную в крови́...
Счáстье—в сéрдце, расцветáющем
Для любви́.

А. Крáйский.

Сéрдце расцветáющее—ئالغا ئومتىلوچى يۇرەك
Жáдно рвáться—كۇچلى، ئومتىلو
Би́ться —سوغىشو
Веснá румя́ная—ئالسو ياز
Сéрдце жи́знью пья́ное— تۇرمش بلەن ئيسرگەن يۇرەك
Си́ла бýрная—دولقنلى كۇچ

К но́вым зо́рям.

К но́вым да́лям, к но́вым зо́рям,
Пролета́рий и солда́т!
Пусть заблещут кра́сно стя́ги
Над нуждо́ю се́льских хат!

Вы́ше го́ловы, о, бра́тья,
Ряд за ря́дом все вперёд,
Сла́вьте хо́ром исполи́нским
Со́лнца у́тренний восхо́д!

Властели́ном светоза́рным
До́лжен быть по пра́ву тот,
Кто весь день идёт за плу́гом
И по на́ковальне бьёт;

Кто терни́стый путь к побе́де
Юной кро́вью ороси́л
И широ́кую доро́гу
К но́вой жи́зни проложи́л;

Кто сказа́л: „наш крик мяте́жный
Не во и́мя войн гуди́т...
Мир наро́дам!—на знамёнах
На́ших пла́менно гори́т“.

Чтоб сою́з, в бою́ рождённый
Был и до́лог, и глубо́к,
Перевьём мы ле́нтой а́лой
Острый серп и молото́к.

К но́вым да́лям, к но́вым зо́рям,
Пролета́рий и солда́т!
Пусть забле́щут кра́сно стя́ги
Над нуждо́ю се́льских хат.

И. Ио́нов.

Нóвые зóри—یاکا تاڭلار
Стя́ги—فلاكلار
Исполи́нский хор—عایەت زور حور
Властели́н светозáрный—کوچلی ئامیر
Нáковальня—ساندال
Терни́стый путь—چیتن یول
Крóвью ороси́л—قان بلەن قابلادی
Не во и́мя вóйн—سوعشلار ئوچن توگل
Плáменно—یالقنلی
Перевьём мы лéнтой áлой—بز قزل لینتی ئیشەبز

Крáсное знáмя.

Знáмя крáсное, знáмя свобóдное,
Си́мвол рáвенства, брáтства, любви́,
Вéйся вы́ше за дéло нарóдное
В áлых кáплях рабóчей крови́!

За тобóю пойдýт изнурённые
В рудникáх, за сохóй, за станкóм,
И на ли́ца, трудóм измождённые,
Цвет твой бры́знет побéдным огнём.

Заблистáют глазá, просия́вши
Вéрой в си́лу вели́ких идéй,
И порвýт и размéчут восстáвшие
Звéнья ржáвых позóрных цепéй.

Знáмя крáсное, знáмя свобóдное,
Си́мвол рáвенства, брáтства, любви́,
Вéйся вы́ше за дéло нарóдное
В áлых кáплях рабóчей крови́!

И. Иóнов.

Си́мвол—بیلگی
Изнурённые—ئینتکەنلەر
Измождённые—ئالجىغانلار
Цвет твой бры́знет побе́дным огнём—
سینك چەچەگك جیگو، ئوتى بلەن بۆركە
Вели́кие идеи—بۆیك فیکر
Зве́нья ржа́вых позо́рных цепе́й—
حورلقلى توتقان چلبرلارنك بوجىرالارن
Разме́чут—ئزغىترلار

Да бу́дет!

Пусть крик мяте́жный: мир!—несётся
Над гу́лом хму́рых городо́в,
Пусть им, как пла́менем, зажжётся
Семья́ солда́т и батрако́в.

Пусть над пусты́нными поля́ми
И ти́хим мра́ком дереве́нь
Пройдёт с печа́льными глаза́ми
Любви́ заму́ченная тень.

Пу́сть загоря́тся ве́рой но́вой
Сердца́ уста́лых, и тогда́
Порвёт после́дние око́вы
Стальна́я а́рмия труда́.

И. Ио́нов.

Крик мяте́жный—ریڤالیوتسییوننى تاوش
Гул хму́рых городо́в—کوکلسز شەهەرلەرنك گۆرلدەوى
Пусть им, как пла́менем, зажжётся семья́ солда́т и батрако́в — ئەیدە، ئانك بلەن یالقن کبك-سالدات هەم باترا کلارنك عائیلەلەرى قابنسن
Пусть пройдёт любви́ заму́ченная тень—
ئەیدە، مۆحەببەتنك ئازابلانغان کولەگەسى ئوتەر
Пусть загоря́тся ве́рой но́вой сердца́ уста́лых—
ئەیدە، ئارغانلارنك یۆرەکلەرى یاڭا ئیمان بلەن یانسنلار

Пе́сня Коммуна́ров.

Пусть вёшнее со́лнце заблёщет над на́ми,
Пусть плёщут на со́лнце поло́тна знамён...
Добы́ли мы во́лю свои́ми рука́ми,
Так пусть же побе́дно гуди́т над ряда́ми
Наш во́льный труда́ перезво́н.

Не да́ром наш мо́лот стуча́л в накова́льни.
Не да́ром точи́ли мы о́струю сталь,—
Внима́йте! Как о́тзвук напе́ва хруста́льный,
Призы́в к нам отве́тный доно́сится да́льний,
И за́рево кра́сит широ́кую даль.

В еди́ном поры́ве сомкну́тся, мы зна́ем,
Солью́тся, как бра́тья, наро́ды земли́.
Мы в день наш побе́дный приве́т им броса́ем
И на́ши знамёна над те́ми склоня́ем,
В чью ве́чную па́мять мы сла́ву вплели́.

Пусть в про́шлое ка́нут тоска́ и печа́ли!
Греми́, марселье́за, над гу́лом людски́м!..
Мы зво́нкие пе́сни желе́за и ста́ли
На пли́тах скрижа́лей наве́ки вписа́ли
Трудо́м и упо́рством свои́м.

И. Ио́нов.

Пусть же побе́дно гуди́т.... во́льный труда́ перезво́н.
ئەيدە، حزمەتنڭ ئيركلى تاوشلارى غەلەبەلى رەوشدە ياڭغراسن

Не да́ром—بوشقا توگل

Как о́тзвук напе́ва хруста́льный, призы́в к нам отве́тный доно́сится да́льний—جرنڭ حروستال ئاوازى شيكللى
بزگە يراقدان جاوابلى چاقرو كيلب ئرنشه

За́рево—(قزللق) شەفەق

В еди́ном поры́ве сомкну́тся—
بر نۇقتاغا ئمتلالار، قوشلالار

Побе́дный приве́т... броса́ем—
عەلەبە سەلەمی تەقدیم ئیتەبز

Пусть в про́шлое ка́нут тоска́ и печа́ли—
ئەیدە، قایعی هەم ساعشلار قالسنلار (کوملسنلەر)

Мы зво́нкие пе́сни... на пли́тах скрижа́лей навеки вписа́ли—بز یا کُعنُراوقلی جرلارنی تاش تاقتالارعا مەنگی
تۆورلق ئیتب چوقب یازدق،

Гимн борьбе́.

Не ско́рбным, бесси́льным, осты́вшим бойца́м,
Уста́лым от до́лгих поте́рь,—
Хочу́ я отва́жным и ю́ным сердца́м
Пропе́ть свою пе́сню тепе́рь!

Пусть мёртвые мёртвым прино́сят любо́вь
И пла́чут у ста́рых моги́л!
Мы жи́вы: кипи́т на́ша а́лая кровь
Огнём неистра́ченных сил.

Свящённую па́мять поги́бших в бою́
Без слёз мы уме́ем храни́ть.
Мы жа́ждем всю си́лу, всю ду́шу свою́
На тот же алта́рь возложи́ть!

Чьи сму́тные взо́ры пони́кли к земле́?
Пытли́во гляди́м мы вперёд,
Упря́мо стреми́мся уви́деть во мгле
Зари́ отдалённый восхо́д.

Неси́сь, моя пе́сня, как ра́дости крик,
На да́льний безве́стный преде́л!
Да здра́вствует ю́ность, кипу́чий родни́к
Вели́ких стремле́ний и дел!

Несись, моя песня, взлети до небес,
Как сокол, свободный от пут!
Да здравствует гений всемирных чудес,
Могучий и творческий труд!

Несись, моя песня, опять и опять!
Греми над землёй, как труба!
Да здравствует жизни всесильная мать,
Владычица мира, борьба!

От края до края родимой страны
Друг другу несём мы привет...
Мы—ласточки свежей, зелёной весны,
Идущей за нами во след.

Пусть скована стужей немая земля
И каждый шумливый поток,
И умерли листья, и снег на поля
Серебряным саваном лёг.

Уже прокатился громовый удар
С неведомых горных высот,
И дрогнула сила безжизненных чар,
Тяжёлый колеблется гнёт.

И ветер пред утром повеял теплей,
Во мраке на каждом шагу
Незримые струйки оживших ключей
Уж роются тайно в снегу.

Да скроется сумрак, да здравствует свет!
Мы—вестники новых времён!
Весна молодая идёт нам во след
Под сенью несчётных знамён.

Уитман.

Алый— ئال تۇس
Алтарь—ميحراب

Пытли́во—سناوچان
Мгла—قاراڭغىلق ـ تومان
Родни́к стре́млений и дел—ئشلەرنڭ هەم ئمتلولارنڭ چیشمەسی

Пу́ты—تشاولار
Сту́жа—سالقنلق
Пото́к—ئاعم (گورلەوک)
Са́ван—کەفن
Си́ла чар—سیحرلەرنڭ کوچلەری

Мяте́ж.

Туда́, где над пло́щадью—нож гильоти́ны,
Где во́льно по у́лицам ры́щет наба́т,
Мечты́, обезу́мев, летя́т,—

Бьют сбор бараба́ны былы́х оскорбле́ний,
Проклятий бесси́льных, разда́вленных в прах,
Бьют сбор бараба́ны в ума́х.

Глядит циферблат колоко́льни стари́нной
С угрю́мого не́ба ночно́го, как глаз...
Чу! бьёт предназна́ченный час.

Над кры́шами вы́рвалось мстя́щее пла́мя,
И ве́тер змеи́стые жа́ла разнёс,
Как ко́смы крова́вых воло́с.

Все те́, для кого́ безнадёжность—надежда,
Кому́, вне отча́янья, ра́дости не́т,
Выхо́дят из мра́ка на свет.

Бессчётных шаго́в возраста́ющий шо́пот
Всё гро́мче и гро́мче в злове́щей тени́
На доро́ге в гряду́щие дни.

Протя́нуты ру́ки к разо́рванным тру́пам,
Где вдруг прогреме́л угрожа́ющий гром,
И мо́лнии ло́вят изло́м.

Безу́мцы! Кричи́те свои́ повеле́нья!
Сего́дня всему́ наступа́ет пора́,
Что бре́дом каза́лось вчера́.

Зову́т... приближа́ются... ло́мятся в две́ри,
Уда́ры прикла́дов кача́ют окно́,—
Убива́ть, умере́ть—всё равно́!

Верха́рн.

Гильоти́на— گیلیوتینا ماشیناسی (باش کیسو قورالی)
Рыщет наба́т— بو بر ئشدەن خەبەر بیرو ئوچن قىڭغىراو قاغو تیز تارالا
Цифербла́т колоко́льни — چیرکەو مانارەسىنڭ سەعەت بیتلگی
Предназна́ченный час— بیلگلەنگەن سەعەت
Мстя́щее пла́мя= ئوچ ئالو یالقینی
Жа́ло — ئوق، ئینه
Ко́смы воло́с— چەچ توتاملاری

В о́гненном кольце́.

Ещё не все сломи́ли мы прегра́ды,
Ещё гада́ть нам ра́но о конце́.
Со всех сторо́н тесня́т нас злы́е га́ды.
Това́рищи, мы в о́гненном кольце́!
На нас идёт вся хи́щная поро́да.
Судьбо́ю нам дано́ лишь два исхо́да:
Иль победи́ть, иль че́стно пасть в бою́.
Но в тя́жкий час, сомкну́в свои́ отря́ды

И к небеса́м взме́тнув наш а́лый флаг,
Мы ве́рим все, что за кольцо́м оса́ды
Други́м кольцо́м охва́чен зло́бный враг,—
Что бра́тская к нам ско́ро рать пробьё́тся,
Что бли́зится прихо́д вели́ких дней.
Тех дней, когда́ в тылу́ врага́ сольё́тся
В сплошно́й ого́нь кольцо́ ины́х огне́й.
Това́рищи! в возвы́шенных надё́ждах,
Кто ду́хом пал, отра́ды не найдё́т.
Позо́р тому́, кто в тра́урных одё́ждах
Сего́дня к нам на пра́здник наш придё́т.
Това́рищи, в день сла́вного кану́на
Пусть прогреми́т наш ло́зунг боево́й:
— Да здра́ствует всеми́рная комму́на!
— Да здра́вствует наш пра́здник трудово́й!

Демья́н Бё́дный.

Га́ды=враги́, злы́е, как зме́и.
Рать=во́йско.
Тра́урная одё́жда—ماتەم كییمی
Кану́н—عەرەفەكۆن، بەیرەم ئالدی كۆن
Ло́зунг—شیعار

Моке́ев дар.

Случи́лася беда́: сгоре́ло полсела́.
Несча́стной голытьбе́ в нужде́ её вели́кой
От бе́дности свое́й поси́льною толи́кой
Своя́ же бра́тья помогла́.
Всему́ селу́ на удивле́нье,
Туз, ла́вочник Моке́й, придя́ в правле́нье,
— „На де́ло до́брое,—вздохну́л,—мы, зна́чит, тож...
Чего́ охо́тней!...

И раскошелился полсотней.
А в лавке стал потом чинить дневной грабёж.
  — „Пожар-пожаром,
А я весь свет кормить, чай, не обязан даром!“
  — „Так вот ты, пёс, каков!“
Обида горькая взяла тут мужиков.
И, как ни тяжело им было в эту пору,
    Они, собравши гору
    Последних медяков
И отсчитав полсотни аккуратно,
    Мокею дар несут обратно:
    — „На, подавись, злодей!“
— „Чего давиться-то?“—осклабился Мокей,
Прибравши медяки к рукам с довольной миной:
  „Чужие денежки вернуть не мудрено,—
А то догадки нет, чтоб, значит, заодно
Внесть и процентики за месяц... рупь с полтиной!“

Демьян Бедный.

Голытьба—یارلُلار ـ یالانعاچ حالق
Посильная толика—حەللى حەلنچە یاردەم
Туз-лавочник—كولاك ـ كیبتچى
Раскошелился полсотней—
كسەدەن یارتى یۇز چعارب بیردى

Опекун.

У Клима помер зять!—
Господь бедняге не дал веку.
Так довелося Климу взять
Егорку-сироту в опеку.
Едва ль не со второго дня
Наш опекун ворчит: „Мотри ты у меня!
Не стану по головке гладить.

Набедокýришь—бýду сечь.
Замáшек всячеських тепéрь как не пресéчь,
Так опослé с тобóй не слáдить“.
И, чтó ни дéнь, с тех пóр,
Как тóлько час улýчит,
Мужи́к сирóтку ýчит:
То по загри́вку даст, то схвáтит за вихóр,
То пáлкой взбýчит!..
—„Побóйся бóга, Клим!“—вздыхáл сосéд Пахóм:
„Опёка бы твоя не кóнчилась грехóм!“
Грехóм и кóнчилась. Случи́лось: пóсле пóрки
День цéлый опекýн не мог сыскáть Егóрки:
— Вот язва-то, вот пёсий струп!
Полéзем на чердáк; там негодяя нет ли?
Есть! Вот!..“ И óбмер сам: на мужикá из пéтли
Глазáми стрáшными холóдный глянул труп!
И плач и вой пошёл по дóму. Напоследи́
Сбежáлися сосéди.
— „Что?“—все наки́нулись на Кли́ма.—„Что, злодéй?
Как бýдешь ты глядéть, скоти́на, на людéй?“
— „У, чтóб те рýки обломáло!
Дитё, сирóточку побóями сгуби́л!“
— „Бил!“—огрызнýлся Клим:—Бедá не в том, что бил!
Бедá—что бил, как ви́жу, мáло!“

Демьян Бéдный.

Опекýн— ئەپیكون، وەكیل
Нé дал вéку—تۇرمش بیرمەدی
Довелóся... взять в опёку — وەكالەتكە ئالرغا، توری كیلدی

Ворчи́т— مەردی
Мотри́=смотри́
Не стáну по голóвке глáдить— مۇندان، سوك باشنی سیپامام

Набедокýришь— ناچارلق ياساماساڭ

Замáшек вся́ческих тепéрь как не пресéчь—
هەر ناچار عادەتلەرنى هەزر نيچك بتۇروگە

Опосля́—пóсле, потóм.

Как тóлько час улýчит—نيچك واقت تابار

По загри́вку даст—موين تامرێنا قوندۇرر

Схвáтит за вихóр – ماكلاى چەچندەن ئلەكتۇرر

Пáлкой взбýчит– تاياق بلەن قوندۇرر

Опéка кóнчилась грехóм—وەكالەت ناچارلق بلەن بتدى

Пóсле пóрки— بيك نق جەزادان سوڭ

Вот пёсий струп—منه ئت قوتردى

Стал чини́ть грабёж—تالى باشلادى

Осклáбился—ئاوزن جردى

Прибрáвши медяки́ к рукáм с довóльной ми́ной—
ئاچق يوز بلەن باقر ئافچانى قوللنا ئالدى

Чердáк— چارلاق

Напоследи́—пóсле, потом.

Все наки́нулись на Кли́ма— هەر برسى كيلمگە هوجوم
ئيتدلەر

Скоти́на— مال – توار

Чтоб те рýки обломáло—سنسن سينك قولك

Побóями сгуби́л – قينالو بلەن هەلاك ئيتدى

Огрызнýлся Клим— كليم توپاس جاواب بيردى.

На заво́де.

Я сего́дня лишь почу́вствовал, сего́дня лишь узна́л—
Здесь, в заво́де, каждодне́вно шу́мный пра́здник—Кар-
нава́л.
Каждодне́вно, в час уро́чный, па́ра пе́ньем —приглаше́нье.
Го́сти в пра́здничном наря́де, звон и хо́хот, та́нцы,
пенье,
Звон и хо́хот, звучноме́рный го́вор зву́ками без слов...
Та́нец стро́йный и ритми́чный хме́льно - ра́достных
шкиво́в..
Каждодне́вно быть в заво́де, быть в заво́де наслаж-
де́нье...
Понима́ть язы́к желе́зный, слу́шать та́йны открове́нья.
У маши́н, станко́в учи́ться бу́йной си́ле—разруша́ть,
Ярко-но́вое, друго́е непреры́вно созида́ть.

И. Садо́фьев.

Звучноме́рный—ئاهەڭلى
Шкив— ماشينالارنى تۇتاشدۇرا تۇرعان تاش

Анчу́тка-заимода́вец.

У мужика́ случи́лася беда́.
Мужи́к туда́, сюда́.
Подмо́ги ниотку́да.
Бедня́к у бо́га мо́лит чу́да.
А чу́да нет. В беде́, спаса́ясь от сумы́,
Мужи́к гото́в у чо́рта взять взаймы́:
— „У чо́рта де́нег гру́да!“
А чорт уж ту́т, как ту́т.
Мужи́к рази́нул рот: „Вот лёгок на поми́не!
Анчу́тка, вы́ручи! Пришёл совсе́м капу́т.

Дела́: хоть ве́шайся на пе́рвой же оси́не!“
— „Да чем помо́чь-то?“
— „Чем! Изве́стно: дай деньжа́т!
Зря де́ньги у тебя́, слыха́л-от я, лежа́т“.
Скребё́т Анчу́тка те́мя:
— „Да ведь како́е вре́мя!
Сам зна́ешь, старина́:
Война́!
Ку́да ни су́нешься, все сто́нут от разз́ору.
Нашё́л, когда́ проси́ть. Да тут собра́ть бы впо́ру
Хоть ста́рые долги́!“
— „Антчу́тка, помоги́!
Верь со́вести, Анчу́тка,
Весь долг верну́ сполна́“.
— „Война́!“
— „Так ведь война́, гляди́ кака́я шу́тка!
Как не́мцев сокруши́м, так с этих басурма́н
Все про́тори сдерё́м“...
— „Хе-хе, держи́ карма́н!“
— „Тогда́ по-со́вести с тобо́й сведё́м мы счёт...“
— „Хе-хе́!“
— „Во́т и хе-хе́! ты—ску́п!“
— „О́х, брат, не ску́п!“
— „Ну, глу́п!
Не смы́слишь, ви́жу, ничего́ ты.
Ведь опосля́ войны́ пойду́т каки́е льго́ты!“
Тут, не жале́я языка́,
Мужи́к, что где слыха́л, о льго́тах всё пове́дал.
Чорт мо́лча слу́шал мужика́,
Всё вы́слушал, вздохну́л... и де́нег не́ дал!

Демья́н Бе́дный.

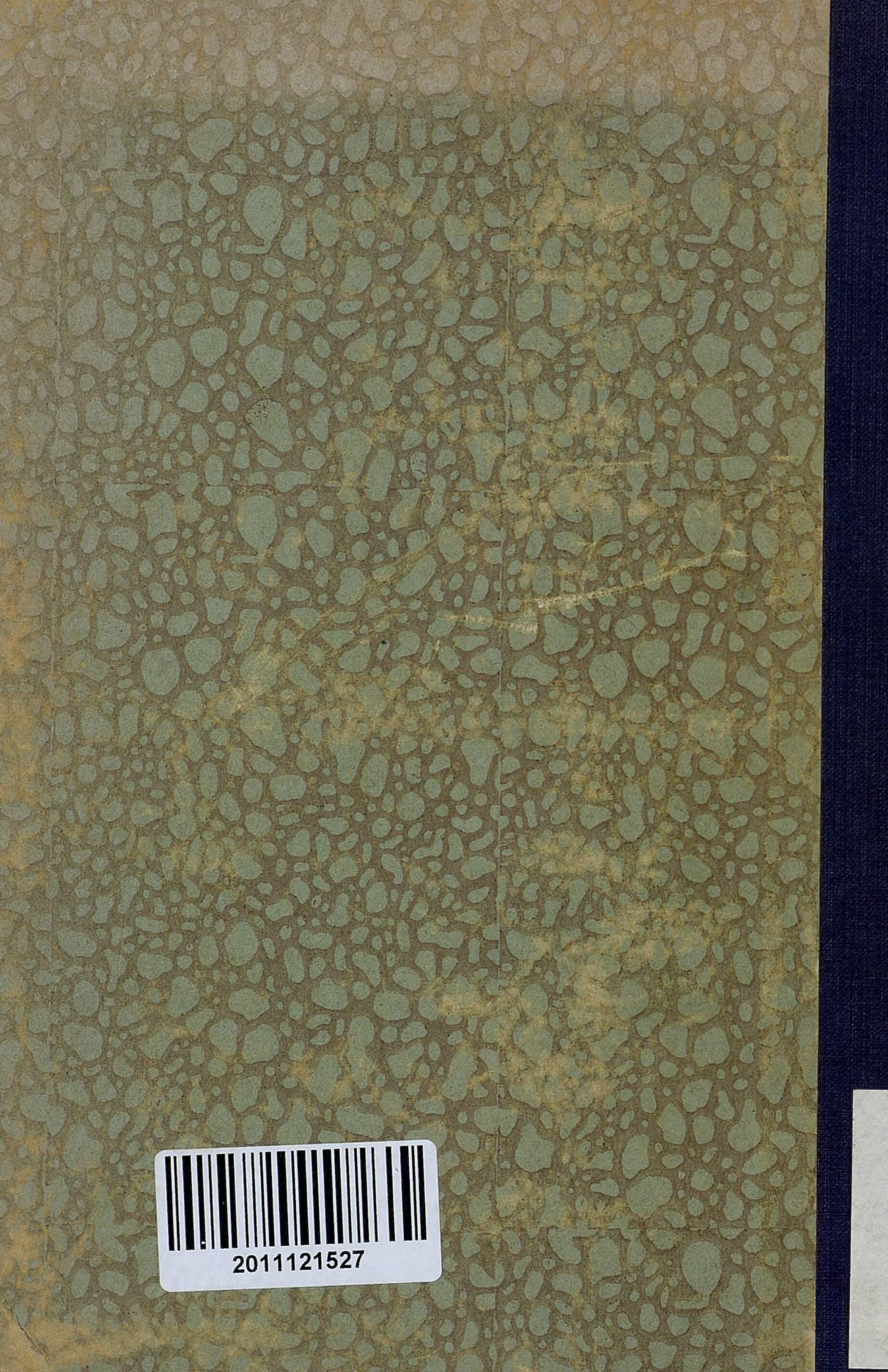
Подмо́ги ниотку́да — بر قایداندا یاردەم یوق
Мо́лит чу́да — مۆعجیزه، سوری

Спаса́ясь от сумы́— تلەنچىلكدەن قۇتلب
Де́нег гру́да— ئاقچا ئۇيۇمى
Анчу́тка—наро́дное назва́ние чо́рта.
Лёгок на поми́не— ئيسدە، تۇتو جيگل
Пришёл капу́т— چيگننه كيلدى، جافا كيلدى
Зря́ де́ньги у тебя́ лежа́т— سينك ئاقچالارڭ فايداسزعا ياتالار
Скребёт Анчу́тка те́мя— شايتان باش قاشدى
Старина́ – باباى
Все сто́нут от раззо́ру— هەر كم هەلاكەتدەن زارلانر
Как не́мцев сокруши́м— نيمسلەرنى نيچك جيگەربز
С э́тих басурма́н все про́тори сдерём — ئول، كافيرلەردەن زيانلارنى تارتب ئالربز
Держи́ карма́н=не дам: меня́ не обма́нешь
Тогда́ по со́вести с тобо́й сведём мы счёт— شول واقتدا بز وجدان بوينچا سينڭ بلەن حيسابلاشربز،
Не смы́слишь—— ئاڭلاميسڭ
Пойду́т льго́ты— جيگللكلەر كيلرلەر.

ОГЛАВЛЕ́НИЕ.

I. ПРО́ЗА.

II. СТИХОТВОРЕ́НИЯ и БА́СНИ.


2011121527